

Лев
Подольский

СКУРАТОВСКАЯ БЫЛЬ



Лев Подольский

Скуратовская быль

Повесть и рассказы

Из цикла «Странное шоссе»



Персей-Сервис
Москва • 2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6—4
П 44

П 44 **Подольский Л. В.** Скуратовская быль — М.: «Персей-Сервис», 2016 — 328 с., ил.

«Скуратовская быль» — четвёртая книга Льва Подольского из его цикла «Странное шоссе». Автор занимался этой книгой весьма заинтересованно по той причине, что предки его жены происходят из села Малое Скуратово Тульской губернии. В натуре девичья фамилия жены автора — Якушина, а назвал он своих героев в книге иначе из понятного опасения вызвать нарекания по возможным неточностям в изложении событий. Автор как бы подстраховался от всяческих толков в этом направлении. Во всяком случае, он надеется, что читатель поймёт указанное разъяснение.

В цикл также входят книги «Моё древо», «Государева служба» и «Странное шоссе».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6—4

© Текст — Л. В. Подольский, 2016.
© Дизайн — «Персей-Сервис», 2016.

ISBN 978-5-905302-35-0

*Бродит по России зловещая пара: Гришка
Скуратов с отполированным до адского
блеска секущим топором в брезентовом
чехле и его напарник — полосатый вепрь,
угодливый монах, гениальный живописец
Ефросий. Эти существа возникают
всюду, где люди нуждаются в их услугах,
где их зовут. Они слышат зов, никогда
не отказывают людям в их просьбе
и посильно помогают людям творить зло.
Помогают, ибо зло идёт от самих людей
и через людей. Пара бродит по свету
в поисках дела по своему призванию.
Люди, остерегайтесь! Автор молит Гос-
пода, чтобы эта пара не посетила никого
из моих читателей. Я искренне надеюсь,
что никто из них не станет звать Гриш-
ку и Ефросия, а без зова они не придут.*



Предисловие

Я сидел у крыльца своего сельского дома, когда к калитке подошёл незнакомый мне человек. Отыскал щеколду и постоял, оглядываясь в опасении собак. Я крикнул ему, что собак у меня нет, и он приблизился, хотя с некоторой нерешительностью. В этом его поведении ощущалась, однако, не столько боязнь таких пустяков, как собаки, сколько врождённая деликатность по отношению к людям, боязнь причинить им хотя бы малейшее неудобство, навязывая им свою персону. Этим он разительно отличался от наших аборигенов.

Я пригласил его присесть. Он аккуратно опустился в кресло, поставил перед собой рюкзак, открыл его и помолчал. Затем нагнулся, вытащил крупную картонную коробку, с усилием извлёк из неё порядочную кипу бумаги, покрытой убористым почерком, и, слабо улыбаясь, очень стеснительно протянул мне.

— Почитайте, Вам понравится.

Я колебался, брать ли: предвзято полагал, что рукопись, как, впрочем, и многое иное, созданное людьми, содержит вздор. Однако, милая манера держаться, очевидная, я бы даже сказал, несомненная душевность, исходившая от него, в совокупности с его физической немощью заставили изменить моё первоначальное отрицательное намерение, и я интуитивно взял рукопись.

Для меня было решительно невозможно хотя бы косвенно обидеть такого человека. Я уложил рукопись в сумку и принёс домой.

Он тут же и ушёл, не сказав больше ни слова, а я не сообразил спросить его о чём несомненно следовало, полагая, что он обязательно придёт вновь.

Вечером я уселся за свой уютный маленький шахматный столик и с любопытством, хотя и с большой долей скепсиса, открыл первый лист. Пыль и крошки от изрядно изношенной, потрёпанной, можно сказать, ветхой бумаги мешали чтению, и мне приходилось их

периодически стряхивать. Нередко я брал увеличительное стекло, чтобы разобрать слова и их смысл. Далее, однако, произошло удивительное.

Фраза за фразой, строка за строкой постепенно, но неудержимо втянули меня в водоворот иной жизни. Я потерял свою реальность, растворился в новом, но не чужом для меня мире, и сам стал одним из людей, населявших этот мир.

Под впечатлением прочитанного я принял твёрдое решение непременно преобразовать рукопись в книгу, полагая, что она заслуживает того, однако, задумался.

Ну хорошо, станет книга, а кто автор-то? Не бывает книги без автора, это неправильно. Я никакой не автор, а скорее, в лучшем случае, издатель. Однако, человек, вручивший мне рукопись, ушёл так же неожиданно, как и появился. Он ничего не сказал, что мне делать с ней, кроме «почитайте, Вам понравится», как поступить с ней. Он исчез, и больше я его не видел.

Более того, его появление и уход поставили меня в совершенный тупик. Оказалось, что никто кроме меня в селе этого человека не видел. Как же так, я помню, что когда он подошёл к калитке, мимо проходило множество знакомых мне людей. Сильно заинтересованный этим обстоятельством, я не поленился, отыскал каждого и спросил, но никто из них не видел такого человека возле моего дома. А уж как дотошно я у них допытывал! Но ведь рукопись — вот она, на столе лежит, откуда-то взялась. Значит, её кто-то принёс? Выходит, что никто. Фантастика.

Жена моя, со своей стороны, с присущей ей уверенностью иронически посоветовала меньше забивать себе голову всякой ерундой. «Всё это ты придумал, чтобы в силу своего скверного характера меня позлить. Иди, прими душ, пройдёт. Ладно уж, успокойся, отвечу, я никого возле тебя не видела». Я, однако, не последовал её совету, не успокоился и некоторое время продолжал расследование этого странного события, но безуспешно.

Обратимся, однако, к тексту рукописи. В свете вышесказанного события в книге изложены от первого лица, коим, несомненно, является по праву таинственный, вручивший мне рукопись человек, а никоим образом не я, смиренный издатель.

Иное дело предисловие, здесь действительно речь идёт также от первого лица, от моего, но это и всё. Моя миссия закончена. Отсюда пусть все события излагает вышеупомянутый таинственный человек.

Скуратовская быль

*Это не биография и не история,
а просто рассказ о том, что было.*

СНЫ

Я придаю большое значение началу как таковому, его верности, ибо доброе правильное начало, по моему разумению, — великое дело. Это колея, по которой пойдёт весь путь, то есть моё повествование. По этой причине я долго размышлял, перебирал различные варианты, сомневался, а потом махнул рукой и стал творить.

Итак.

С некоторых пор видел я странные сны. Они различались в подробностях, но суть сохраняли одну.

Я постоянно видел большой православный храм, расположенный на живописном холме, сельские дома по одну сторону от него и облако зловещего вида, зависшее над селом. Всякий раз облако медленно двигалось в сторону храма; оно укутывало основание храма до нижней линии окон, как бы затопляя его, но выше не поднималось. Длинным жирным рукавом облако тянулось до железнодорожной станции и исчезало над паровозами, стоявшими гуськом в тупике.

В облаке отчётливо ощущалось нечто очень недоброе; моей душе оно внушало острую тревогу и ввергало в ужас. Ужас такой силы, что я просыпался, долго лежал, а он оставался во мне и держал в своей власти. У меня и прежде случались сны, оставляющие неприятные ощущения, но они не шли ни в какое сравнение с тем мерзким чувством, которое охватывало меня от вида облака. Что-то далеко выходящее за пределы обычных телесных человеческих ощущений в иррациональную область, сути которой ни понять, ни, тем более, ориентироваться в ней для человека невозможно. Некий сгусток злобы и мерзости на сатанинском уровне.

И ещё я видел старушку, неизменно стоявшую на перроне вокзала в очевидном ожидании. Более того, я пребывал в полной уверенности,

что ждала она именно меня, хотя ранее с этой женщиной знаком не был и при встрече наверняка не узнал бы. Отчего-то знал наверняка лишь то, что это не кто иной, а старушка Пелагея.

Как может быть такое?

Мне хорошо знакомы окрестности Тульской области; по виду железнодорожной станции и села я легко определил место. Несомненно, это село Малое Скуратово и железнодорожная станция Скуратово. Я никогда не бывал там, но проезжал не раз. Понятно, что с этого момента всё моё внимание сосредоточилось именно на селе Малое Скуратово и его обитателях.

Я сельский житель и хорошо знаю жизнь села, ибо происхожу из трудовых элитных крестьян. Здесь понятие элиты взято из его сути — лучших порядочных, трудовых людей, а не из изуродованного представления, в смысле — верхушка власти, богачей, так называемого истеблишмента и прочего без учета нравственности людей, их представляющих.

По жизни я воин, донельзя израненный телом на войне. Душа моя изморожена и измучена, ибо я пропустил через сердце такие невыносимые, почти непосильные страдания человека, что надорвался, а держать это в себе становилось всё тяжелее.

И я решил рассказать людям о великой и нелепой неустроенности жизни русского крестьянина, которому власти никогда не помогали, а лишь понукали и отнимали всё, что он создавал своим тяжким трудом, о судьбе любезных мне исконно русских людей крестьянского сословия Травиных. Всё это, повторяюсь, я пропустил через своё сердце, а затем ещё и надёжно впечатал в бумагу.

Теперь я вынужден остановиться. Последующие события могут показаться читателю настолько диковинными, где-то даже неправдоподобными, что возникает необходимость убедить читателя в подлинности, правдивости происходящего. Иначе у него возникнет сомнение в реальности событий и он потеряет к ним интерес; более того, чтение может вызвать у него досаду, и он с негодованием отбросит книгу, чтобы уж более к ней не возвращаться, и она останется валяться ненужным хламом. А это никуда не годится и принесёт мне тяжкую душевную травму. Ясно, что повесть можно читать лишь в том случае, если испытываешь интерес к происходящему в ней.

Так вот, исходя из сказанного, мне не обойтись без обращения, можно даже сказать, погружения в истоки.

События, их причинно-следственное чередование являют собой суть всякого живущего, и они составляют субстанцию двух великих

понятий: времени и человеческой жизни. Человек шагает по дороге жизни, составленной событиями, переступая с одного события на другое, как по ступеням лестницы, порою крутым, иногда пологим, но постоянно понуждающим к их преодолению. Такое толкование даёт неопределимой важности возможность пытливому исследователю пройти по ступеням жизни в обратную сторону к более ранним событиям, то есть, к её истокам, ибо неразрывной цепью настоящее связано с прошлым. Пройти, таким образом, хотя бы мысленно, о большем речь не идёт.

Это, однако, чрезвычайно сложно и трудно, ибо легко впасть в ошибку и ступить не на те ступени или даже не на ту лестницу, а вместо этого пройти по дороге жизни человека, не имеющего никакого отношения к тому, чья судьба интересует, скажем, меня. Не менее сложно распознать истинность событий, которые происходили с человеком. Здесь легко заблудиться, запутаться самому, и что самое огорчительное и решительно недопустимое, это ввести в заблуждение читателя, который, как дитя, верит автору. До поры до времени! Ибо читатель нутром ухнет ложь и опять же с негодованием отшвырнёт лживую книжку.

Словом, при добросовестном и честном исследовании должна появиться стройность, последовательность и логичность в изложении событий. Только тогда читатель, возможно, поверит и станет читать книгу неотрывно.

Скажу прямо, я находился в затруднении относительно того, в какой момент обратиться к истокам. Можно это проделать сразу после главы «Ограбитель могилы» или повременить и поместить позже, после «Первого прихода Гришки».

В первом случае читатель получит подсказку, намёк на причину событий, и повесть приобретёт стройность и логику действия, несомненно, свидетельствующие об их правдивости. Однако, из-за этой подсказки ослабеет интрига и уменьшится тайна, которые так необходимы для хорошей повести. Дескать, всё тут ясно, о чём говорить. При втором варианте тайна и интрига сохраняются дольше, но несколько теряется эффект правдивости. Есть над чем поломать голову. В любом случае, следовать по дороге событий — это моё дело; для читателя важен интерес.

В общем, я находился в этом, мягко говоря, умственном ступоре до тех пор, пока не вышел одним прекрасным солнечным утром на Странное шоссе, где мне было сказано, и я получил ясный и недвусмысленный совет: «Ввести истоки сразу с самого начала, и никак не

позже, ибо слишком уж нелепые события произошли в селе. При этом, необходимые тайна и интрига также останутся в достаточном количестве».

Я отбросил всякие сомнения и решительно окунул читателя в шестнадцатый век, когда Россией правил последний из рода Рюрика душегуб и параноик царь Иван Четвёртый, более известный, как Иван Грозный. С этого и начну.

*В пространстве мёртвых нет, там все живут.
Одни вчера, в прозрачном будущем иные.
Живущие сегодня чуда ждут, и правду о себе
Ждут вечно остальные.*

Григорий Скуратов

«... Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И сказал: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет к Мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей.

Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле».

И пошло Каиново семя смешиваться и перемешиваться в людях, делая их сильно попорченными, нередко и непригодными для человеческой праведной жизни, а напротив, творцами зла.

Более пяти веков назад от наших дней в Скуратово произошли события чрезвычайно важные, отправные для дел нынешних.

... Григорий прискакал в своё родовое имение село Скуратово из Ливонии с обильной военной добычей; добро везли крепкие лошади на дюжине подвод.

Царь отпустил его на недельку отдохнуть от войны, да заодно устроить хозяйственные дела. Сопровождали и охраняли его многократно испытанные в боях и озорстве отчаянные рубаки под началом кривого на левый глаз свирепого и беспощадного, как смерть, опричника Фрола, правой руки Григория.

— Гуляйте, голуби, — милостиво распорядился Григорий и, помолчав, добавил с усмешкой, — девок в селе много.

И вот, на беду жителям села «голуби» стали гулять. Пьяные и свирепые воины врываются в избы, пили, ели, тешились с бабами без их согласия и всячески изгалялись над людьми.

Однажды от вина и неуёмного ухарства кривой Фрол потерял осторожность.

— Что без меня делал бы Григорий в Ливонии! Он всё больше пировал да спал, а с ливонцами бился я. Я! — крамольно и дерзко орал Фрол, стуча волосатым кулачищем по столу и громыхая саблей.

И ещё всякое в этом роде провозглашал Фрол. Кое-кто из опричников ему поддакивал, но иные в тот же день донесли на него Григорию.

Спихнулся Фрол, протрезвел, рухнул на колени перед хозяином... да поздно. Тут же во дворе его, коленапреклонённого, разрубил Григорий саблей от плеча до пупка. Опричников, которые поддакивали Фролу, приказал бить чугунными о шипах цепями до помертвения, а затем откачать холодной водой и, повременив, удавить.

Свершив расправу, Григорий, однако, не ощутил, как ранее, удовольствия. Он ушёл в дом, сел к столу и глубоко задумался. Думы его были непривычные и очень мрачные. Война в Ливонии не окончена, битвам несть числа. Что ждёт его, Григория, в этой войне? Не конец ли?

В молодости жизнь казалась ему бесконечной, а смерть — невозможной и к нему отношения не имеющей. Он всегда поступал так, как хотел, не обдумывая свои желания, и не было в его душе никаких сомнений. Теперь Григорию за сорок. Возник страх, не столько перед смертью, как таковой, сколько перед неминуемой расплатой за совершённые злые дела. Он и Фрола-то казнил скорее потому, что тот, сболтнув спяну, попал не в бровь, а в глаз. Верно, не лез последнее время Григорий в горячие схватки, остерегался. Так оно и есть, и не угрызения совести, у Григория совести не было, а страх перед бессмысленным концом терзал его.

Стал он часто видеть то, чего никак не хотел.

То яростное в отчаянии лицо зарубленного им отважного князя Старицкого, то умудрённые вселенским разумом глаза митрополита Филиппа в ужасное для себя мгновение под взметнувшейся над ним саблей, скорбящего не о себе, а о пропащей душе своего убийцы. И не было конца этим терзающим душу воспоминаниям, как не перечсть людей, загубленных Григорием.

В тяжёлых, вязких думках, пронизанный страхом, просиживал он тёмные вечера, но были эти думы бесплодны, как бесполезно всё противное Богу.

Но вот однажды ему показалось, что он нашёл решение. Григорий тут же призвал служителя здешнего храма, монаха, которого считал преданным себе человеком.

— Ефросий, — сурово произнёс Григорий, — пиши с меня икону!

Монаху Ефросию Всевышний дал редкий талант иконописца, но душу вложил в него робкую и угодливую. Григория он еретически боготворил и был ему предан, как собака. От слов хозяина Ефросия качнуло, он нутром ощутил тяжкую кощунственность того, что ему приказано, однако послушаться не посмел.

— Ступай и твори, — сказал Григорий, сурово глядя на дрожащего монаха. Ему был приятен страх, который он внушает этому червяку. Он усмехнулся и беспощадно добавил:

— Сроку тебе неделя!

Ефросий-иконописец

Ефросий прошёл полпути к себе, когда его внимание привлекли вёроны, вернее сказать, их необычное поведение. Облетят Ефросия, сядут впереди на дороге шагах в двадцати и ждут его приближения. Тогда они взлетают и приземляются снова впереди и на таком же расстоянии, и так всю дорогу.

Получается, что вёроны вроде его сопровождают. И ещё заметил Ефросий ворона, резко отличающегося от собратьев по стае своей величиной.

— Прямо великан! — подумал Ефросий.

Такое странное поведение воронов несколько его удивило, впрочем, он не придал ему особого значения.

«Ворон птица хитрая, ещё и не на такие штучки способна», — подумал он и вошёл в дом.

Прошёл в свою келью, высек огонь и зажёт свечу; бесцельно походил по келье, затем сел за большой дубовый стол, на котором в беспорядке лежали неоконченные работы — иконы, гладко оструганные доски-заготовки, а также всякий инструмент, материалы и краски, необходимые художнику.

В келье стояла успокоительная прохлада и умиротворяющая тишина; толстые кирпичные стены церковного дома надёжно защищали внутренние помещения от изнуряющей летней жары и уличного шума. От Григория Ефросий вышел в некоторой растерянности и унынии, однако довольно ему было сесть за работу, как всякие сомне-

ния и чувства нравственного или философского свойства уступили творческому горению художника, захватившему его без остатка.

Из нескольких заготовок он выбрал одну, хорошо просушенную и без видимых изъянов; внимательно осмотрел её, трижды провёл ладонью по поверхности, склонив при этом голову и прислушиваясь. Изобразив на своём лице недовольство, он расположил заготовку в удобное для работы положение и стал её шлифовать.

Закончив шлифовку, он произвёл особые операции, необходимые для достижения требуемых свойств заготовки и известные исключительно мастеру. Некоторое время пребывал в раздумье, а затем стал писать.

Ефросий обладал от рождения феноменальной памятью на образы и цвет; лицо Григория, которого предстояло изобразить, стояло перед ним в мельчайших подробностях, красках и выражениях.

Время в обычном человеческом представлении перестало существовать для Ефросия. Не стрелки часов или движение небесных светил, но очертания творимого им образа, наполнение его сутью стало мерилом времени для Ефросия.

Ефросий творил.

Внезапно ему стало не по себе. Он поднял голову и увидел в окне чёрную, как смола, морду ворона. Ворон был крив на левый глаз, но единственным правым смотрел в упор на Ефросия тяжело и злобно. Затем ворон перевёл взгляд, увидел икону и отчётливо заволновался. Глаз его засверкал, а перья взъерошились. Ворон неотрывно смотрел на икону, словно пытаясь разглядеть изображение в подробностях. Он несколько раз разинул свой огромный клюв и исчез. В течение дня он появлялся ещё несколько раз.

То же повторилось в последующие дни и, как заметил Ефросий, по мере приближения работы над иконой к завершению возбуждение ворона возрастало.

Ефросию было не до ворона, он творил.

Вечер четвёртого дня застал Ефросия сидящим неподвижно и в очевидном затруднении. Работа его остановилась, хотя и не была завершена.

Фигура и одеяние святого, прозрачный эфир, заполняющий весь образ и льющийся изнутри, выполненные в традиционном стиле русской Православной церкви, совершенно выражали вселенскую суть общности земного и духовного миров, понятную истинно и глубоко верующему человеку.

Но лик...

Ефросий сумел перенести на дерево лицо Григория. Но... настоящий мастер, а Ефросий несомненно был таковым, естественно стремится увидеть и изобразить суть, составляющую предмет творчества, и не может ограничить себя в этом устремлении. Он не только сотворил внешность Григория, но и неизбежно наполнил её внутренним содержанием. Гением большого мастера он разглядел невидимые для людей знаки злодеяний, убийств, насилий, лжи, недобрых умыслов, совершённых Григорием во множестве; он написал лицо, где всё человеческое и доброе, заложенное в человеке Творцом, пропитано и искажено злобой, но, увы, выражало в точности истинное лицо Григория, лицо дьявола.

Глаза сокрушали и приводили в трепет; необыкновенно выразительные, они вобрали в себя бездну зла и поражали своей мощью. Глаза дьявола.

— Дай взглянуть!

— Что смотреть-то, — прошептал Ефросий, — грозен лик и святости нет.

— Что ж, что нет, зато похож. А грозен, так это даже хорошо.

— Так ведь икона же! — в отчаянии возразил Ефросий. — Нужна святость, — он встрепенулся и приготовился счищать лик.

— Зря ты это. Лик хорош, — в голосе явственно слышалось недовольство, — оставь, как есть.

— Может, и впрямь оставить. Придам ему святости, и станет хорош, — рассуждал Ефросий.

Остановившись на том, он отбросил колебания и начал править лик. Однако выполнить задуманное оказалось невыполнимо трудно, ибо перед взором художника во всей своей грозной греховной мощи стоял, как живой, Григорий. И святости в нём, той самой святости или хотя бы капли смирения, которую Ефросий хотел придать лику, не было и следа. Ему пришлось изображать то, чего не существовало.

Кисть отяжелела, пот заливал лицо, щипало глаза; Ефросий шурился, то и дело вытирал лоб, мучился, изнемогал телом, но упорно продолжал своё.

Постепенно на иконе возникал лик праведника.

— Остановись! Если хочешь, малюй другую, а эту оставь.

Ефросий досадливо отмахнулся.

Пламя свечи полыхнуло из налитых кровью глаз Григория, ужасные гримасы местами возникали волнами и гасли под кистью художника. Мастер написал Григория с такой творческой силой и настолько

близко к натуре, что изображение как бы осознало себя, свою причастность к жизни и не хотело исчезать.

Ефросий бросил последний мазок и всмотрелся. Несомненно, святость и духовная соразмерность в иконе достигнута. Но... это уже не Григорий, ни малейшей схожести, ровно ничего.

— Пёс зловонный, свиное отродье, так я и знал, что этим закончится, — хрипел и захлёбывался в злобе голос.

Ефросий лежал. Обессиленный, он провалился в глубокий чёрный сон, скорее обморок, но вскоре очнулся в величайшей тревоге и унынии. В нём жили два существа, Ефросий-мастер-иконописец и Ефросий-раб. Они вполне уживались в одном теле, пока каждый из них жил своей жизнью и не мешал другому.

Мастер писал свои иконы, а раб не отрывал преданных глаз от господина и беспрекословно повиновался ему, и не случалось ещё такой воли, которая бы шла в ущерб искусству. Но теперь такая воля обрушилась на Ефросия. Раб должен исполнить приказ господина — изобразить его в иконе. Мастер не в состоянии выполнить приказ господина. Пытался, но не смог. Задача оказалась не по силам. Невозможно изобразить то, чего нет!

Истина не приемлет двойственности. Это «правда» для каждого своя; «правд» множество, как несть числа людей, доказывающих её.

Истина одна.

Мастер нашёл истину. Он изобразил на иконе Григория, и вышел дьявол.

Он изобразил святого, и не стало Григория.

Ефросий лежал на прохладном полу недвижимый, но сознание его корчило и содрогалось в муках смертельной борьбы, в которой схватились два его естества. Раб мог исполнить волю господина не иначе, как убив мастера. Сам Ефросий указанной двойственности в себе, однако, не замечал, но мертвел от одной лишь мысли, что возможно послушаться господина.

Бледный и дрожащий, он с трудом поднялся на колени, опираясь на руки, встал и тихонько подошёл к столу. Постоял, выпил большой ковш воды; сознание его прояснилось, мучения исчезли.

Сел к столу, взял икону и долго, бесконечно долго смотрел. Смотрел спокойно, не ощущая прежнего волнения и, тем более, творческого горения. Взял кисти, и под злорадное, но одобрительное бормотание принялся наносить мазок за мазком на лик святого. Через непродолжительное время Ефросий закончил работу.

С иконы на него смотрело пустыми глазами безжизненное лицо Григория, чертам которого Ефросий-раб придал внешние признаки святости.

Ефросий-раб убил Ефросия-мастера-иконописца.

И душа Ефросия не содрогнулась и не возропала.

Он произвёл последние правки, нанёс лак, выполнил прочие работы, вовсе не требующие таланта, но необходимые для вида и сохранения иконы, и поставил её на просушку. До истечения отведенного ему Григорием срока оставался день.

«Как раз успеет просохнуть, — удовлетворённо подумал он, с аппетитом жуя лук с хлебом и запивая водой. — Изголодался, считай, за неделю кроме воды в рот ни крошки не взял».

На следующий день, точно в срок, Ефросий предстал перед Григорием и вручил ему икону.

Тот жадно схватил её и стал всматриваться. Выражение лица его при этом быстро менялось, отражая различные оценки работы иконописца.

— Молодец, теперь ступай прочь!

Ефросий просиял и засеменял к выходу.

Попытка освящения иконы

Григорий вошёл в церковь и остановился в нетерпении. Священник, до которого ему было дело, в это время отправлял службу и, естественно, не мог прервать её даже ради такого знатного прихожанина, как Григорий.

Наконец, отец Феодосий закончил службу, отпустил христиан с миром, степенно подошёл к Григорию, благословил его и остановился в ожидании.

Григорий молчал. Несвойственная ему нерешительность гримасой прошла по лицу.

— Хочу исповедоваться, — сказал он, и это стоило ему большого усилия. Григорий много лет не был на исповеди, но священник не выказал удивления.

— Пойдём, раб Божий Григорий, — спокойно произнёс он и пошёл к месту.

— Что гнетёт тебя, сын мой?

— Страх.

— Ты воин, не ведающий страха. Что же страшит тебя?

— Я боюсь за свою душу.

Великолепная акустика храма многократно усиливала голоса, и даже тихий разговор звучал отчётливо и значительно.

— В чём твоё покаяние?

— Я грешен, я убивал людей.

— Это смертный грех, каешься ли ты?

— Нет. Я убивал по необходимости.

— Для кого необходимо?

— Для царя и меня.

— Без покаяния ты не спасёшь свою душу. Встань, подними голову и посмотри, раб Божий Григорий.

Скорбные в страданиях и сочувствии лики Спасителя и Святых, золото, библейские росписи на стенах и куполах, жертвенное пламя свечей, во множестве горящих всюду, проникающее в душу пение хора, неповторимый запах ладана, особая одежда, ритуальные движения и слова священника — всё это обращало людей к Богу и вводило их в Духовный мир. Мир, составляющий основу человека, но который люди и не пытаются обнаружить в себе, отгораживаясь неверием и невежеством, одетыми в научные одежды.

Григорий отгородился от духовного мира греховной жизнью, почитая её единственно правильной и возможной для себя. Он поднялся, глянул вокруг и не увидел того, что видели верующие люди. И не проявились на его лице признаки обращённости к Богу, а напротив, выражение гордости и свирепости явственно увиделось в нём.

— Отец Феодосий, — властно произнёс он, — я принёс икону. Освяти её.

Он развернул холст, извлёк икону и протянул её священнику.

Отец Феодосий взял икону и всмотрелся. Он сразу распознал руку большого мастера, но что-то кольнуло в его сердце. Он взглянул на Григория, затем на икону и вновь на Григория. Его поразила схожесть изображённого на иконе святого и стоящего рядом Григория. Схожесть совершенно очевидная и не вызывающая сомнений.

Священник не поверил своим глазам. В ужасе от святотатства он уронил икону и рухнул на колени перед Спасителем в сокрушении и молитве.

Григорий ждал.

Отец Феодосий поднялся с трудом и в страхе.

— Уходи из храма, здесь тебе не место. Имя твоё я не произношу, не смею, — сурово произнёс отец Феодосий, — вон!

Григорий поднял икону, аккуратно завернул её в холст, спрятал на себе и удалился, бросив на священника взгляд такой свирепости, какого тот не видел за всю свою жизнь ни в одном человеке.

Через несколько дней отца Феодосия нашли неподалёку от церкви в небольшой заросшей травой ложбине, разрубленного вдоль от плеча до пояса. А ещё через день прискакал гонец с повелением царя Григорию отбыть в Ливонию.

— Ефросий, — приказал Григорий перед отъездом, — вот тебе икона. Освяти её. Это мой указ. Живота лишись, но освяти. И сохрани.

С тем Григорий и ускакал на войну.

По пути к себе Ефросий думал лишь о том, как лучше исполнить приказ господина.

«Спрячу икону понадёжнее у себя, дождусь случая. Новый священник, какого пришлют, наверняка не знает Григория в лицо. Попрошу освятить, не откажет. Икона хороша», — рассуждал Ефросий. Он не ощущал приближения беды.

Ему оставалось пройти не более сотни шагов до церкви, как внезапно его окружила, а вернее, накинута на него необычно большая стая воронов. Это выглядело так неожиданно и нелепо, что вначале Ефросий хотя испугался, но не сильно, не видя особого вреда от воронов. Всё же птицы и не более того. Следует их припугнуть как следует, а лучше и стукнуть. Враз отстанут.

Думал он так, однако, напрасно.

Вороны напали дружно и свирепо; их было столько, что они полностью закрыли Ефросия в сплошной чёрный орущий клубок и били со всех сторон. Особенно старался крупный одноглазый ворон с огромным мощным клювом. «Таких клювов у воронов, вроде, не бывает», — успел подумать бедный Ефросий и потерял сознание. Теперь он уже не ощущал того, как вороны продолжали терзать его тело, долбили голову, разорвали горло, как убили его совсем.

Ефросий лежал на дороге окровавленный и растерзанный, но обеими, уже мёртвыми руками он прижимал к груди обёрнутую в холст икону.

Мимо проходил мужик, увидел Ефросия, подошёл ближе и в ужасе закричал. Осторожно вытащил из рук мертвеца икону, горестно покачал головой и рысью кинулся в барский дом сообщить о своей страшной находке.

Там же он передал икону барскому управляющему.

Прошло время. Службы в церкви теперь отправлял отец Сергей, назначенный на место злодейски убиенного отца Феодосия. Прихожанам новый священник пришёлся по душе своим искренним благочестием, добротой и прекрасным голосом. Отец Феодосий также обладал хорошим голосом, но у этого голос лучше. Вместе с тем, люди, привыкшие к прежнему священнику, долго ещё нет да нет, выходя из церкви, вздыхали и говорили:

— Отец Сергей хорош, но отец Феодосий... — других продолжающих слов обычно не произносили, а вместо этого крестились и тяжело вздыхали, очевидно свидетельствуя о том глубоком уважении и почтении, которое они питали к отцу Феодосию.

Предчувствия не обманули Григория. В схватке с ливонским дворянином на один лишь миг потемнело у него в глазах, и не успел он увернуться от удара, но поразительно отчётливо увидел, как стальное копьё с хрястом врубилось в его тело пониже груди и вышло обратно, вырвав его, Григория, внутренности. Грянулся Григорий с коня и очень долго бился в предсмертных судорогах ногами об землю, так что выбил в ней две глубокие лунки, бился, пока не вышла из него вся кровь, а с нею и жизнь.

Когда Григория привезли из Ливонии в его родовое имение, никого это особенно не удивило. Весть о его гибели примчалась в село быстро, значительно опередив траурный обоз, состоявший из семи повозок, на одной из которых стоял гроб с телом.

Родственники Григория вначале решили захоронить его в церковном погосте. Отец Сергей, однако, был против. По приезде в Скуратово, да ещё и на прежнем своём месте, он немало наслышался о делах, происшедших в селе, и сам много размышлял. Он сумел учтиво и дипломатично убедить родственников, что лучшего места для захоронения, чем в саду барского дома, подыскать невозможно. При этом он приводил различные не оскорбляющие покойника доводы, в том числе, «чтобы близкие постоянно ощущали его рядом и не забывали». Об истинной причине отец Сергей умолчал.

На том и решили.

С утра Григория отпели в церкви, а затем предали земле, соблюдая все принятые в таких делах церемонии и ритуалы. Всё прошло пристойно.

Однако, после возложения венков, когда все разошлись, произошли два события, возможно, менее значимые, но зато настолько странные, что толково объяснить их весьма затруднительно.

К могиле подбежал покрытый длинной полосатой щетиной кабанчик средних размеров, скорее, небольшой вепрь. Некоторое время он стоял, сопя и хрюкая, затем положил своё длинное рыло на могильный холмик, в головах покойника, и долго находился в этом положении. Сопение и хрюканье стало больше походить на стоны и плач.

Одновременно над садом вдруг закружились вёроны. Совершив несчётное количество кругов и накричавшись, они резко взмыли вверх и летали там, а один ворон отделился от стаи и стремительно бросился вниз. Приземлившись на могиле, он принялся неистово топтать и швырять лапами землю в очевидном намерении осквернить место. Единственный глаз ворона горел злобным огнём.

Затем одноглазый ворон взмыл вверх и присоединился к стае. Всё стихло.

Вот что произошло здесь пять веков назад, а теперь вернёмся в село второго десятилетия двадцатого столетия от рождения Христова, когда во главе великой России ещё был, хотя и доживал последние дни, император Николай Второй.

Перед тем, однако, дадим историческую справку. Дело в том, что церковь, о которой шла речь выше, обветшала, ибо была деревянная, и решили её перестроить, а правильнее сказать, на этом месте поставить новую. Сказано — сделано. На средства прихожан, при особых пожертвованиях со стороны купца Кочетова, купцов братьев Васильковых и церковного старосты князя Кугушева, построили каменный храм. Строили четырнадцать лет, начиная с 1863, а закончили в 1876; в том же году новая церковь была освящена.

К церкви приписана часовня-склеп, выстроенная князем Кугушевым для семейной усыпальницы.

Церкви отведено и кладбище на землях крестьян-прихожан; оно окопано канавою, обсажено деревьями и имеет ворота.

Легенда

На бескрайней холмистой живописной равнине жил красивый и талантливый народ.

Одна беда: никак не мог он устроить себе приличную жизнь. То рынок ломится от товаров, так денег нет. Деньги завелись, так товаров нет. Или вообще, ни того, ни другого. Самые выдающиеся люди из народа ломали головы, чтобы понять, в чём причина такого неустройства.

Одни сказали: «Виноват царь, плохо правит». Люди стали убивать своих царей. Многих убили, но жизнь не становилась лучше.

Другие сказали: «Виноваты иудеи, хотят извести народ». Побили иудеев. Опять без перемен.

Третьи сказали: «Причина в хозяевах-эксплуататорах, заставляют народ гнуть спины на своих землях и фабриках, а сами жируют». Отобрали земли и фабрики, а кто не отдавал, тех побили. Жизнь стала ещё гаже.

«Умом народ наш не понять, аршином душу не измерить», — ну эти уж вовсе умом сдвинулись. Полная безнадёга, да ещё завещанная потомкам.

В какое-то время в кормчие народа пробился человек, происходивший из горного воинственного племени. Он долго молчал, только усы гладил и руководил, а потом сказал: «Виноваты враги народа, не дают устроиться, вредят».

Стали стрелять врагов народа. Нет улучшения.

«Виноваты крестьяне, хлеб прячут». Кого постреляли, кого угнали куда подальше. Ещё хуже стало.

«Виноваты все, кто не любит Кормчего». Хотели продолжить обустройство, но увидели, что народу осталось мало. Зато теперь все, как один, довольны жизнью и любят Кормчего.

Смотрела, смотрела на всю эту дебильщину Пелагея из села Малое Скуратово, оставшаяся в живых по недосмотру властей, и сказала: причина в нас самих. Сами виноваты.

Никто, однако, ей не поверил, ибо она не указала, кого убивать. Узнал про неё Кормчий и зашёлся в государственном гневе, забился в паранойе. Совершенно секретным приказом обязал он свои карающие органы расстрелять Пелагею самым худшим расстрелом, как наиопаснейшего врага народа.

К счастью для Пелагеи, Кормчий на том и помер. Народу бы радоваться, ан нет. Народ успел полюбить Кормчего так сильно, что хоть ложись всем миром рядом с его телом да помирай. Ну, вроде, выдержал народ горе, оклемался. Не все, конечно, иные до сих пор горюют, тоскуют по Кормчему.

Травины

В южной стороне Средне-Русской возвышенности на земле исконного обитания русских людей разбросало свои дома село Малое Скуратово. Местный ландшафт, не в пример скучному однообразию сте-

пей или сплошных лесов, радовал глаз живописным сочетанием обширных холмов, где покрытых зелёной травой, а где чёрных, как дёготь, после вспашки, ленивых зеркальных речек и лесных посадок, в сезонное время изобиловавших грибами.

Село древнее, и неизвестно, когда возникло. Принадлежало оно когда-то князю Воротынскому Михаилу Ивановичу, входило в его вотчину. Князь завещал вотчину своему сыну духовной грамотой:

«А что за мною государева жалованье наша вотчина прародителей наших и деда моего и отца моего и моя город Одоев да на Черни острог в Одоевском же уезде да город Новосиль и те городки с посады и со всеми уезды с сёла и з деревнями со всеми землями и с лесы и со всякими доезды сыну моему Ивану».

Гербом же князю установлен такой:

«В серебряном поле протекает река чёрная; сей цвет доказывает её глубину, а по обеим ея сторонам по зелёному снопу травы».

Всё так, и речка Чернь тихо течёт здесь по своему чернозёмному руслу, как и в стародавние времена. Расположенное на одном из холмов село, и в особенности церковь, виделись издалека, с какой стороны ни посмотри. Церковь Святого Александра Невского по великолепию и размерам могла бы украсить любой населённый пункт, даже город: ни в Тарути, ни в Полянске, ни в иных городах, расположенных в радиусе до ста километров, не существовало такого прекрасного и внушительного храма.

Ничего удивительного, что жители села гордились своей церковью чрезвычайно.

Хотя истинную глубину древности села измерить сегодня вряд ли кто в состоянии, но то, что при Иване Грозном оно принадлежало думному боярину Григорию Скуратову, известному злодею, душегубу и опричнику царя, — факт, не вызывающий сомнения. Царь выдал ему на это село жалованные грамоты, написанные золотыми буквами, в виде холста, накатанного на скалку. Григорий отдал село во владение своему младшему сыну; по этой причине оно стало называться Малое Скуратово.

Недалеко от Тарути в сторону Полянска существовало ещё Большое Скуратово, также принадлежавшее Григорию, но от своего изначального прошлого в нём ничего, кроме замшелых останков небольшой церкви, не осталось. Разве что тени предков, для которых социальные перемены ровным счетом ничего не значат, пребывают там в своём особом духовном устройстве.

Ныне существующий спиртной завод, садовое государственное хозяйство, да люди образуют уже не село, а скорее рабочий посёлок, начисто порвавший со своим прошлым. В определённом смысле Большое Скуратово являет собой печальный пример утраты исторической преемственности. Впрочем, это вовсе не означает, что эволюция села Большое Скуратово не представляет интереса для добросовестного исследователя российской жизни, но это уже иная тема, и речь о ней должна идти особо.

Здесь же речь идёт о селе Малое Скуратово. Далее стану для краткости называть его без слова «малое». Надеюсь, правдивость от этого не пострадает. Вотчина князя Воротынского обширная, и село в ней малая кроха, но нас интересует именно село; в нём теперь наш главный интерес.

Среди первых жителей села достоверно были трудолюбивые русские люди Травины. Так что не пришлые они, Травины, а исконно местные. Их потомки Травины, о которых здесь пойдёт речь, жили в середине села, если считать в одну сторону от церкви, а в другую до Выглядовки. Люди любили приходить к ним; удивительно добрые, занятые и приятные люди. Тогда хозяйствовали в доме Тимофей и Ксения, а старшего их сына звали Василием.

И вот решили отец с матерью, что пора Василия женить...

Женили, и получилось, что Василию в жизни сильно повезло, потому что судьба послала ему в жены Евдокию Берёзову, женщину красивую, трудолюбивую, совестливую и добрую. Насколько Евдокия была хороша, свидетельствует тот светлый факт, что Василий за всю жизнь не мог отвести от неё глаз. Словом, он влюбился. Они привыкли заботиться друг о друге, и тревожились, если разлучались хотя бы на короткое время.

Молодой супружеской паре выделили в доме часть большой комнаты, отгородив её деревянной стеночкой, и стали они жить в любви, уважении и непрерывном труде под одной крышей с отцом и матерью, дедом и бабкой и всем остальным семейством Травиных.

А перед этим, как водится, состоялась свадьба.

Молодых после венчания в церкви везли на празднично украшенной лентами бричке. Колокольчик, подвешенный на оглобле справа от лошадиной головы, звенел серебром, придавая особую весёлость брачной церемонии, впрочем, радостной и самой по себе. Лошадь молодым от всей души предоставил состоятельный Георгий Жарков, дядя жениху по материнской ветви. Лошадка бежала рысью, не так уж и быстро, но и не медленно, а как раз с такой скоростью, чтобы полу-

чалась торжественность действия. Сам дядя Георгий ехал верхом на вороном жеребце чуть позади и наблюдал, чтобы всё шло, как надо.

Однако, где-то на полпути, когда до Травинского дома оставалось ещё порядочно, лошадь остановилась, да так внезапно, будто наскочила на стену. Даже на дыбы встала и вроде передними копытами забились о некое препятствие. Возница, внук Георгия, Коля, принялся понукать лошадь, но все его старания получились тщетными: та ногами перебирает, а вперёд ни шагу. Случилась эта непредвиденная, и прямо скажем, странная остановка как раз против дома Воробьёвых.

Рассердился было дядя Георгий на свою лошадь, что так скверно ведёт себя, да вовремя смекнул: не лошадь тут виновата. Слез с жеребца и пошёл к Воробьёвым на переговоры.

Яков Воробьёв сидел на табурете и с очевидным интересом глядел в окно, выходящее на сельскую улицу.

— Желаю хозяину и всему семейству доброго здоровья! — душевно произнёс Георгий, вытащил из кармана бутылку водки и поставил на стол.

— И ты будь здоров, Георгий, — ответил Яков и вновь посмотрел в окно, — никак, Василий с Дуней женятся? Хорошая девка Евдокия, душевная и работающая.

Он распечатал бутылку и полил в стаканы.

— За здоровье молодых, — произнёс Георгий и чокнулся с Яковым. Тот согласно кивнул, и они выпили. Посидели.

— Ну, мне идти надо, ждут меня. Ты, Яков, не препятствуй их дальнейшему проезду.

— Ну что ж, пусть едут с Богом. Хорошая пара.

Георгий вышел, сел на жеребца и, улыбаясь про себя, подал знак к движению. Бричка покатила вперёд, будто ничего такого особенного и не произошло.

«Как же это мы маху дали, — размышлял он, — не пригласили Якова? Это же надо, вот он и затребовал выкуп».

Евдокия

Не вдруг привыкла Евдокия к новому течению жизни.

Природа наделила её большими глазами небесного цвета, приятным чистым лицом и статной привлекательной фигурой; она выглядела истинно русской красавицей. Глубокие нравственные устои, доброты, рассудительность и порядочность, вышедшие из семьи, чувство-

вались в ней без сомнения и составляли её натуру. Образования она не получила вовсе — потому, что пища и всё остальное необходимое для жизни доставались непрерывным тяжелым крестьянским трудом: не до образования было. Однако, читать умела и очень любила.

Благодаря своим добродетелям, она пришлась замечательно ко двору. Свёкор и свекровь её полюбили, души в ней не чаяли и в обиду не давали. Как-то хватились в доме — нету Дуни. Дед пошёл искать и нашёл её в саду; сад хороший, полно в нём яблок, груш, слив и всякой ягоды. Так Дуня забралась на черёмуху высоко, аж ветка качается, и ест ягоду. Молоденькая ещё, совсем девчонка. Полюбовался дед на Дуню, вернулся в дом и, усмехнувшись, сказал бабке:

— Перепёлка-то, наша, глянь, залезла, как бы не шарханулась через сук.

Бабка всполошилась, выбежала и закричала:

— Ах, смертный тебя убей, слезай! — испугалась за неё.

Первое время Дуня всё же чувствовала себя не в своей тарелке; она скучала по родительскому дому и своему родовому укладу.

Сели обедать. На столе свёкольник. Взяла Дуня в рот ложку, Боже мой, не солено, не вкусно, как помои.

— Забыли соли, что ли, положить? — спросила она.

Свёкор подавился куском, поелозил на скамье, округлил глаза и наконец выперхнул.

— Ты, что, молодуха, с ума сошла? Какая ещё соль?

Свекровь вступилась:

— Ты, Дунюшка, сделай себе отдельно, — предложила она.

Дуня накрошила луку, посолила свёкольник, подлила квасу, сидит, ест. А Николай, работник, он из уважения помогал, скотину гонял или ещё что, отведал из Дуниной чашки и пересел к ней.

— Яс тобой поем, Дуня.

Сидят, едят. Свёкор хлебал, хлебал, а затем и говорит:

— Что ты в маленькой чашке, наведи уж в большой, всем.

Дуня заметила, но из деликатности промолчала, что больно уж плох у них хлеб; у Берёзовых она привыкла к хорошему. Мать её пекла очень хороший хлеб. Муки высыпала враз пуд и замешивала в корчаге, чтобы муки не оставалось, а для этого тесто необходимо перевернуть не менее трёх раз.

Зато хлеб-то, вынимаешь, как пирог ешь. А тут не хлеб, а замазка, да ещё голая мука попадается, хоть горстями выгребай, да ещё не солёный. Ровно мыло. Свекровь-то слабая, а теста пуд, где уж ей. Еле повернёт раза два, да ещё кое-как, и уж готова, задыхается.

Вот она и говорит Дуне:

— Спеки нынче хлебушек сама.

Дуня у себя смотрела, как мать пекла, да и сама много делала, но не говорила, что умеет, а то скажешь, а вдруг не получится.

Так, значит, навела она теста, всыпала соли, испекла. Пышные получились хлеба, румяные, вкусные — ешь, как пирог.

Свёкор откусил и опять глаза округлил.

— Ты что, рехнулась, посолила. Кто же хлеб солит?

А Николай, работник, Дуню поддержал.

— Этот возьмёшь в рот, как пирог, водой запьёшь со вкусом, а то возишь, как мыло.

Свёкор ломал и жевал с нарастающим вкусом, но узнав, сколько ушло соли, взбеленился:

— Сколько же это за год соли изведёшь!

Так постепенно, миром да ладом, смирением да трудом освоила Дуня новое хозяйство, стала вести его по-своему, и потекла её жизнь в доме Травиных по пути, начертанному судьбой.

Первым родили Евдокия с Василием Николая, затем Бориса, Ивана, Константина. Константин умер младенцем, и этим же именем назвали следующего мальчика. Затем Алексея, Антонину, Василия и Лидию.

Старший сын Николай с детства полюбил столярное ремесло. Он врыл в землю во дворе четыре дубовых столбика, сколотил из толстых досок крепкую крышку, приколотил её к столбикам шестидюймовыми гвоздями, и, соорудив таким образом верстак, принялся за дело. Одно за другим выходили из его умелых рук различные полезные в быту изделия: табуреты, столы и даже гардероб. Всё красивое и добротное.

Бориса особенно любили семья и родня, а девушки млели при одном взгляде на него. Он внимательно следил за своей внешностью и часто отглаживал брюки угольным утюгом. Любил мастерить всякие радиотехнические приборы, ещё юношей работал на местном радиоузле, а позже стал его заведующим.

Ивану пришлось по душе домашние, бытовые дела; он стал правой рукой у матери. Мыл полы, стирал бельё, готовил дрова, ходил за коровой.

Константин особыми увлечениями не отличался, зато в подростковом возрасте собирался уехать в Одессу, но, уличённый во время в подготовки к побегу, благополучно остался дома.

О младших детях речь не идёт, ибо они составили иное поколение людей, отделённых войной. Старшие Травины попали в войну, каж-



*Евдокия и Василий Травины с детьми. В середине внизу младший брат
Василия Виктор*

дый со своей судьбой; младшие войны избежали, но с лихвой хватило невзгоды голодного военного и послевоенного времени.

Война стала водоразделом этих поколений.

Постройка дома

Нет для человека более радостного труда, чем строить себе дом. Это чувство человек унаследовал от птицы, с песней выщел себе гнездо, от крота, роющего комфортабельное подземное жилище, волка, устилающего логово мягкой травой.

Георгий Жарков строил дом, а помогали ему Василий Травин, бескорыстно, и Ванька Корытов, нанятый за деньги.

Ванька, мужик средних лет, жилистый, крепкий, с серыми нагловатыми глазами. Когда Ивана родители зачинали, гены всех его предков, раскрутившись в рулетке творения, выпали в таком редком сочетании, что вместе с физической крепостью и способностью к труду он приобрёл стойкое к нему отвращение, а от какого-то предка-разбойника — ещё и склонность к воровству. Длительный, повседневный труд, который только и мог обеспечить сносную жизнь в селе, казался

Ваньке пыткой. Всё ему хотелось получить сразу и без усилий. Словом, Иван был ленив, жаден и вороват. Конечно, он, как и любой человек, свободный в выборе, мог избрать путь добропорядочной трудовой жизни, мог, но не пожелал.

Только Георгий с Василием войдут во вкус стройки, как Ванька уже садится перекурить, или придумает ещё какую причину, чтобы посидеть; поэтому приходилось Георгию подгонять работника, стараясь, однако, при этом его не обидеть.

Утро. Работают не более часа, а Иван уже на пеньке, отдыхает.

— Ваня, — обратился к нему Георгий, — займись крюком, вделай его в потолок, — и он показал место. — Мы здесь подвесим люльку; скоро будет кого укачивать.

К удивлению, за эту работу Ванька взялся с большой охотой. Тщательно вычистил место на потолке, даже тряпочкой протёр, просверлил отверстие и закрепил крюк мощным винтом, способным выдерживать любую тяжесть, а не то что люльку с малым ребёнком. Всё это он делал с любовью, очень тщательно и надёжно, как для себя.

Георгий обратил внимание на его старания и похвалил, Василий одобрительно посмотрел на крюк и усмехнулся.

Закончив работу, Ванька, однако, не отошёл, а ещё подчищал, укреплял и подлаживал. Затем решил покрасить.

— Так ведь, всё красить станем, заодно и его, — упрекнул было Георгий, но не настаивал, и Ванька сделал по-своему. В последующем, занимаясь другими делами, он нет-нет, да подойдёт к крюку и полюбуется.

— Пришёл помочь, мужики, — подошёл к дому Яков.

— Не откажемся, Яша, — радушно приветствовал его Георгий. — Ты очень к стати. Давай мы с тобой коробку вмажем, одному несподручно.

Он принёс новую, упоительно пахнущую сосновой смолой оконную коробку. Примерил её в проём; где надо подтюкал, подстрогал. Яков приготовил раствор и нашлёпал его в проём по периметру. Затем они вдвоём взялись и вдвинули коробку на место. Прочная, ровная, без щелей, она готова была принять в себя оконную раму. Загладив швы и убрав лишний раствор, они отошли и полюбовались.

— Мария, — позвал Яков, — иди сюда. Станешь сидеть у этого окна, мужа ждать, как красная девица из сказки.

— Ладно тебе, Яша, нашёл красную девицу, — отмахнулась Мария, но видно, окно ей понравилось, и она довольная отошла к своим нескончаемым хозяйкиным делам.

— Ну, мужики, вы уж тут без меня поработайте, а я съезжу за материалом. Листа не хватает и двухдюймовых досок для пола. Я уже договорился.

Георгий ушёл в дом, но вскоре вернулся с изменившимся лицом; прошёл на кухню.

— Мария, ты не брала деньги? Те, что на материал.

— Да ты что, Георгий, как же я возьму? Ты хорошо посмотрел? Пойдём вместе посмотрим.

Перерыли всё, но денег не нашли. Расстроенные донельзя, вышли во двор. Георгий отозвал Василия и рассказал о пропаже.

— Некому их взять, кроме Ваньки, — сказал Василий после долгого раздумья, и Мария с ним согласилась.

Георгий снова и снова вспоминал, может быть, сам куда их дел да забыл; не хотел он осуждать человека, не зная в точности его вины, но ничего такого не припомнил. Он подошёл к Ивану. Тот уже почуял неладное и сидел, глядя в сторону.

— Иван, ты, часом, не взял деньги? — напрямик спросил его Георгий.

— Какие деньги, ты что? — взъерепенился тот. — Как что, так Ванька. Всё вам Ванька виноватый. У себя поищите! — вдруг он замолчал.

Яков уставил на него свой тяжёлый взгляд. Ванька стал зевать; и у него не было сил оторвать глаз от Якова, чей взгляд давил всё сильнее. Он хотел закричать и продолжить запирательство, но не смог. Он только зевал и пучил на Якова глаза.

— Доставай, — очень тихо, едва слышно произнёс Яков, но эти слова придавили Ваньку тяжёлым прессом.

Очень медленно, как во сне, он полез за голенище, вытащил пачку денег и держал её перед собой. Жарков осторожно взял деньги из его руки и при всех пересчитал.

— Всё в целости, — сказал он и ушёл в дом. Василий последовал за ним.

— Заяви на него властям, мы свидетелями станем, — предложил он, но Георгий не решался, а вернее, не хотел. Он понимал, что по закону загремит Ванька в тюрьму и совсем пропадёт. Они возвратились во двор.

— Георгий, — Ванька встал на колени, — Христом Богом прошу, прости. Сам не знаю, как получилось, и в мыслях не было.

Ванька запаниковал: видно, в тюрьму ему ой как не хотелось.

— Всю жизнь на тебя работать буду!

— Ну и дерьмо же ты, Иван, — выразил общее суждение Василий, — не верь ему, Георгий.

— Ладно, — сказал Георгий, — успокойся, заявлять не стану, но с работой, уволь, ты мне не нужен. Вот тебе деньги, твой заработок. Возьми и уходи; видеть тебя не могу.

— Зря ты его прощаешь, — укоризненно произнёс Василий.

Яков покачал головой и ничего не сказал. Непонятно было, одобряет он решение Георгия или полагает его неудачным; по выражению его лица скорее сказать, что одобряет.

Ванька покидал двор, как вор, схваченный за руку, но радующийся, что избежал наказания. Все стояли, отвернувшись, не желая видеть его, даже уходящего.

Без Ваньки стройка пошла даже быстрее, и вскоре работа была закончена. Большой, а по сельским представлениям, очень большой, с восемью окон, сложенный из прочного красного кирпича, с высоким фундаментом, тремя просторными комнатами и коньковой железной крышей, дом выглядел великолепно, истинно терем.

На следующий день Жарковы справили новоселье. Для угощенья Евдокия запекла окорок, как только она могла это делать. Она поставила тесто, обернула им окорок и задвинула его в хорошо протопленную русскую печь. Когда окорок извлекли из печи, у всех потекли слюнки. Невыносимое зрелище!

Новоселье получилось удачным и запомнилось надолго. После угощенья вышли за калитку и повели песни. Чистая, без пыли улица, густо поросшая низкой травой, радовала глаз, и аккуратные колеи от тележных колёс вовсе не безобразили её вида. Человек, увидевший сегодняшнее село, не поверит в правдивость сказанного, но это так.

Дело в том, что событие происходило в период окончания лошадиной эпохи в селе, когда грузовые автомобили и трактора ещё не оскверняли выхлопным смрадом целебный сельский воздух, ещё не превратили живописную сельскую улицу в безобразное месиво, и люди ещё не знали такого учёного и вместе с тем угрожающего понятия, как экология.

Это был конец того времени, когда безнравственное государственное устройство, водка и радио ещё не опустошили души людей, ещё не произошло их отвращения от культуры с творческим началом к примитивной культуре потребления как таковой, и ещё не были убиты образованные веками сельские традиции. Теперь только профессионалы от искусства изображают на сцене эту самую сельскую жизнь прошлого, как реальность, которой уже не существует.

А не было тогда в селе большего удовольствия, чем песня. Ещё сидя за праздничным столом у Жарковых, люди нетерпеливо ожидали, когда начнётся самое главное, что составляет соль веселья, песня.

В центре на траву уселись Георгий с Василием и Князь, прозванный так за аристократическую внешность и замечательный голос. Некоторое время, пока собирались обязательные участники действия, шли обычные разговоры, шутки, смех. Но вот наступила тишина, полная напряжённого ожидания, и зазвучал серебряный, чистый, как родник, голос Князя. Затем на октаву ниже вступили Георгий с Василием, и, наконец, в нужном месте остальные.

Песня разнеслась далеко по селу, привлекая ближних и дальних соседей; на зов песни, боясь опоздать, спешили взрослые и дети. Они останавливались заворожённые, и те из них, в ком содержалась охота, тут же присоединялись к действию. Обычные песни, рутинно звучащие в исполнении профессиональных артистов, здесь обретали свою изначальную первоизданную суть. Это были не просто рифмованные слова, свитые в мелодию, но рассказ о человеческой судьбе, судьбе очень близкого человека, пережитой им любви, беде, смерти... и каждое слово не проскальзывало мимо, а несло смысл и проникало в душу.

Бесконечное число раз спетый «Хас-Булат» неизменно вызывал слёзы, в том месте, где он погибал от сабли жестокого и мстительного старого мужа ради любви к женщине. Между певцами и слушающими в сопереживании с героями песни возникла слитность сродни той, которая присутствует лишь при рождении шедевра.

Во всяком случае, если эффект шедевра проявляется прежде всего в захвате зрителя и его потрясении от действия, то здесь он присутствовал несомненно. Шедевр стихийно возникал и шёл от изначала песенного искусства.

Разошлись поздно, очень довольные собой и умиротворённые.

Волк

Перед вечером к Жаркову зашел Кувшин и рассказал, что видел волка.

Георгий в сомнении покачал головой: давно не слышно в этих местах о волках, извели всех. Кувшин, однако, упорно твердил своё. Он косил траву километрах в двух от Крестов, когда серый промелькнул на опушке леса и скрылся в Тёмной посадке.

— Может, показалось? — недоверчиво спросил Георгий, но Кувшин оскорбился.

— Я что, слепой, волка не различу? — негодование его было так велико, что он даже сплюнул, и это поколебало Георгия.

— Ладно, завтра сходим.

На следующее же утро Георгий и Василий, как опытные охотники, а Кувшин в качестве проводника, отправились на разведку. Волка они не встретили, но, походив в местах, указанных Кувшином, обнаружили неопровержимые доказательства его присутствия в Тёмной посадке. Прежде всего, следы — достаточно свежие, совершенно не испорченные непогодой, да ещё волчий помёт.

В тот же день состоялось совещание охотников, на котором обговаривали все детали предстоящей облавы. Разговора о том, следует ли устраивать облаву, даже и не возникло, ибо никто не сомневался в её необходимости.

Волк лежал в своём логове в полудрёме. Рядом, свернувшись в серый пушистый клубок, крепко спали малыши, три волчонка и одна самочка. Они зарыли свои мордочки в тёплый мех материнской шубы, а волчица лежала, охватив их своим телом. Так ей спокойнее и приятнее, хотя полностью спокойными волки не бывают никогда, ибо жизнь их протекает во враждебном окружении, и главная угроза таилась в людях.

Люди не понимают волка, его природное право жить и растить своих детей. Конечно, когда-то, в незапамятные времена, волк угрожал человеку, самой его жизни. Но время изменилось, человек придумал разные хитрости и стал всемогущ, а его неприязнь к волку осталась, и он не терпел рядом с собой его присутствия. Человек, ещё в древности, приручил одного из волчих предков, переделал его в сторожевую собаку и тем сотворил себе друга.

«И обратил его против нас, — думал волк. — Мы же, волки, всё те же, и нам становится всё труднее. Мы не умеем жить иначе, чем наши предки; мы хищники и едим мясо, и не сможем жевать траву подобно коровам. В конце концов, таков мир, и не мы его устраивали».

Такие мысли тихонько текли у волка где-то на дне сладкой дремоты, не вызывая беспокойства, как нечто отстранённое от ежеминутной реальности с её заботами и опасностями. Он мудр опытом своих предков, накопленным в течение бездны времени бесчисленным множеством поколений.

Волк дремал, но слух его, настроенный на опасность, не знал отдыха.

Внезапно он услышал шорохи и треск, не похожие на обычный шум леса, а ещё через мгновение — лай собак и топот ног. Волк вскочил, как пружина, и привёл в действие свой выкованный природой волчий механизм жизни. Действовал он безошибочно: природа учла все промахи, совершённые волчьими предками, внесла необходимые поправки и доработала его, доведя до совершенства.

Волчица открыла глаза и посмотрела на волка. Она продолжала лежать, не желая беспокоить волчат, но насторожилась и ловила своим изощрённым слухом враждебные звуки.

Волк взглядом указал ей остаться, а сам вышел из логова и направился в сторону встревожившего его шума. Скользя, как тень, почти невидимый, он подобрался достаточно близко, чтобы понять, что к чему. Несомненно, люди с собаками шли облавой в сторону логова.

Он выскочил на поляну вблизи облавы и, не таясь, пошёл по открытому месту, ожидая, чтобы его обнаружили. По взрыву криков и бешеному лаю собак он понял, что достиг своей цели, и побежал, держа направление в сторону от логова. Он уходил всё дальше, увлекая за собой облаву. Опасаясь, что собаки потеряют его след, он время от времени показывал себя, пробегая то по открытым местам, то по сушняку, издавая шум и треск. Рассчитав, что увёл охотников достаточно далеко, и опасность логову теперь не угрожает, он пошёл на отрыв.

Пошёл стремительным маршем, в котором равных ему не существовало.

Однако, облава успела охватить его дугой и не позволяла вырваться в сторону, стремясь, напротив, прижать его к речке. Волк без колебания бросился именно к речке, где содержалась и опасность, но и спасение. Перед этим он предпринял несколько попыток прорваться в сторону, но они едва не закончились для него гибелью. Всякий раз его встречали выстрелы, и лишь своевременные прыжки, да ещё удача, помогли избежать рокового конца.

Картечь посекала кусты, но миновала волка.

Теперь важно опередить охотников на пути к речке. В бешеном беге он выиграл дистанцию и выскочил к воде первым. С ходу бросился в речку, переплыл и выпрыгнул на противоположный берег.

Подоспевший Георгий увидел волка и вскинул ружьё. До цели не более двадцати шагов, и на таком расстоянии промахнуться невозможно.

Волк спиной почувствовал угрозу, обернулся, чисто по волчьему, всем корпусом, увидел охотника и понял, что это конец. Свирепость

хищника, но и отчаяние затравленного животного выразились на нём настолько явственно, что Георгий дрогнул и не решился сразу нажать на спусковой крючок. А через мгновение волк отвернулся и исчез в зарослях.

Выстрел вдогон оказался пустым. Прибежали остальные; кое-кто успел углядеть серую спину, скользящую между кустов, и даже выстрелить, но с таким же результатом.

Волк пробежал с полкилометра по берегу, затем долго шлёпал по мелководью, перешёл речку в обратном направлении и окончательно оторвался от облавы. Он выждал, прислушался, постоял, а затем не спеша отправился к логову.

Волчица встретила его тревожным взглядом, прочитала ответ, успокоилась, придвинула к себе волчат и, положив голову на лапу, смотрела на них своих детей с великой любовью. Она ощущала к своим малышам невыразимую нежность и принялась вылизывать их шубки; лизала спинки, животики и мордочки.

Волчата урчали, принимая материнскую ласку, и купались в блаженстве.

Волк улёгся на прежнее место и погрузился в свою постоянно настроженную дремоту. Он не считал возможным демонстрировать открыто подобную нежность, как волчица, но разорвал бы всякого, кто посмел бы угрожать его волчатам; в битве за них он без колебания отдаст жизнь.

Ограбитель могилы

По селу прошелестел слух о давно ожидаемой кончине старого больного барина.

Барин, его семейство и вообще барский дом занимали в умозрении селян особое место, являя собой символ богатства и знатности, находящийся, к тому же, не где-то за горой, а у них на глазах в родном селе, и, таким образом, принадлежащий селу.

Слух распространился мгновенно и охватил всех поголовно, включая глухую девяностовосьмилетнюю бабку Лизавету, проживающую аж на Выглядовке, то есть, совершенно на отшибе; мысли и разговоры стали обращаться исключительно вокруг кончины барина и всего, что связано с нею.

После того, как съехались родственники и близкие барину знатные люди, то есть, на третий день, его отпевали в местной церкви

Святого Александра Невского, а затем пронесли на кладбище для погребения.

Среди селян, столпившихся несколько поодаль от могильной ямы, находился и Ванька Корытов. Он стоял молча, но из этого ошибочно было бы заключить, что Ванька задумался о возвышенном; мы не такого высокого мнения о нём и не станем кривить душой. Увы, в силу примитивности своей натуры он был начисто лишён такой благородной способности. Вместе с тем, необходимо отметить, что наблюдал происходящее он чрезвычайно внимательно и с тем болезненным интересом, с каким большинство людей воспринимает всё, что связано со смертью. Обладая, как многие дикари, острым зрением, Ванька заметил, что барин обряжен в хороший добротный чёрный костюм, глаза его прикрыты двумя массивными золотыми монетами, а на пальцах ясно видны драгоценные перстни и золотое кольцо.

После окончания погребения люди двинулись с пристойной степенью к барскому дому, перед парадным подъездом которого барыня устроила поминки по мужу для простого народа. Люди поочередно подходили к столу, где барский лакей подносил каждому стакан водки и ломоть хлеба с отварным мясом.

Ванька в свою очередь принял из рук лакея стакан, произнёс по примеру других «Царствие Небесное барину», медленно выцедил водку и, жуя, отошёл. Затем он постоял, перебрался с мужиками несколькими ничего не значащими словами и зашагал прочь, как человек, у которого есть дело.

Придя домой, он отыскал лопату, топор, несколько двухдюймовых гвоздей, керосиновый фонарь, не гаснувший на ветру, и всё это загрузил в мешок. Из мешка торчала лишь ручка лопаты, а всё остальное скрывалось от постороннего взгляда. Он аккуратно завязал мешок, осмотрел его и остался доволен. Затем улёгся на лавке и уснул.

Проснулся Ванька глубокой ночью. Взял мешок и вышел во двор. Постоял, посмотрел с сомнением на луну, вышел на пустынную улицу, и наконец решительно зашагал по направлению к церкви. Вскоре храм остался справа, позади, а Ванька всё шагал, и теперь не оставалось ни малейшего сомнения в конечной цели его выхода: он шел на кладбище.

Взойдя на кладбище, он быстро отыскал барскую могилу, остановился, очень внимательно осмотрелся и, не обнаружив ничего подозрительного, уселся на камень и закурил. Великолепная полная сверкающая серебряным холодным блеском луна заливала призрачным голубоватым светом кресты, памятники, надгробия, изгороди. Подо-

шёл к месту и аккуратно сложил на траве содержимое мешка. Венки значительной грудой покрывали могильную насыпь. Ванька снял их и уложил неподалёку. Затем взял лопату и с крестьянской сноровкой принялся раскапывать могилу.

Рыхлая, сухая, ещё не слежавшаяся земля копалась легко, и вскоре Ванькина лопата стукнула о дерево. Он прокопал по бокам и соскрёб землю с крышки. Вылез, взял топор, снова спрыгнул вниз, вогнал лезвие топора в щель, приподнял крышку и с некоторым усилием снял её.

Лунный свет, хотя и проникал в яму, но освещал лишь одну стену, оставляя всё остальное в тени и полной невидимости. По этой причине Ванька достал фонарь, зажгёт его, наладил пламя и осветил гроб. Движение фонаря и колеблющееся пламя придавали лику покойника разнообразные выражения и изменения, от вида которых Ваньку стала бить крупная дрожь, а проще сказать, колотун. До того ему стало страшно, что он едва не кинулся бежать. Однако, в свете фонаря он увидел и те предметы, ради которых взялся за дело.

Страх его схватился в борьбе с алчностью, и последняя одержала решительный верх.

Ванька снял с глаз монеты, с рук золотое кольцо и перстень; остальные два перстня не снимались, и он отступился. «Не рубить же пальцы, Грех». Заметил золотые запонки в манжетах сорочки и сорвал их. Брюки стянул легко, а вот с пиджаком повозился. Покойник не то, что сопротивлялся, но, окостенев, он так прихватил рукава, что Ванька стащил пиджак лишь с большим трудом, поочередно разгибая скрещенные на груди руки.

Драгоценности Ванька положил в карман, а одежду скомкал и бросил наверх.

«Не обижайся, барин, тебе уж ничего не нужно, а мне ух как пригодится. Царствие тебе Небесное». Этими словами Ванька так успокоил себя, что всё им содеянное показалось совершенно справедливым и не подлежащим укору.

«Я всё сделаю, как надо, можешь не беспокоиться, — продолжал бормотать он, приколачивая крышку. — Видишь, своих гвоздей не жалею, станет крепче прежнего».

Ощупав края и убедившись, что крышка сидит надёжно и без изъянов, Ванька выбрался из ямы и принялся засыпать. Затем он уравнил насыпь, уложил венки и придал могиле совершенно прежний вид.

«Кажись, всё», — решил Ванька; он сложил костюм и инструмент в мешок, ещё раз осмотрел место и зашагал прочь.

Страшное дело, святотатство совершил человек Ванька Корытов. Осквернил могилу, ограбил покойника и нарушил его покой. И не обрушился на Ваньку камень, и не упало на него тяжёлое дерево, и не ослеп он. Не облилось кровью его сердце от ужаса содеянного, и совесть не потревожила его. Возник было страх, да и тот быстро прошёл, побеждённый алчностью.

Потому что свободен человек для добра и свободен для зла, и каждый выбирает свой путь.

Возмездие наступает, но не сразу.

Ванька входит во власть

Как ни таил Ванька своё злодейство, но полностью скрыть его не сумел. Кое-кто видел его в ту ночь идущим на кладбище, а спустя некоторое время Александр, молодой барин, среди драгоценностей, выставленных на продаже в лавке тульского ювелира, опознал отцовский перстень. Перстень он выкупил, а затем, едва сдерживаясь от волнения, строго спросил ювелира, когда и от кого он приобрёл вещь.

Увидев решительность и очевидное душевное волнение молодого барина, ювелир не посмел скрывать и честно рассказал всё, что он припомнил о человеке, продавшем ему перстень.

Приметы сошлись на Ваньке Корытове.

В ужасе содрогнулся Александр от страшного подозрения, которое теперь возросло до очевидности и уверенности. Однако, он не знал, что следует предпринять, дабы исправить содеянное мерзавцем и восстановить святость могилы и покой отца.

Передать дело полиции и засадить Ваньку в тюрьму. Но полиция начнёт расследование с поиском доказательств и улик, а злодей станет отпираться, и тогда, вероятнее всего, вскроют могилу и вновь потревожат прах отца. Нет, это казалось совершенно невыносимым и невозможным. Однако, и оставить, как есть, чтобы злодей разгуливал безнаказанно, решительно недопустимо. Время шло, а Александр находился в состоянии переживаний и колебаний и не решался на определённые действия.

А между тем Ванька исчез из села. Объявился он в Туле, где первое время проедал и пропивал деньги, вырученные от продажи вещей, уворованных из барской могилы, да слонялся по городу, слушая всевозможные разговоры и пересуды. Его заметили революционеры и, признав в нём яркого представителя сельского пролетариата, стали

привлекать на свои тайные сходки, где с фанатичным огнём в глазах обещали сытую жизнь бедноте, если та поднимется на борьбу с богатеями за правое дело.

Ваньке стали доверять различные поручения, имея на него виды, как на своего человека в сельском мире.

Вскоре грянули события, перевернувшие всё.

В первые два десятилетия двадцатого века Россия испытывала сильнейшие родовые схватки. Неурядицы в жизни людей, скверное управление населением, голод, волнения, а тут ещё царь ввязался в войну с Германией. Зачем? Просто некое помрачение, безумие. Миллионы русских людей погибли на этой бойне.

Первая мировая бойня довела Россию до переворота. Стиснутая невыносимой нуждой, страна металась в поисках лучшей жизни, а образованные, радикально мыслящие люди лихорадочно искали выход, изобретали пути к счастью.

Одни предложили путь мира, терпения и труда, дающий всякому человеку не скорую, но надёжную основу хорошей, добротной жизни.

Другие — путь бунта, мести, зависти, ограбления богатых и иллюзорного построения руками бедноты нового, неизвестного земной цивилизации государства, где всем оставшимся в живых обещалась справедливая жизнь.

Россия отвергла первый путь и, одурманенная сатанинскими посулами, как в омут, на авось, рухнула в губительный для себя путь к утопической мечте через грабежи и кровь. Началась гражданская бойня, в которой бедные грабили и убивали богатых, а богатые отстаивали свою жизнь и имущество.

Когда гражданская бойня поутихла и оставшиеся в живых россияне огляделись, то обнаружили себя в совершенно ином мире, не только не похожем на прежний, привычный им мир, где они родились, но решительно ином. Это всё равно, как если бы Россию, её народ, земли, реки с озёрами, всё-всё переместили на Марс или ещё какую чужую планету.

Россия рожала, и родила дитя, которое тут же стало пожирать мать свою. Пожирало долго, страшные тридцать лет, до тех пор, пока не проглотило всё лучшее, а само не надорвалось и ещё через тридцать лет издохло, освобождая место тому, что осталось, сохранилось от России.

Новая власть возникла из глубины народного бурления и ухватила Россию мёртвой хваткой.

«Теперь всё станет для народа и во имя народа, — объявила она и пояснила, — а народ — это те, кто беден и нищ».

Многие не поняли зловещего смысла пояснения, а он заключался в том, что отныне все россияне, кроме бедных и нищих, суть враги народа, явные или затаившиеся, и подлежат уничтожению.

Ванька прикатил в село на бричке в сопровождении трёх вооружённых револьверами товарищей, одетых в чёрные кожаные куртки.

Собрали селян.

Главный из прибывших, тощий с острым прыгающим кадыком революционер, поздравил жителей села с установлением новой справедливой народной власти и объявил председателем сельского совета самого достойного их земляка товарища Корицова Ивана, имущественного бедняка, обиженного донельзя бывшей царской властью. Он оглядел толпу, грозно усмехнулся и, с намёком положив руку на деревянную кобуру маузера, добавил: «И местными богатеями».

Ванька вздрогнул от радости и хриплым от напряжения голосом поклялся служить трудовому народу до последней капли крови.

Про себя-то Ванька понимал, что никакой он не добродетель, а обыкновенный вор и злодей. Любому дураку, даже Ваньке, известно, что люди всегда ценили богатство и достаток, но не бедность; бедняк по справедливости должен добиваться достатка трудом и смекалкой, а не воровством. И уж точно, бедность никогда не считалась добродетелью, а скорее несчастьем. Но новой власти виднее, и он, Ванька, своего не упустит.

Вечером в Ванькиной избе товарищи в кожаных куртках крепко выпили, после чего стали учить Ваньку искусству управления селом.

— Дело это нехитрое, Иван, — тощий с острым кадыком революционер выпустил густой клуб дыма и снова затянулся так, что самокрутка с самосадам едва не вспыхнула, — сам увидишь. Вот тебе печать с гербом, печатная тряпка, бутылка чернил, вот красный флаг. Повесишь его над крыльцом.

Вот тебе револьвер системы «наган» и шестнадцать патронов к нему, а это винтовка для охранника. Не дрейфь. Директивы будем присылать, что не так, подскажем. Ясно?

Пришлём тебе человека. Тебе без него не обойтись, — при этом он ухмыльнулся, — правильный товарищ, ты ему доверяй, как самому себе, но... придерживай, а то беда... — он снова усмехнулся, — очень уж старательный товарищ.

Под конец все сильно захмелели и улеглись спать, кто на чём; утром, хватив для опохмелки по стакану, укатали на бричке.

Ванька остался править селом. И стал он властью, ограниченной сверху и неограниченной в пределах села.

Десять дней спустя появился в селе и сразу направился к Ваньке Корытову сильно необыкновенный человек. Средний ростом и заурядного сложения, он обладал длинными, как у обезьяны-гориллы, волосатыми руками, и из-за этих рук выглядел по-дремучему крепким.

Ещё он обладал той особенностью, что не мог длительное время смотреть на живого человека. Правый глаз начинал косить и загорался всё усиливающимся рубиновым светом. Неизвестно, как долго возрастало это его свечение, ибо он неизменно отворачивался, и эффект угасал. Другой его глаз выглядел совершенно обыкновенно, как по цвету, так и по устремлению.

С его солдатского ремня свешивались с правой стороны револьвер жандармский Смит-Вессон в кожаной лакированной кобуре, а с левой — нечто в парусиновом чехле, продолговатое внизу, но массивное в верхней части. И вот что бросалось в глаза. Револьвер висел на нём как-то неуклюже, уместно сказать, «как на корове седло», а вот нечто в парусиновом чехле крепилось ловко и сидело, как влитое.

Рядом с ним бежал длиннорылый тощий кабанчик, а скорее вепрь, странной, обычно не встречающейся масти. Спину его и бока, поросшие длинной щетиной, покрывали полосы чёрной и жёлтой окраски, следующие поочерёдно. Так что выглядел вепрь довольно противно.

Вепрь то рысил сбоку и чуть позади, как пришитый, то забегал вперёд, но тут же оборачивался на хозяина и взглядывал на него отчётливо угодливо. Иногда, замешкавшись, он попадал под ноги и тогда ему говорили:

— Ефросий, сгинь, не путайся под ногами.

Вепрь мгновенно кидался в сторону на своё место и трусил чуть позади, как и прежде.

Человек вошёл в дом и приблизился к столу, за которым сидел Ванька.

— Ты будешь Ванька Корытов, председатель? — спросил он глухо, как из под земли.

Ванька кивнул.

— Прислан к тебе в помощники. Из волости я. Вот мой документ, — он протянул жёлтую бумагу, сложенную вчетверо.

— Так-так, — Ванька развернул лист и стал читать, — податель сего Скуратов Григорий Харитонович направляется в село Скуратово... надо же, — хмыкнул Ванька, — Скуратов в Скуратово, чудно, — он покрутил головой и продолжал, — в распоряжение председателя Кoryтова И. С., подпись, печать.

Ванька приосанился, построжал.

— Ну что же, Григорий, садись, поешь, — он пошарил на полке кусок сала, полкаравая хлеба и бутылку самогона. Сложил всё на газету и налил в стаканы.

Опорожнили и стали закусывать.

— Из каких краёв будешь? — спросил Ванька, наливая вновь.

— Я из этих краёв, из Тарутинских.

— А где родился, может, я кого знаю?

Григорий глянул на Ваньку и закосил правым глазом, который стал светиться весёлым угольком; вопрос показался ему потешным. Он отвернулся и сказал:

— Никак ты не можешь никого знать.

— Как это?

— Да так. Я и сам не знаю, чую только, что в этих краях.

— Что же ты, и отца-матерь не помнишь?

— Нет.

Ванька уставился на него в недоумении.

— Возникаю я, Ваня, когда время приходит. Когда во мне надобность.

Ванька оторопел и смотрел на Григория, решительно не понимая.

— Что уставился? Реку тебе, возникаю. В своё время. Когда во мне нужда. Когда моё время уходит, и меня нет.

— Куда же деваешься?

— Не знаю.

— Какое же это твоё время?

— Если смута и нужда в секущем топоре.

— Так это у тебя... — Ванька ткнул пальцем в нечто, зачехлённое в парусину.

— Он и есть, — скривился Григорий и выцедил полстакана сивухи, — топор секущий.

«Шутит», — решил Ванька и налил ещё.

Таинственная комната

У каждого народа своя дыра в преисподнюю.

Большой барский дом, заложенный одним из дворян рода Бельских много веков тому назад, то есть, так давно, что точную дату никто не помнил, неоднократно достраивали и перестраивали.

К настоящему времени от первоначального строения прапредка не осталось, можно сказать, ничего, кроме одной просторной комнаты в левой стороне, обращённой на запад. И на то, что эта комната сохранилась, существовала особая причина. Из поколения в поколение переходило семейное предание о непонятных и даже опасных явлениях, происходящих в комнате, а события, достоверность которых не вызывала сомнений, подтверждали её скверную репутацию.

Один из Бельских застрелился без очевидных причин, двое сошли с ума и ещё один, достигший на службе высокого положения, закончил жизнь на каторге, избалованный в убийстве и садизме.

Эти трагические события на фоне бездн протекших лет, может быть, и не выглядят многочисленными, но все они так или иначе представляются тесно связанными с таинственной комнатой, которая в разное время служила то кабинетом, то спальней, то библиотекой несчастным, расстававшимся с жизнью столь ужасно.

И в самом деле, нехорошо становилось человеку, вошедшему в комнату: у него портилось настроение, охватывала тоска, появлялась, казалось бы, беспричинная злость. Однако, достаточно выйти, как тяжесть и скверное настроение исчезали. Никто при этом не мог толково объяснить своё состояние.

В какие-то времена люди, уставшие от ожидания ужасов, комнату закрыли, устроили отдельный вход, и всё же старались не заходить, хотя мебель оставили; особых запретов не ввели и на замок не запирали. Словом, стала комната нежилой.

Александр ещё в юности заинтересовался этой странной комнатой, и не раз из любопытства испытывал на себе её скверное влияние. Он закончил физический факультет университета, но нигде не служил, ибо принадлежал к дворянскому сословию, и этим всё сказано. Ещё совсем недавно ведущее, составляющее культурную основу громадного общества сословие теперь объявлено вне закона и, согласно ленинской теории, подлежало уничтожению.

Вернувшись в родной дом, он занялся теоретической физикой. Мрачные и таинственные свойства комнаты, когда-то, ещё в юности,

возбуждавшие его любопытство, теперь заинтересовали его как ученого. Он стал исследовать помещение, но ни один из физических приборов а у него была весьма неплохая лаборатория, не обнаружил какого-либо энергетического поля. Вместе с тем, он снова, в который раз, убедился, что комната определённо воздействует именно на психику человека. Отсюда выходила необходимость поиска чего-то нового, не известного науке.

Хотя Александр был, несомненно, хорошим физиком, но только этим не объяснишь того, что он смог проникнуть в тайну, в которую до него не проник никто. Успеху, вероятно, способствовало удачное сочетание таланта учёного и необыкновенной чувствительности его натуры, способной глубоко воспринимать внутренние ощущения.

Ещё до начала исследования он заметил, что в селе происходили странные события. Люди стали заметно раздражительнее и срывались по пустякам, как говорится, на ровном месте; многие озлоблялись вроде без видимых причин, и по селу скрежетали слухи об ужасных делах, происходящих в сельских домах.

Драки вспыхивали повсеместно; люди лгали в глаза, не стесняясь, а воровство не встречало всеобщего осуждения. Отец прелюбодействовал с дочерью, а муж с сестрой своей жены. Уважительность исчезала.

Александр стал изучать не только комнату, но и иные места в селе.

Трудность заключалась в том, что находиться в комнате более двух, от силы трёх, часов человеку невозможно. Тогда он разработал оптимальный график работы, и это позволило ему использовать время пребывания в ней с большей пользой.

В течение нескольких дней он сидел в комнате, проверяя и перепроверя свои ощущения. В какой-то момент он услышал, а вернее, ощутил звук чрезвычайно низкого тона, скорее гул, который сменился вибрацией. Затем снова гул и опять вибрация. Эта смена явлений происходила накатывающейся волной и вызывала неприятные ощущения.

И гул, и вибрация, вроде, без сомнения относились к хорошо известным физическим понятиям, однако, приборы снова и снова не обнаруживали их присутствия: ровно ничего. А между тем, Александр явственно ощущал их на себе, внутри себя. После ряда отрицательных опытов с физическими приборами он окончательно пришёл к убеждению, что явление им не по зубам.

Тогда Александр принялся делать аппарат, сформулировав для себя три определяющих вопроса.

В чём суть явления?

Каков источник, причина явления?

Какое влияние оказывает явление на человека?

Ответ на последний вопрос выглядит более или менее понятным. Повышенная раздражительность, беспричинная злоба, нравственное отупение...

И полная неопределённость по первым двум.

Ввиду отсутствия физических фактов, он стал полагаться исключительно на свою интуицию и собирал аппарат чисто эмпирически методом. И он поступил верно. Он понял, что предмет его исследования имеет совершенно не материальную субстанцию, на которую всякие там ангидриды, компасы, лакмусы и прочее не реагируют. Ещё он понял, что естественным приёмником неизвестной силы является человек, его психика. А раз так, то нечего мучиться в попытках понять непонятное, а лучше каким-то способом усилить эту способность человека, его натуральное свойство.

В конце концов, совсем не вдруг, а через множество мыслей и разочарований, он построил свой аппарат. Я не стану лезть в технику; назовём аппарат, изобретённый Александром, чёрным ящиком, на выходе которого получается ответ. Всё.

Заметим только вскользь для особо любознательных, что аппарат он собирал из вибраторов различных размеров, чрезвычайно причудливой формы, из очень чистой электролитической меди. Единственная и, кстати сказать, косвенная связь между явлением и аппаратом, которую ему удалось интуитивно установить, заключалась в возможности усиливать или ослаблять ощущения. Другими словами, аппарат сам по себе ничего не улавливал, но он изменял, и что особенно важно, повышал чувствительность человека к приёму таинственной энергии.

Аппарат внешне выглядел в виде каски-шлема, подсоединённой к диковинного вида конструкции, состоящей из вибраторов. Подбирая вибраторы, многократно меняя их форму, размеры и материал, их взаимное расположение, он одновременно прислушивался к своим ощущениям, и однажды...

Однажды он внезапно почувствовал сильное беспокойство, быстро переходящее в страх. Александр огляделся, но ничего такого причинного не обнаружил. Он снял несколько вибраторов, и ощущение исчезло.

Следующие дни он осмысливал полученные результаты и продумывал необходимые изменения в аппарате; паял, подтачивал, нагре-

вал и, наконец, решил, что можно испытать. Он внёс аппарат в комнату, расположил его в нужном, как ему показалось, направлении и... на него обрушилась мощная волна ощущений. Гнѐтом навалилась тоска. Ему стало до того мерзко, всё настолько опротивело, что он схватил тяжелый молоток и с диким криком:

— А кому это нужно?! — хотел ударить по аппарату, но удержался, сорвал шлем с головы и выскочил из комнаты. Чувство тоски и злости исчезло.

Он вернулся, подключился к аппарату, и ощутил тоску. Он вышел из комнаты, и скверное чувство исчезло. Сомнений нет, аппарат работал. Последующие дни он потратил на окончательную доводку аппарата. И снова подключился.

То, что он ощутил на этот раз, невозможно изобразить человеческими словами. В его сердце хлынул поток такой рафинированной злости, что волосы его встали дыбом, и безумно хотелось рвать на части всё живое, убивать, разрушать. Он схватил молоток и едва не обрушил его на аппарат. Огромным усилием воли он удержал себя от этого безумия... и опомнился.

Весь день размышлял. И так, аппарат создан, но как с ним работать? Ещё один такой шок он решительно не выдержит, сойдѐт с ума. Следует понизить чувствительность аппарата. Александр отрегулировал его так, чтобы выдерживать и не поддаваться разрушительному воздействию потока, но в то же время ощущать его и при этом контролировать себя.

Аппарат получился не более чемодана среднего размера, но довольно тяжѐлый, где-то килограммов пятнадцать. Далее, Александр разработал систему замеров и обозначил единицу плотности потока неизвестной энергии; он назвал её «злот». Шкалой замеров стал он сам. Другими словами, он пропускал поток через своё сердце и по своему ощущению определял число «злот». Это было тяжело. Поток рвал, разрушал его психику. К тому же, Александру предстояло испытывать это неоднократно.

Зная, что сельские жители любопытны изначально, он положил работать так, чтобы не вызывать у людей подозрений в чем-либо плохом. Аппарат он уложил в рюкзак, расположив его нужным образом, и неторопливо пошѐл по селу в задуманном направлении. Со стороны он с рюкзаком на спине выглядел обыкновенно для сельского человека: люди знали Александра как любителя охоты и путешествий, а то, что он временами останавливался, так в этом ничего предосудительного они не видели.

Необходимость указанной конспирации сильно замедляла работу; больше двух направлений в день осуществить не получалось, но, пожалуй, и этого довольно, чтобы дело продвигалось.

«Ну и ладно, — размышлял Александр, — пожалуй, больше я и не выдержу».

Так или иначе, но работа пошла, и через непродолжительное время он накопил немало замеров, во всяком случае, достаточно, чтобы нарисовать картину расположения потока.

Изображение, выполненное им в различных цветах, выглядело таким образом, что поток как бы вырывался из земли через щель длиной не менее ста двадцати метров. Щель пересекала барский дом в месте расположения заброшенной комнаты и выходила по обе стороны в село, имея в средней своей части ширину около десяти метров. Поток густел в одних местах и истончался, а то и исчезал в других, и таких светлых пятен было множество, но одним густым рукавом он отчётливо уходил в сторону железнодорожной станции.

Александр сопоставил свой рисунок с местностью, так сказать, наложил его на местность, и с изумлением обнаружил поразительную особенность. В домах, изображенных на его рисунке светлым пятном, проживали трудолюбивые совестливые люди, и напротив, в домах, закрытых чёрным цветом, — люди, известные в селе как лживые и вороватые.

Теперь Александр почувствовал уверенность в верности пути и понял, что он нащупал ключ к разгадке тайны комнаты.

Он ещё не знал способа закрыть эту мерзкую щель, хотя, несомненно, такая мысль пришла к нему сразу, но то обстоятельство, что поток ослабевает, а то и исчезает там, где в душе человека совесть и добро, не вызывало сомнения.

Яков

Александр нередко посещал Якова, и, несмотря на значительную разницу в возрасте, оба они находили удовольствие в этом общении.

Александра тянуло к таинственному, одарённому необычайными оккультными способностями Якову, а тот в свою очередь испытывал глубокое уважение к молодому барину за его высокую образованность, врождённый, чрезвычайно редкий и ценный талант проникновения в суть вещей. И в немалой степени — за отсутствие с его стороны не то что зазнайства, но и хотя бы малейшего выражения своего социально-

го превосходства. Наделённые к тому же неистощимой любознательностью, они всегда находили тему для интересного разговора.

Яков не скрыл радости от прихода Александра.

За столом, кроме хозяев, сидела Евдокия Травина, приходящаяся Якову двоюродной племянницей по отцовской ветви. Пили чай.

Евдокия допила свой чай и на приглашение налить ещё отказалась: — Спасибо, хватит, напилась.

Сидела она, как видно, давно, и теперь хотела встать, чтобы идти домой, но не тут-то было. Встать она не смогла. Больше того, ей показалось, что ноги её исчезли, как таковые. Она испугалась, глянула вниз, убедилась, что ноги на месте, но встать, однако, не смогла.

Она побледнела и ойкнула.

— Ты чего, Дунюшка? — встревожилась тётка.

— Ноги отнялись, не могу встать, — испуганно ответила та.

Тётка нашла глазами Якова: тот индифферентно глядел в окно. Но её не обмануть.

— Яков, — сказала она возмущённо, — как тебе не стыдно? Что ты творишь! Зачем Дунюшку напугал?

Яков вскочил и засуетился:

— Ах-ах, Дунюшка, что это с тобой? Никак ножки. Ах-ах, и всё на меня. Всё Яков виноват, а мне ни к чему.

Дуня, хотя и испугалась, но различила, что Яков балагурит. Тётка же, та просто рассвирепела.

— Ну хватит, — сердито сказала она, — Кого хочешь провести? Я-то тебя знаю. Твои эти штучки.

— Ладно, ладно, мать, — добродушно усмехнулся тот. Он любил Дуню.

— Вставай, Дунюшка, вставай. Это тебе показалось, милая.

И Дуня встала, как ни в чем не бывало.

— Ну вот, голубушка, видишь, всё хорошо. Ничего и не было.

Александр с изумлением наблюдал эту трагикомическую сцену. Он немало слышал о причудах Якова, но так, чтобы своими глазами... потрясающе.

После ухода Дуни Яков увёл гостя к себе в маленькую комнату.

— Пойдём, Александр, а то здесь нам не дадут поговорить.

— Идите, идите, — притворно рассердилась жена, — а то мы мешаем.

В комнатке стоял небольшой стол, на стене полка с книгами, в правом переднем углу икона с горящей лампадой, на полке дремал старый одноглазый ворон Фрол.

При виде Александра он расправил крылья и приветливо каркнул.

— Любит тебя Фрол, — заметил Яков, посмотрев на ворона, — по всему видно. Прямо оживает при твоём появлении.

— Фрол у нас воин, — продолжал он, — вон в битвах глаз потерял. Фрол в нашей семье, сколько я себя помню. И очень он справедливый: вот если случается какой раздор, я смотрю на Фрола. Он враз схватывает, кто прав, кто виноват.

Пока Яков говорил, ворон внимательно смотрел на него, а затем взлетел, сел ему на плечо, потёрся головой о его щеку и каркнул.

— Видишь, согласен, — сказал Яков, — всё понимает.

— Как у тебя всё это получается, вот то, что с Дуней? — спросил Александр.

Яков задумался. По-серьёзному на эту щекотливую тему он разговаривал только с Александром.

— Не могу я, Александр, тебе объяснить. Получается, но не знаю, каким образом. Не знаю. Как раз секретов у меня и нет; видно, я не совсем такой, как иные. Я вижу себя. Закрою глаза и вижу всё внутри себя, а как это получается, не знаю. Закрою глаза и вижу. Для меня это обыкновенно, как для человека, скажем, снять книгу с полки. Ты берёшь книгу и всё. Никаких секретов, обычное дело. Так и для меня. Вот ты слышишь, в углу скребёт мышь?

Александр глянул в угол и увидел мышь, которая степенно двигалась к середине комнаты, именно двигалась, а не бежала. Посредине комнаты мышь остановилась и окаменела; бусинки её глаз обратились на Якова в совершенной недвижимости. Некоторое время мышь находилась в этом положении, но Яков отвернулся, и она стремительно исчезла в углу.

Яков беззвучно смеялся.

— Однако, — обратился он к Александру, — ты пришёл какой-то озабоченный. Что тебя беспокоит?

— Ты прав, — признался Александр, — есть кое-что, — и он рассказал о своих исследованиях.

Яков слушал его молча, не прерывая ни единым словом, и только всё больше мрачнел.

— Что ты думаешь обо всём этом? — спросил Александр, закончив свой рассказ.

Яков погрузился в глубокое раздумье, переваривая услышанное. После долгого молчания он, наконец, заговорил.

— Скорее всего, Александр, я не смогу тебе помочь. То, что умею я, и тобою рассказанное — решительно разное. Господь дал мне талант

общения с существами, но я человек, и Господь дал мне ещё и разум. Я подавляю животных, влияю на их поведение, но это и всё. Я не направляю свой дар во зло, ибо оно мне противно. Я не имею ничего общего с тем, что обнаружил ты. Впрочем... — он некоторое время колебался. — Выйдем, подышим воздухом и подумаем.

Они не спеша прошли в конец села, миновали Выглядовку, прошли свекольное поле, сплошь заросшее сорняками, и углубились в лесную посадку. В лесу восхитительно и густо пахло сосной, наполняя человека восторгом жизни и энергией.

— Взгляни, Александр, — произнёс Яков, подходя к зрелой берёзе, мощный ствол которой уходил далеко вверх и терялся в сплетении деревьев. Нежно-белая, с тёмными извилистыми бороздами, кора берёзы выглядела великолепно и выразительно, как лицо человека.

— Посмотри на неё, ведь другой такой берёзы не существует, хоть весь свет обыщи. Обрати внимание, какие морщины избороздили её светлое лицо.

Яков подошёл к дереву вплотную, ласково и уважительно провёл по нему ладонью, а затем прижался щекой.

— Лет шестьдесят ей, — сказал он, — а лет тридцать назад она была на краю гибели. Смотри, вот особенно глубокая борозда, борозда несчастья. Хотели её срубить, но что-то этому помешало. А вот счастливые годы, морщин почти нет, и кора, осветлённая радостью жизни, сохранилась в этом её ощущении. Всё, что произошло с берёзой, всё осталось в ней, надо только разглядеть.

Яков снова погладил берёзу, прощаясь, и они двинулись дальше. За разговором они сильно углубились в лес, тропинки оборвались. Теперь они шли по целине, лес стал заметно другим, более отстранённым от человека, обособленным. Яков, однако, чувствовал себя здесь свободно, как дома; он шёл, глядя по сторонам, прислушиваясь и понимая каждое растение, каждую пичугу.

Внезапно он остановился и приложил палец к губам. Они замолчали. Яков показал пальцем влево, в сторону лесной проплешины, пронизанной яркими лучами заходящего солнца. Александр взглянул в указанном направлении и... увидел волка.

Волк стоял к ним боком, но повернул, чисто по волчьему, голову вместе с корпусом в их сторону и свирепо рычал. Глаза его угрожающе сверкали.

Яков улыбнулся.

— Опасается за логово. Как же, у него там жена, детушки.

Он спокойно, где-то даже безмятежно и приветливо смотрел на обеспокоенного хищника.

Волк ещё некоторое время издавал угрожающие звуки, затем свирепость его сошла, тревога исчезла, он вдруг широко, с аппетитом зевнул и, не торопясь, скрылся за деревьями.

— Ну знаешь, Яков, такого мне в жизни видеть не приходилось.

— Что тут удивительного. Зверь опасался за свою семью, а я выразил, что от нас опасности ему нет. Он и успокоился.

А теперь, Александр, подумаем по твоему делу. Давай сходим, посмотрим.

За предел

Они стояли в бывшей гостиной перед дверью в таинственную комнату, куда и вошли, предварительно произведя необходимые приготовления. Многолетняя пыль толстым слоем покрывала все предметы, за исключением стола, стоящего посреди комнаты, и нескольких стульев, то есть, мест, которых касался Александр ранее. Пахло тленом и заплесневелой мебельной обивкой.

Александр поставил аппарат на стол и предложил Якову сесть.

Яков с любопытством осмотрел аппарат и потрогал его. Причудливой формы отполированные вибраторы мерцали медным марсианским отсветом и на прикосновение ответили низким гудением.

Александр подключил его на себя и поморщился.

— Действует, — сказал он, — на меня уж дурнота накатывает.

— Я эту дурноту и без аппарата чувю, — мрачно заметил Яков. Ему решительно не нравилось место. — Покажи, как им пользоваться, — попросил он.

Александр обычно устанавливал регулятор мощности ограниченно на несколько делений, прежде чем начинал внятно ощущать поток, а Яков едва дотронулся, как изменился в лице и снял шлем.

— Попробую без него, — сказал он, — а то слишком сильно.

Яков сел на стул, несколько раз покачался на нём, меняя позу и выбирая наиболее устойчивое положение, затем закрыл глаза и сфокусировал поток на своё сердце. Тотчас сильно побледнел. Внимательно наблюдавший за ним Александр хотел подойти, но Яков движением ладони запретил. Лицо его, бледное, как мел, затвердело в характерном волеустремлении. Яков решительно навязывал свою волю тому «неизвестному», в суть которого желал проникнуть.

Насколько тяжело это было для Якова, свидетельствовало его лицо, искажённое в ужасном усилии, почти страдании. Но вот оно приняло твёрдое непреклонное выражение. Яков проникал всё дальше и глубже в суть потока.

Александр смотрел на Якова со всё возрастающей тревогой. Теперь ему казалось, что на стуле вместо Якова сидит его статуя, а сам Яков находится очень далеко; где угодно, но не здесь. Александр на себе познал, насколько тяжело то, куда устремился Яков, и не мог более находиться в стороне. Он надел шлем, подключился к аппарату, чтобы в ощущениях пройти за Яковом и посылить подстраховку ему.

Вначале он почувствовал обычное отвратительное воздействие потока, и так продолжалось некоторое время. Он при этом не спускал глаз с Якова, который пока оставался в той же неподвижности, не внушающей опасения.

Внезапно Александра скрутило психической конвульсией; ему представилось, что через его сердце и сознание ощутимо грубо протискивается некая концентрация потока, и не просто, как порция энергии, а имеющая вполне ощутимую форму. Здравый смысл внушал Александру, что этого не может быть. Что это «нечто» проходит не через него, а в потоке, рядом с ним, а он, Александр лишь ощущает это прохождение и не более того. Однако, это звучал в нём голос рассудка, а чувства упрямо свидетельствовали: нет, не рядом, а через него, сквозь него.

Наконец, «нечто» протиснулось, и Александру стало легче. Затем снова прежнее ощущение, и опять облегчение.

Эти «нечто» одно за другим проходили через Александра, и не было им конца. И выходили «они» из потока.

Сознание Александра померкло; он опрокинулся в глубоком обмороке.

При падении он отключился от аппарата и, скорее всего, по этой счастливой случайности остался жив. Он очнулся.

Яков сидел в той же основательной позе, но только ещё больше осел на стуле; лицевые мускулы его напряглись в крайнем усилии, почти судороге. Но вот он коротко простонал и стал сползать со стула. Александр подхватил его под руки со спины и вытащил из комнаты. В своём кабинете он уложил его на кушетку и осмотрел.

Яков лежал с закрытыми глазами в полной неподвижности, но сердце билось. Вскоре он открыл глаза и слабо, совершенно по-детски улыбнулся.

— Саша, — он никогда прежде не обращался таким образом, — Саша, они разрушили мой рассудок. Я, кажется, перешёл край. Не следовало так глубоко... — он помолчал.

— Этого выдержать невозможно, Саша. Мне удалось пробиться, я теперь ощутил и знаю. Нельзя выразить словами то, что я познал. Скажу лишь для тебя самое главное. Это приход и выход. Отведи меня домой. У меня нет сил. И ещё, ничего не рассказывай Марии.

В этот же день к вечеру у Якова остановилось сердце; он скончался.

Угроза

Старую барыню, мать Александра, в селе уважали за сердечность и многочисленные добрые дела. Она открыла школу, да ещё и учительствовала в ней, содержала фельдшера, а в праздники устраивала спектакли, дарила детям игрушки и сладости, и уж точно, никогда не обижала людей, но только помогала.

Александра своего она воспитала в трудолюбии и уважении к людям.

Жили они по-прежнему в особняке, но в беспокойстве и неопределённости. Повторимся, согласно с теорией о диктатуре пролетариата, этим священным писанием новой власти, и старая барыня, и молодой барин в силу принадлежности к дворянству подлежали уничтожению.

При случайных встречах Ванька Корытов грозно на них поглядывал, а в разговорах не скрывал своих намерений выкинуть этих эксплуататоров-кровососов из барского дома.

Вечером обитатели особняка сидели за чаем. Старая барыня находилась в глубокой задумчивости, так что чай её совершенно остыл.

— Саша, — наконец сказала она, — здесь нам с тобой оставаться невозможно. Давай уедем.

— Пожалуй, что так, — ответил Александр, — только следует всё хорошо обдумать.

Решили, что первой уедет мать, а Александр останется на несколько дней, завершит дела и затем присоединится к ней.

Через неделю после этого разговора барыня раздала людям множество полезных вещей, весь вечер проплакала, а затем села в поезд и убыла навсегда.

Александр, проводив мать, вернулся домой и прилёг на диван в тяжёлом размышлении. Мысль о Ванькином злодействе не давала ему

покою, а то, что злодей назначен править селом, казалась ему чудовищным кощунством, наполняла гневом, но и обессиливала. Больше всего он думал, однако, о Якове.

Несколько дней он занимался приведением дел в порядок и подготовкой к отъезду, который твёрдо решил не откладывать. Более всего Александру было жаль библиотеки, но и захватить её с собой не представлялось возможным. Он отбирал любимые книги, когда в дверь сильно постучали и в комнату вошёл Ванька Корытов в сопровождении своего мрачного и молчаливого сотрудника, который своим странным и даже жутковатым видом напоминал Александру кого-то... но вот кого, вспомнить не удавалось; мысль крутилась и подходила вроде совсем близко к догадке, но...

— Какое вам до меня дело? — сухо спросил Александр, не приглашая незваных гостей присесть. Сам он также стоял.

— А вот какое, — Ванька бесцеремонно уселся в кресло и оглядел комнату.

— Власти негде разместиться, а тут вон какие хоромы, — и добавил, — у эксплуататоров.

Он свернул козью ножку, засыпал в неё самосаду, разжёл и принялся дымить. Удивительно, но его странный спутник не только не закурил, но даже стал отмахиваться от дыма.

— Так вы постройте себе такие же, — предложил Александр.

Ванька от неожиданности вытаращил глаза, настолько слова Александра показались ему нелепыми.

— Как это построить?

— Да так, построить и всё. Ведь это хорошо, построить ещё.

— Нет, мы отберём, — пришёл в себя Ванька и повторил уже убеждённо, — мы отберём!

— Да, конечно, — согласился Александр. Ему стало тошно от этого разговора. — Грабить вы умеете.

— Ты это, прекратите, — повысил голос Ванька, — власть не грабит!

— Как же не грабит, когда ты, Ванька Корытов, грабитель и вор? — жёстко сказал Александр.

— Так, — угрожающе процедил Ванька, — срамишь, значит, власть, позоришь!

Александр немного помолчал, а затем тихо, но очень чётко, раздельно, по словам произнёс:

— Ты ведь ограбил могилу моего отца.

Ванька густо побагровел и растерянно молчал.

«Откуда ему известно об этом деле? — лихорадочно соображал Ванька. — Может, он меня на пушку берёт?»

— Видели тебя, Ванька, в ту ночь, — продолжал Александр, — видели. Не сомневайся. Да и перстень отца нашёл я у ювелира в лавке. Ювелир хорошо описал твою мерзкую физиономию. Полагаю, тебе этого хватит?

Ванька сидел сильно растерянный и даже напуганный. Однако, он оправился и взглянул на Гришку. Тот стоял в стороне и не отрывал напряжённого взгляда от Александра. Обычно молчаливый и даже вялый, он совершенно преобразился и пребывал в сильнейшем возбуждении. Стоял он с наклоном вперёд, правый глаз косил и горел сатанинским рубином; при этом Гришка нетерпеливо притоптывал одной ногой, а рукой ощупывал продолговатый предмет, висящий у него на ремне в парусиновом чехле.

Ванька встал.

— Пойдём, товарищ Скуратов, — сказал он, — здесь оскорбляют власть. Но мы ещё разберёмся и кое-кого накажем, — с угрозой произнёс он и шагнул из комнаты. Гришка последовал за ним, но на пороге обернулся и жадно посмотрел на Александра. Правый глаз его пылал, как факел, а в его возбуждении ощущалась радость, почти блаженство, можно сказать, экстаз.

Они пришли к себе; Ванька плотно закрыл дверь.

— Слышал, Григорий, как этот эксплуататор срамил меня? Что будем делать?

Возбуждение Гришки после разговора в барском доме не только не прошло, но даже усилилось.

— Не изволь беспокоиться, товарищ Корытов, — глухо, как из под земли, проговорил он. — Мы своё дело знаем. Всё будет, как надо, — радость выражалась на его лице совершенно явственно. — На то мы и возникаем, значит, чтобы... — он хотел продолжить, но Ванька налил стакан и сунул ему в руку. Они выпили.

Страх у Ваньки не проходил. Если Александр докажет, быть беде. «Эти мужики из Тарути шутить не любят, — тревожно думал он, — ладно, утром что-нибудь придумаем». Он выпил ещё стакан, лёг на лавку и уснул.

Секущий топор

Скуратов видел Ванькин страх и твёрдо знал, что следует предпринять. Убедившись, что Ванька спит, он уселся на табурет, развязал

парусиновый чехол, вытащил топор на длинном топорнице, истинно боевое оружие, и внимательно его осмотрел.

Широкое лезвие топора местами покрывала ржавчина, и это обстоятельство озаботило Гришку. Он сокрушённо покачал головой, как бы коря себя за небрежность к своему любимому предмету, извлёк из кармана оселок и принялся точить топор и счищать ржавчину. Словом, полировать. Вскоре лезвием топора было впору бриться, до того оно стало острым, а весь топор, очищенный и отполированный, сверкал холодным стальным беспощадным блеском. Гришка, однако, вошёл в раж и всё точил и наводил блеск.

Наконец, в который раз попробовав лезвие ногтём и придирчиво осмотрев поверхность, он остался вполне довольным проделанной работой. Налюбовавшись топором, он уложил его в чехол и достал краюху хлеба. Он жевал хлеб, запивал водой из графина через горлышко и поглядывал в окно, дожидаясь нужного ему времени.

Когда за окном, на его взгляд, достаточно потемнело, он встал, позвал вепря и зашагал в направлении барского дома. Придя на место, он постучал в дверь.

— Кто там? — спросил Александр.

— От начальника я, — ответил Гришка, и голос его прозвучал глухо.

Александр отпер дверь.

Гришка вошёл и встал, прислонившись к двери, а вебрь вальяжно развалился в кресле, скрестив задние ноги в позе портного. Более нелепой и мерзкой картины Александр в жизни не видел.

— Приказано осмотреть амбар, — проговорил Гришка; правый глаз его закосил и загорелся угольком в радостном возбуждении.

— Осматривай, — безразлично бросил Александр. Он снял ключи с гвоздя и хотел передать их Гришке, но тот стоял к нему спиной и выглядел совершенно остолбеневшим.

Гришка неотрывно смотрел на стену. На стене в передней комнате висела икона, та самая икона, которую он считал потерянной навсегда. Несомненно, это была его, Гришкина икона; он тотчас узнал её. От такой невероятной удачи Гришку охватила бешеная радость, однако, он опомнился и обернулся к Александру.

— Откуда икона-то?

— Всегда была, от предков дошла.

— От предков, говоришь? — весело сказал Гришка и с любопытством взглянул на Александра. Он некоторое время испытующе всматривался в него, как бы пытаясь вспомнить... но махнул рукой.

— А это что за самовар? — спросил он, обнаружив стоящий на верстаке аппарат.

— Зломер.

— Как-как? — не понял Гришка.

— Зломер, — повторил Александр.

— На что он тебе? — Гришка подошёл к аппарату и тронул его рукой. Внезапно он насторожился.

— Покажи, как с ним.

Александр не стал возражать. Он подключился к аппарату и вдруг почувствовал присутствие потока мощной концентрации. Аппарат был направлен на Гришку, но Александр отвернул его в сторону, и поток уменьшился. Он снова обратил аппарат на Гришку, задержал его в этом положении, и с изумлением наблюдал, что Гришка изменяется на глазах, он явственно меняет свой облик. Александр замер в любопытстве и ужасе и не отрывал своих глаз от этой сверхъестественной картины.

И вот перед ним внешне всё тот же Гришка, те же длинные руки, невзрачная тупая физиономия, но его глаза! Из его огненно-красных глаз прямо-таки вырывается и сокрушает уверенность и превосходство, жажда насилия и агрессия, а вместо дремучей тупости в них пламенеет ум, резкий, как лезвие топора.

Вебрь свалился с кресла и вытянулся по стойке смирно, передние ноги по швам. Рыло его выразило высшую степень обожания, почти-тельности и преданности.

— Всё, — сказал Гришка как бы самому себе. Он всё понял и стал прежним.

Он взял ключи, но тут же вернул их Александру.

— Покажи сам.

«Мне померещилось?» — подумал Александр. Он пожал плечами, достал керосиновый фонарь, разжёл его и пошёл к амбару; отомкнул массивный висячий замок и потянул тяжёлую дубовую, обитую крепкими железными скобами дверь. Он увеличил пламя фонаря, направил свет в глубину амбара и вошёл.

Гришка последовал за ним.

«Какая связь потока с Гришкой? — размышлял Александр. — А ведь наверняка она существует. В чем-то они однородны».

«Сподручнее всего врубить ему в верхний хрящ у шеи, — думал тем временем Гришка, ступая позади и щупая рукой топор, — не пикнет».

«Что хотел Яков выразить словами выход, приход?» — мучительно пытался понять Александр.

«Потомок, туды его... ищет, свищет со своим самоваром, а нутра не чуёт. Близко подошёл, да не вошёл. Что Ванька, что Александр этот, потомок, где им понять? Дело-то проще пареной репы. По вызову я, а им не понять. Одно слово, дети».

Гришка закрыл за собой дверь и осмотрелся. И вот здесь-то на Александра сошло озарение; не разумом, а скорее интуитивно он понял, кого напоминает ему этот странный жутковатый человек, — несомненно, он напоминает лик, изображённый на иконе. Стали понятны и слова Якова, ну конечно, выход и приход и есть нечто в потоке. Однако, это были последние мысли Александра в его земной жизни.

Гришка со страшной силой обрушил на него свой сверкающий секущий топор. С разрубленным у основания шеи позвоночником, Александр со стоном, изливаясь кровью, пал на землю и опрокинулся в небытие.

Гришка вошёл в дом, снял икону и засунул её под рубашку; затем он разбил обухом аппарат и вышел во двор, замыл топор в бочке с дождевой водой и очень бережно вложил его в чехол. Во дворе он отыскал тележку, уложил тело, накрыл его мешками и запер амбар. Ключи повесил на место, выпил кружку воды и, прихватив лопату, повёз тележку в глубину леса.

Достигнув заросшей кустарником низины, он выкопал яму, свалил в неё тело и засыпал землёй.

Наутро Ванька проснулся с тяжёлой головой: опасность, исходящая от Александра, давила. Гришка храпел на своей лавке с широко разверзнутым ртом. Ванька нарезал сала и лука, разлил по стаканам самогон и разбудил Гришку.

— Вставай, Григорий, надо посоветоваться, что нам делать с барином.

Гришка молча выпил самогон, закусил, а затем глухо и невыразительно произнёс:

— Нечего тут советовать, товарищ Корытов, нету теперь барина. Посёк я его.

— Как посёк?

— А так, топором своим секущим. Ликуй, товарищ Корытов, извёл я твоего врага.

— Где же он? — хрипло спросил Ванька.

— Там, в лесу.

Ванька долго молчал, с трудом переваривая сообщение. «Надо это дело захоронить вовсе, — подумал он, — чтобы никто не знал, и концы в воду».

Приняв решение, он обернулся к Гришке.

— Покажешь место, найдёшь?

Гришка кивнул:

— Найдём, конечно.

Наступившей ночью Гришка привёл его к яме. Ванька осмотрел с фонарём холмик свежей земли, потыкал палкой, как бы проверяя, затем подошёл к Гришке со спины, приставил ствол нагана под его левую лопатку и надавил спусковой крючок. Гришка без звука свалился на траву.

Ванька разрыл яму, сволок в неё Гришку и хотел уже завалить землёй, когда в свете фонаря увидел икону, лежащую тут же.

Он поднял её и прошёл в дом, чтобы рассмотреть, а вернувшись, увидел возле ямы Гришкиного вепря, который, как бешеный, бросился на него.

Скорбь

Вепрь дремал в сенах, ожидая хозяина. Он был предан Гришке не из корысти, а естественно, по велению своей природы, и ощущал себя по-настоящему спокойно и уверенно, когда находился рядом с ним. Тот ушёл с Ванькой совсем недавно, но вепрь ждал и беспокоился. Внезапно на него навалилась тоска; своим сверхъестественным чутьём он остро уловил нечто недоброе, грозящее хозяину. Ударом головы он распахнул дверь, выскочил во двор, повёл рылом во все стороны, учуял направление и опрометью пустился по направлению к барскому дому.

Обежав его, он быстро нашёл следы, которые и привели его к яме.

Горе, неподдельное горе охватило вепря. В яме поверх тела молодого барина лежал его дорогой, но, увы, мёртвый Гришка. Обливаясь слезами, вепрь свалился в яму, лёг возле Гришки и стал его оплакивать. Он нежно гладил Гришку своими копытами и лизал ему руки. Нет больше хозяина, дорогого и любимого хозяина, который неизменно заботился о своём вепре и не давал его в обиду.

В своём горе вепрь забыл, что Гришка и поколачивал его, и ругал нехорошими словами, но зато отлично помнил его доброту. Что правда, то правда, Гришка кормил вепря со своего стола и даже, случалось, плескал ему в миску водочки, не забывал.

— Как теперь жить без тебя, Гришечка, — рыдал вепрь, издавая жалобное хрюканье и визг. Да, горе его было неподдельным.

— Кто же это тебя?

В этот момент он увидел Ваньку, который с лопатой в руках подходил к яме. Свирепая злоба, неукротимое желание отомстить охватили вепря и привели его в бешенство. Щетина его встала дыбом, он выскочил из ямы и бросился на Ваньку с намерением растерзать.

Ванька, однако, мужик ухватистый; он своевременно заметил вепря и оглушил его по голове лопатой. Вепрь от удара свалился, тут же вскочил и рванулся вперёд, имея прежнее намерение, но, заметив в руках у Ваньки револьвер, отпрыгнул в сторону и скрылся в кустах.

Ванька с сожалением посмотрел на свой наган, спрятал его в карман и принялся засыпать яму.

«Не уйдёшь, увижу, шлёпну, как муху», — думал он о вепре, завершая свой труд.

Отбежав на порядочное расстояние, достаточное, чтобы не опасться Ваньки с револьвером, вепрь взял направление на Кресты, место безлюдное и, значит, безопасное. Сушняк и сухие опавшие листья потрескивали и шуршали под его крепкими копытами.

Он продолжал скорбеть о Гришке, но жизнь заставляла подумать и о себе. Как жить, где жить? «Хозяин был мудр и всемогущ; при нём я забот не ведал, а теперь вот один я, а жить надо», — рассуждал вепрь, огибая маленькое болотце.

Он почувствовал голод. Прошло немало времени с тех пор, как он съел свою похлёбку, да и набегался изрядно. Он замедлил бег и пошёл неторопливо, опустив голову и вынюхивая рылом почву в надежде отыскать съестное.

«Хорошо бы желудей сыскать», — подумал вепрь; он осмотрелся, принялся и пошёл в сторону громадного дуба, раскорячившего свою крону шагов на десять во все стороны. Он не ошибся: под дубом лежали в изобилии жёлуди, за неделю не съешь. Оголодавший вепрь принялся с аппетитом хрустеть и чавкать.

«Конечно, — рассуждал при этом он, — жёлуди вкусны, спору нет, но хозяин кормил вкуснее», — и в который раз горестно хрюкнул.

Утолив голод, вепрь отыскал неподалёку ложбину, на дне которой толстым слоем лежали сухие листья, опавшие в неё не за один сезон, улёгся и задремал. Ему стало сухо, мягко и тепло.

Собаки

Из дремоты его вывел собачий лай; он вскочил и насторожился. Вепрь не любил собак. В селе они не давали ему прохода. Всякая самая плюгавая, задохлая шавка непременно бросалась на него с остервененым лаем и норовила укусить.

«Не понимаю причины такой патологической враждебности, — философствовал вепрь, — я же вижу, что на сельских поросят и взрослых свиней собаки не обращают ни малейшего внимания». Вепрь в своём рассуждении забывал, что он не сельская свинья, а вепрь, дикий кабан, а диких зверей собаки не выносят. Впрочем, эта забывчивость наверняка была напускной; вообще-то, ему льстило, что он не какая-то там свинья, а настоящий вепрь.

Он рассчитывал пересидеть опасность в ложбине, но собачий лай звучал всё ближе и громче и, наконец, приблизился настолько, что выжидать дальше становилось рискованным.

Вепрь выскочил из ложбины и побежал в сторону, стараясь избежать встречи с собаками. Поздно.

Собаки заметили его и бросились преследовать. Вепрь бежал изо всех сил, но уйти от них не мог. Собаки, отличные бегуны, мчались значительно быстрее. Вскоре одна из них подступила к вепрю вплотную.

«С одной-то мы справимся», — подумал он и резко развернулся.

Его маневр застал собаку врасплох; в пылу погони она потеряла осторожность и горько поплатилась. Вепрь нанёс свой коронный косой кабаньим удар клыками, и собака с распоротым животом забилась на земле в предсмертных судорогах.

Когда примчались остальные собаки, вепря уже не было. Он бежал, выбирая путь между корягами, чтобы затруднить преследование, но чувствовалось, что от собак ему не уйти, и рано или поздно они навалятся на него.

Единственный шанс для спасения, который ещё у него оставался, это добраться до болота раньше, чем собаки его разорвут. Только болото оставалось его спасением, и вепрь бежал к нему во всю свою прыть.

В одном месте он выскочил на поляну и оказался совершенно на виду.

— Смотри, Вася, кабан! — закричал охотник, торопливо заменяя патроны с дробью на жаканы. Патрон застрял в стволе, и охотник стал выковыривать его ножом. Наконец, он заменил патроны и вскинул

ружьё для выстрела, но опоздал. Как ни коротка случилась у охотника заминка, но её оказалось достаточно, чтобы вепрь перебежал поляну и скрылся в зарослях. Счастье на сей раз оказалось на стороне вепря.

Охотники бросились за ним, ориентируясь на лай собак.

Собаки всё же настигли вепря и на этот раз набросились все разом. Опасаясь клыков, они рвали его с боков, сзади, сверху. На каждый укус вепрь отвечал ударом клыков, но чаще всего удар не достигал цели, ибо собаки мгновенно отскакивали, они увёртывались и снова кидались в бой. После каждой короткой схватки вепрь кидался к болоту и всё же сумел достичь его края. Он хорошо знал болото, так как несколько сезонов оно служило ему местом лёжки, знал проходимые места и устремился к ним.

Собаки было рванулись за ним, но плюхнулись в болотную жижу, выбрались на сушу и прекратили преследование.

Вепрь успокоился.

Приятная встреча

Вепрь успокоился, отыскал свою старую лёжку и забрался поглубже. Многочисленные раны саднили и кровоточили. Он вылез, отыскал сухое место и занялся лечением. Вепрь катался по земле на спине и боках до тех пор, пока не подсушил раны сухой исцеляющей землёй. Затем он возвратился в лёжку и заснул.

Неделю вепрь бродил возле болота, кормился, отдыхал и залечивал раны. И всё это время он продолжал горевать по Гришке.

Однажды он встретил вепря-самку. При виде вепря она остановилась, как врытая, и стояла перед ним, на загляденье красивая. Крепкая, с длинным, выпачканным землёй рылом, аккуратными копытцами и обаятельными тёмными пятнами на широкой, покрытой светлой щетиной спине.

Маленькие глазки её внимательно и настороженно наблюдали вепря. Вепря охватила сладкая истома, и он дружелюбно хрюкнул. Однако, то ли время её не пришло, то ли вепрь ей не показался, но только она вдруг сердито хрюкнула и мгновенно скрылась в зарослях.

Долго ещё стоял вепрь совершенно очумелый, пока сладостное горение не улетучилось; только после этого он двинулся по своим делам.

Он отдыхал в своей лёжке, когда у него появилось новое ощущение; понуждаемый чутьём, он немедленно направился в барский сад.

Прячась в высокой траве и кустарнике, очень осторожно он пробрался к яме и стал своим лужёным рылом разрывать землю. Это не заняло у него много времени. Закончив рыть, он обследовал захоронение, обнаружил в нём тело молодого барина, но и только. Тело Гришки исчезло.

Вепрь радостно хрюкнул. Нюх не обманул его. Он старательно возвратил землю на прежнее место и убежал. В лес он решил не возвращаться; как ни крути, а в селе проще, да и отвык он, находясь с Гришкой, от дикой жизни. И ещё, водочки хотелось, а в лесу её не найдёшь.

«Останусь в селе, — заключил он свои рассуждения. — Главное, не попасть на глаза Ваньке; он обязательно пристрелит меня из револьвера. Да уж, остерегусь».

Весь день он валялся в густых зарослях бузины, шиповника и акации несколько в стороне от дорожки, ведущей на станцию, пил из ручья да спал. Хотел дождаться ночи, но почувствовал такой голод, что ещё до захода солнца отправился в село.

В каждом доме можно отыскать еду, но одна беда — собаки. Ах, эти собаки! Они лают по каждому пустяку. Впрочем, не на всякий лай хозяева выходят. Соблюдая величайшую осторожность, он прокрался огородами к дому Полины, у которой, вепрь знал достоверно, можно отыскать что перекусить. Пробежал к погребу, но остановился в нерешительности. За домом, обрывая цепь, остервенело залаяла собака; вепрь узнал в ней Рекса, мощного пса, от которого ему не раз доставалось трёпки, и уж хотел уйти, но лай внезапно стих.

Не обнаружив на двери замка, он толкнул её рылом и протиснулся внутрь; спустился по ступеням к закромам, и к своему удовольствию обнаружил различные овощи и, что самое отрадное, кучу сахарной свёклы.

Вепрь принялся уписывать сладкие корнеплоды и ел, пока не утолил голод. Затем он, не торопясь, детально обследовал погреб и, к своей неопишуемой радости, нашёл объёмистый жбан, полный сливовой браги. Он толкнул крышку и припал к жбану. Такой вкусной браги вепрь в жизни не пробовал: она освежала и приятно кружила голову. Он пил и не мог оторваться, пока не почувствовал, что переполнен. Направился было к выходу, но ноги не слушались. Лишку хватил.

Он удобно разлёгся на полу и погрузился в приятные размышления.

«Всё-таки дурак этот Рекс, — пренебрежительно решил он, — а ещё собака, как же не понимает, что я-то здесь. Проморгал он меня».

Посетили его и другие, не менее приятные мысли, но вскоре он, сморённый брагой, крепко уснул.

Вебрь не знал, что собаку, ему на удачу, отвлекла на себя Дарья, Кувшинова тёща, женщина легкомысленная и во взаимоотношениях с людьми лживая. Незадолго до прихода вебря она приползла к Полине, опираясь на самодельную клюку и волоча вывихнутую ногу.

— Полинushка, вправь, — простонала она и опустила без сил.

— Как же ты это? — довольно спокойно спросила Полина; как опытный костоправ, она навидалась всяких увечий и притерпелась к стонам.

Для более глубокого понимания происшедшего с Дарьей необходимо изложить предысторию; охарактеризовать психологический климат в славной семье Кувшина чуть ли не с первых дней её возникновения.

Кувшин вошёл в семью со сложившимся мировоззрением. Он твёрдо полагал, что мужчина в доме есть хозяин и голова. Эту свою глубокую философскую мысль он посильно старался внушить домоладцам всеми известными и доступными ему средствами. Однако, женщины, а именно, теща Дарья и жена Нинка изо всех сил противились ему, ибо считали вопрос о равенстве прав мужчины и женщины давно и окончательно решённым в рамках самого справедливого в мире государства, а также по причине женского врождённого упрямства.

Поскольку каждая из сторон твёрдо стояла на своём, то конфликт не прекращался, а лишь изредка утихал, чтобы вспыхнуть вновь.

Время от времени к избе подъезжала полуторка, старая развалюшка, принадлежащая местному сельскохозяйственному кооперативу, шофёр грузил в кузов Нинкино добро, сажал наверх саму Нинку, ребятишек и заводил ручкой мотор.

Изрыгнув на постылое место тучу ядовитого смрада, грузовичок, заваливаясь на колдобинах, двигался в конец села к знакомым, всегда готовым приютить несчастную Нинку и её детей.

К вечеру того же дня та же полуторка, но уже под командой Кувшина, подъезжала к дому вышеуказанных знакомых. Кувшин молча грузил в кузов вещички и отвозил домой.

В семье Кувшина наступали мир и согласие, но ненадолго.

В процессе супружеских баталий перепало и теще, которая ни при каких обстоятельствах не оставалась в стороне, а напротив, производила различные подстрекательские выкрики, порочащие честь и достоинство Кувшина.

Кувшин с тёщей обычно не церемонился, а в этот раз, вроде, даже перестарался: вгорячах он выдернул ей ногу, после чего Дарья и отправилась к Полине на лечение, хромая и понося зятя последними словами, полными угроз отомстить ему с помощью власти.

Полина знала своё дело прекрасно; она смазала повреждённую конечность постным маслом, вправила сустав и хорошо промассировала. Так что, через какие-то полчаса потерпевшая смогла встать на ноги и самостоятельно передвигаться. Настроение у Дарьи резко улучшилось, и она не торопилась уходить.

— Пойду, посмотрю, какая у тебя, Полина, культура растёт в огороде.

Скрипнув калиткой, она прошла в огород и, критически поджав губы, стала оглядывать грядки с морковью и капустой. Солнце зашло, но вечер ещё не обратился в ночь, и было светло.

Рекс прыгнул на неё, как рыжая молния, сбил её с ног и стоял над ней, рыча.

Дарья обомлела и лежала ни жива ни мертва.

— Рекс, миленький, отпусти меня.

— Р-р-р...

— Рексик, я тебе печёнки дам.

Рекс, будучи настоящей сторожевой собакой и почитая долг выше угощения, продолжал держать Дарью в лежачем положении.

— С соусом, — добавила Дарья.

Рекс заколебался. Он очень любил печёнку с соусом. Он очень хотел печёнку с соусом, но этой бабке не верил — ей никто в селе не верил.

Вот по какой причине Рекс вдруг перестал лаять на вепря.

Вепрь проснулся от страшных криков и крепкой ругани.

Фёдор, старший сын Полины, спустился в погреб за картошкой и обнаружил спящего вепря. Это его удивило и даже позабавило, но едва он увидел наполовину опорожнённый жбан, весёлость его сменилась яростью. Он обрушил на вепря весь свой запас ругани. Фёдор ругаться любил и умел. На что сельские мужики без мата шага не ступят, но он по этой части превосходил всех.

А тут такой случай.

Рассвирепев, он схватил толстую рейку и начал охаживать вепря. Рейка оказалась с гвоздями и боль причиняла несусветную.

Хмель выскочил из башки вепря. Воя и визжа от страха и боли, он рванулся вверх по ступеням и вырвался наружу, успев получить в след

ещё несколько ударов. Да ещё к этому времени Рекса спустили с цепи, и тот, не раздумывая, навалился на вепря.

Истерзанный, покрытый многочисленными ранами, вепрь, тем не менее, ушёл от погони и укрылся в своих зарослях. Самочувствие его было препоганое, пожалуй, похуже, чем тогда в лесу от собак.

«Много выпил, — сокрушался он, — а то бы ничего».

Ванька правит селом

Ванька съездил в Таруть к своему начальству и заявил о бегстве старой барыни и молодого барина, а про Григория Скуратова сказал, что исчез тот в неизвестном Ваньке направлении.

— Ладно, — сказали ему начальники, — подумаем, пришлём тебе ещё кого, — и отпустили домой.

Тем по казённой части дело и закончилось.

Ванька убедился, что править селом вполне ему по силам и, пожалуй, даже приятно.

Первое дело — гнать мужиков и баб на полевые работы, и поблажки им не давать. Высматривать, что у кого выращено и запрятано в огороде, саду, дворе, хлеву, закутках, словом, везде. Брать на карандаш всякую живность: каждую курицу, овцу, поросёнка и, тем паче, корову, для того, чтобы всё это через налоги отобрать.

Попрекать людей неустанно за их устремление выращивать продукт для себя и всячески стеснять их в этом. Следить, чтобы с государственных полей не воровали.

Чаще слать доносы. Вышестоящая власть безотказно реагирует, и на каждый донос следует расправа быстрая и неотвратимая. Людей увозили, они надолго пропадали, и это шло на пользу жителям села.

Они воочию ощутили Ванькину силу и осознали свою полную беззащитность перед ним; страх надёжно встал впереди их поступков, люди приутихли. Грешная Ванькина душа радовалась значительностью своей персоны и материальным достатком. Опасения за прошлые делишки его не волновали; теперь он сам мог сгубить кого угодно. Потому что он власть.

Относительно молодого барина никто в селе не сомневался, что он вместе с матерью в отъезде. И никому не приходила в голову мысль, что, дескать, лежит Александр, бедолага, в земле, злодейски порубленный совсем рядом с родным домом.

О Гришке тоже никто не вспоминал: чужой он, пришлый человек, присланный властью. Пришёл, ушёл — какое людям до него дело?

Так что не существовало у Ваньки причин для опасений. Местом своего пребывания как власти, так сказать, резиденцией он определил кабинет в барском доме, и это внушительное помещение ещё более укрепило в нём сознание собственной значимости, а в людях — уважение к власти, которую он, Ванька, олицетворял.

Следует отдать должное Ваньке, он всё же вспоминал Гришку как нужного и преданного ему человека, и сожалел, что пришлось по необходимости так с ним поступить.

Попали под власть Ваньки и наши добрые Травины.

Дед Тимофей Травин трудолюбив; он неизменно и неустанно в деле и чрезвычайно способен ко всякому ремеслу.

Он и кузнец, и слесарь, столяр и плотник, шорник, сапожник, ветеринар и агроном... словом, умеет делать всё, что необходимо в сельской жизни.

Трудом своим он жил зажиточно, то есть, семья его не голодала; имел запас на весенний посев и продукты до следующего урожая, в то время, как у иных не только отсутствовало посевное зерно, но, к тому же, они голодали.

Дед видел нищих, но не жаловал их: отдавать заработанное своими руками нелегко.

В его достатке власти усмотрели вину и внесли деда в список на раскулачивание.

Ввиду безвыходности ситуации он вступил в колхоз; добровольно отдал лошадь, инвентарь, зерно и картофель. Но он ворчал, выражая открытое недовольство Ванькиной властью. Ворчал, что в колхозе его лошадь и инвентарь содержат скверно, а колхозники работают плохо, не как на себя.

За редкую умелость люди считали деда колдуном, а за прямоту многие его не любили. Дед, в свою очередь, не терпел лентяев, лоботрясов, неумех, пропойц и в глаза это высказывал.

По характеру он суров и нередко переходит на грубость; в семье от него доставалось всем. Сам крепкий, ловкий, двужильный он требовал такой же отдачи от других, не принимая в расчет, что иным это не по плечу. Сильно досталось его детям, когда они задумали отойти от сельскохозяйственной исконной жизни, уехать в город и заняться другим промыслом. Дед усмотрел в этом их намерении бегство от домашних забот и отход от семьи зажиточных, порядочных людей.

— Работать надо, а не чесать языком, — рубил дед, — а непотребным делом пусть занимаются другие, Я им мешать не стану.

Власти он вреда не приносил и относился к ней спокойно, как к неизбежному, пока с него не требовали взноса в колхоз. С возрастом дед смягчился, но отношение к нему в селе не изменилось.

Василий — в противоположность отцу жизнерадостный и добродушный человек. Трудился он на железнодорожной станции расценщиком за небольшой заработок и был примерным семьянином. В селе его уважали: умный, совестливый, он помогал людям советом и составлял разнообразные прошения своим изумительным каллиграфическим почерком. Мальчики пытались подражать отцу в его каллиграфии, но безуспешно.

Он нежно любил свою ребятню, и они были ему вовсе не в тягость, а напротив, доставляли радость.

Охотился он с прекрасной охотничьей собакой Сурганом и был удачлив. Однажды в зимнюю беспросветную пургу Сурган отыскал заблудившегося и замерзающего Василия и вывел его к дому.

Стрелял Василий метко, знал заячьи лёжки, а Сурган голосом показывал место дичи. Шкурки убитых животных он выменивал на охотничьи припасы, а также валенки и ботинки для детей. Дробь изготавливал сам, и крупную на зайцев да волков, и мелкую на дичь. Охотничьи трофеи служили хорошим мясным подспорьем семейного рациона; о вторых блюдах речь не идёт, а супы получались отличные.

Сурганов у Василия было два, и оба хороши, и оба погибли трагически. Первый Сурган, преследуя зайца, проскочил за ним на железнодорожный путь между рельсами и залёг в ожидании прохода поезда. К несчастью, проходившая мимо женщина стала без соображения звать собаку; Сурган высунул на зов и попал под колёса.

Второй Сурган, чрезвычайно похожий на первого и по стати, и по сообразительности, крупный, овчарочьего вида, во время оккупации Скуратова германскими войсками бросился на солдата и был застрелен из автомата.

Второй приход Гришки

Ванька сидел за столом, когда раздался стук в дверь, и в кабинет вошёл... Гришка.

Ванька побледнел, а его челюсть с явственным хлябом упала; он остолбенел.

Как же так, ведь застрелил он этого Гришку неделю назад из нагана своей рукой и при ясной памяти, землёй завалил, зарыл. «Если ожил, так не мог он столь быстро оклематься», — мысли Ваньки метались в полной растерянности.

«Может, не он?»

Ванька с подозрительностью пронзительно всмотрелся в мужика и убедился, что перед ним, несомненно, Гришка. Те же длинные, как у обезьяны, волосатые руки, тупая морда и светящийся глаз, а уж топор в парусиновом чехле и неизменный вебрь, протиснувшийся в кабинет следом, не оставляли ни капли сомнений.

Пока Ванька пребывал в вышеуказанном ужасном душевном состоянии и решительно не знал, как ему вести себя, Гришка затворил дверь, подошёл к столу и достал из нагрудного кармана жёлтую бумагу, сложенную вчетверо.

— Ты будешь Ванька Корятов, председатель? — спросил он глухо, как из под земли. — Прислан к тебе в помощники.

Ванька, хотя и сильно обалдевший, вместе с тем, не обнаружив со стороны Гришки ни злобы, ни мести, несколько пришёл в себя. По всему выходило, что Гришка, вроде, впервые видит Ваньку.

— Я буду товарищ Корятов, — перехваченным, как от простуды, голосом ответил он и принял бумагу.

— Податель сего Скуратов Григорий Харитонович направляется в село Скуратово, подпись, печать.

Уловив, что Ванька дочитал документ, Гришка продолжил свой доклад.

— Прибыл, товарищ Корятов, чтобы хранить от супостатов нашу родную народную власть, от всяких смутьянов, недовольных и иных врагов. И ещё, охранять лично тебя, товарищ Корятов, дорогого, любимого народом начальника, поставленного властью.

Вид бумаги, а в особенности слова Гришки сняли с Ваньки напряжение, и он полез за бутылкой.

Здесь, однако, уместно и даже, так сказать, необходимо небольшое упреждающее замечание. Хотя Ванька вроде отошёл от испуга, но с этого момента произошло у него первое, скажем так, начальное повреждение в голове. Сам он, впрочем, этого не ощутил; никакого колыхания или там ещё чего.

Что касается Гришки, то, отрапортовав начальнику, он принял из его рук стакан самогона, опрокинул его в рот, да и принялся хлопотать по устройству и упорядочению вверенного ему хозяйства.

Идейное обустройство села.

Прежде всего, Гришка влез на крышу и обследовал флаг. Он устроил ему небольшой благородный наклон, чтобы тот не торчал, как жердь в огороде, а, так сказать, идейно свисал и развевался на ветру, внушая людям патриотический восторг и благоговение перед величием государства и родной власти.

Гришка убедился в надёжности крепления древка и некоторое время колебался, не следует ли выстирать полотнище; всё же решил, что оно ещё достаточно свежее, но самое главное, Гришка и мысли не мог допустить, чтобы резиденция власти хотя бы на короткое время осталась без символа — развевающегося красного флага.

Затем он взялся за портрет кормчего, висающий на стене за Ванькиной спиной. Гришка обожал кормчего. Можно поэтому понять его возмущение, когда, сняв портрет, он обнаружил, что весь облик кормчего и в особенности нос и усы бесстыдно и обильно обгажены мухами.

Изрыгая проклятия и матерщину, Гришка стал, соблюдая величайшую осторожность, можно сказать, нежность, протирать изображение влажной тряпкой, боясь при этом повредить дорогие черты. Рамку он протёр конопляным маслом, заменил верёвочку, державный гвоздь забил поглубже, и лишь после всех этих тщательно проделанных работ повесил портрет на прежнее место.

— Совсем иной коленик, — пробормотал он, придирчиво осматривая результаты своих усилий.

Гришка остался очень доволен своей работой.

— Как живой, — он зажмурился в умилении и смахнул набежавшую слезу, — родной ты мой, достойнейший человек, все бы такие.

— Ну что, Ефросий, теперь хорош?

Вепрь давно наблюдал за работой Гришки, переживал, что не может ничем помочь.

— Да уж, как хорош-то, — душевно ответил он, не отрывая глаз от портрета.

— То-то же. Ты, Ефросий, и в башку свою не вместишь, какой достойный человек наш кормчий.

— Где же вместить-то, разве это возможно? — покаянно хрюкнул вепрь.

Гришка нашёл, что многое в резиденции следует изменить, и прежде всего цвет. Из всей гаммы цветов он предпочитал красный, и не просто предпочитал, но это был его любимый цвет. Порывшись в старой кладовой, он отыскал старое кумачовое знамя, и за одну ночь, в тайне от всех, пошил из него себе рубаху.

Когда на следующий день он, необычайно торжественный, явился в резиденцию и предстал перед её обитателями, вебрь в восторге встал на задние копыта и в течение всего дня не сводил с него обожающих глаз.

— Хозяин, ты прекрасен, — только и хрюкнул он, и добавить ничего иного уж не смог, да и не было в этом необходимости. Восхищённый взгляд его довольно выражал все его чувства. Весь день вебрь ходил за Гришкой копыто в копыто, подражая всякому его движению.

Гришка и впрямь выглядел ослепительно, а его новая рубаша, насквозь пропитанная революционным духом, потрясала. Он скроил её таким образом, что ранее украшавшие знамя вышитые золотом слова «Беспощадный до богатеев полк имени Светлого Будущего» перехватывали его грудь и спину подобно пулёмётным лентам революционного матроса. Причем «Беспощадный» и «до богатеев» пересекались на груди, «полк» проходил вдоль живота, а «имени Светлого Будущего» шли от ворота по спине вниз, и настолько под самый зад, что последующие буквы исчезали где-то там.

Когда же Ванька, не оценив политического значения момента, обругал его за самовольство и расточительство казённого добра, он не только не обиделся, но даже не обратил на это внимания. Напротив, охваченный энтузиазмом, он возгордился, возликовал и стал строить планы дальнейшего идейного обновления села.

— Ваня, — хрипел он, и теперь оба его глаза извергали революционное пламя, — всё обтянем кумачом. Мужикам прикажем пошить красные рубахи, а бабам красные сарафаны, ну можно бордовые. Бабы всё же.

У Ваньки от этих планов и напора голова пошла в завихрения; он уважительно посмотрел на Гришку. «Преданный революционной идее человек, — подумал он, — до последней капли крови готовый биться за дело кормчего».

— Ладно, — сказал он, — подумаем, что тут сделать.

Гришка нет-нет, да посмотрит на портрет, и даже сам стал прищуриваться на манер кормчего и гладить усы.

Вебрь тоже попытался, но, во-первых, у него ничего не вышло, с его рылом-то, а во-вторых, он попросту испугался, не слишком ли высоко замахнулся: у «них» руки длинные.

Через неделю на улице села закипела работа: истребованные специалисты-рабочие через каждые пятьдесят шагов ставили столбы, а на столбах монтировали радио-репродукторные тарелки. Теперь жители села от мала до велика могли день и ночь слушать о гигантских



Осквернённый храм

свершениях народа, достигнутых под мудрым руководством любимого всеми кормчего.

Гришка простаивал часами то у одного, то у другого столба, а вепръшнырял вдоль всех столбов, слушая, что говорят в народе. И если кто что, доносил.

Однажды Гришка, однако, бросил все эти свои дела и сидел против Ваньки в безделье, однако с важным видом и сильно озабоченный. Затем принялся приводить в порядок свой нехитрый скарб.

Ванька удивился:

— Что это ты, товарищ Скуратов, никак куда-то засобирался, почему не знаю?

— Надо мне, Иван, временно отъехать. Велено мне. Понадобился я властям, — он значительно ткнул пальцем вверх. — Власть, она знает, куда и зачем. Не нашего с тобой, Иван, ума дело. Не нам решать. Им там, — он снова пальцем вверх, — виднее. Ты уж тут без нас потерпи, вернись.

После этих программных слов он со своим верным вепрем отбыл.

Пока Гришка отсутствовал, приехал из центра человек и приказал всё церковное из храма выкинуть, священника в кандалы и отвезти куда следует. Властям виднее. А помещение использовать под хозяйственные нужды. После такого директивного указания человек отбыл,

прихватив с собой церковные ценности и батюшку под охраной милиционеров.

Ванька указание власти выполнил и даже с лихвой, прихватив себе из церкви всё ценное, что ещё оставалось от вышеуказанного ограбления.

Гришка, естественно, ничего обо всём этом не знал. Когда он вернулся, опять же, церковь не показалась ему странной. Снаружи-то вроде, как было, а что внутри церковное убранство порушено, так Гришка об этом и не догадывался. В церковь-то он не ходил.

Кажется, однако, странным, что Гришка, творя свои мерзости, до сих пор не покусился на храм, но теперь ясно — он же маниакально хотел освятить икону. Мечта освятить икону и через века не оставляла его.

Итак, Гришка вернулся из своей командировки.

Муська

Вепрь был предан своему хозяину и ловил не только каждое его слово, но и движение. Шёл разговор о государственных делах, а именно: как уличить в симуляции Луну, которая, ссылаясь на болезнь, не вышла в поле, а, по донесению доверенных лиц, торговала на станции отварной картошкой с огурцами.

В процессе указанного обсуждения Гришка, вроде невзначай, заметил, что неплохо бы пожевать баранинки. Больше ничего такого Гришка не сказал, но для вепря и этого было достаточно: оно прозвучало как руководство к действию. Он стал соображать, где достать баранины.

«Муська держит овец», — вспомнил он, и немедленно отправился.

Муська, совершенно одинокая женщина лет пятидесяти, жила по соседству с Циклопом, то есть, на окраине. Снаружи её дом ничем особенно не отличался, дом как дом, похожий на другие.

Собаки она не держала, поэтому вепрь без опаски протиснулся в калитку, толкнул башкой дверь и вошёл в жилое помещение, горницу. Большую комнату заполняли овцы в количестве не менее десятка; овцы лежали на полу и дремали. Во все времена Муськиного проживания в доме в комнате не прибирали, а полы не то что не мыли, но даже не сгребали с них грязь.

В результате такого отношения, а точнее безразличия к гигиене, в помещении образовалось нечто вроде ямы из навоза и грязи, в центре

которой в настоящий момент возлежала Муська, комфортно устроившись между овцами.

Муська спала.

«Тепло ей между овцами, — подумал вепрь, — даже будить жалко, а надо».

— Муся, — позвал он.

Та открыла глаза.

— Чего тебе?

— Так, от властей я.

— Да знаю, знаю. Чего надо-то?

— По важному я, государственному делу, — значительно произнёс вепрь. — Не дашь ли баранины?

— Как это дашь? — всполошилась Муська.

Она своих овец не резала, не продавала и даже шерсть с них не стригла, то есть никакой материальной выгоды с них не имела.

В ней сидела какая-то неведомая, унаследованная от предков-пастухов, неистребимая никакими властями привычка держать овец. Этакая внутренняя потребность, вроде попить-поесть. Ведь не задуваются люди, зачем им пища — без слов ясно.

— Да так, Муся. Ведь не абы кому, а власти! Понимаешь? — объяснил вепрь и с чувством добавил, — Они нам благодетели, а мы им свободные граждане, в смысле, рабы.

Однако, Муська подняла такой крик, что вепрь счёл необходимым временно отступить, но ушёл он не просто, а чтобы придумать способ достижения цели. Вскоре он вернулся, бережно неся в пасти бутылку самогона.

— Конечно, — рассуждал он, — лучше бы самому, но тут такое дело... Можем и потерпеть, когда нужно, — вепрь очевидно гордился своей выдержкой.

После его ухода Муська успела уснуть.

Вепрь протиснулся между овцами, подобрался к Муське и, нацелившись, вставил ей горлышко бутылки точно в рот. Муська в испуге открыла глаза, но быстро сообразила, что к чему, так сказать, просекла ситуацию. Она зубами вытащила тряпочную пробку и припала к бутылке. Теперь ничто не могло отвлечь её от нового дела.

Прихлёбывая из бутылки, Муська уселась поудобнее, привалилась боком к упоительно тёплой овце и запела. Разрозненные, не связанные логикой и правилами слова её песни, о доме, отце, матери, деревьях, зелёных лугах и реке, и дошедшая из глубины веков мелодия далёких предков выражали тоску от призрачности и несбыточности той

потрясающе прекрасной и бесконечной жизни, которая воображается человеку в начале его появления. Но и печаль в разочаровании от хрупкости и мимолётности доставшейся ему реальной жизни.

Так пели пастухи на заре человечества; песня резала ножом по сердцу и выражала глубинную суть человеческой жизни... и усталость от этой жизни.

Вебрь, тем временем, подтолкнул крайнюю овцу к выходу, да и погнал её к себе.

О плевелах

Глава 13 от Матфея

«Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своё; когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл; когда возшла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.

Пришедши же рабы домовладыки сказали ему: господин! Не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? Откуда же на нём плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это.

А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдём, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы; оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою».

Смотр революционных сил

Во всех местах российского проживания люди по ночам спят. В большинстве своём, но не все.

В селе Скуратово в ту тёплую августовскую ночь не спал ветеран революции Сидор Тюркин. Дело в том, что он поклялся всю свою жизнь, до последнего вздоха положить на борьбу бедняцкого люда до полного уничтожения всех богатеев, до единого, и шёл по этому пути.

Железная крыша его дома проржавела до дыр и во время дождя свободно протекала. Сидор посильно чинил её, то есть, подкладывал в особо дырявых местах листы из различных материалов, подобран-

ные им где придётся, кое-как прибивал их, но всё равно в сильный дождь вынужденно подставлял корыта и тазы. Двор за ненадобностью сильно завалился; ни скота, ни птицы он не держал за неимением времени на такие пустяки, к тому же, основанные на мелкобуржуазном, частнособственническом мировоззрении.

Сбоку от провалившегося погреба, на стороне, обращённой к улице, ветеран революции Тюркин установил бюст кормчему. Бюст имел вид довольно подержанный и с отбитым боком, но Тюркин подмазал его алебастровым раствором, покрасил алюминиевой краской, и кормчий стал, как новый. Справа от бюста Сидор кувалдой вогнал навечно в землю водопроводную двухдюймовую трубу, выкрасил её такой же краской и прикрепил к ней красное полотнище. Слева также из трубы устроил державку под факел.

Сверкающие металлом лысый череп и френч кормчего, красное, а ночью кажущееся чёрным знамя, освещённые мятущимся пламенем факела, представляли собой мрачное, но весьма впечатляющее зрелище.

После полуночи к бюсту приходил Гришка с вепрем.

Ветеран революции Сидор Тюркин встречал их установленным приветствием, стоя вытянувшись рядом со знаменем; после чего начинался смотр. Некоторое время ветеран Тюркин и Гришка стояли вытянувшись по обе стороны от бюста, с лицами, обращёнными в ту же сторону, куда смотрел кормчий. Затем они одновременно разворачивались и брякались на одно колено в клятве на верность бессмертному кормчему и его делу. Произнося слова клятвы, они по очереди подходили к знамени и целовали край полотнища.

Вепрь в силу своей кабаньей конституции тела не мог стать рядом, но и находясь поодаль, он выражал ту же любовь к кормчему и разделял святость момента.

Ритуал завершали прохождением перед бюстом торжественным строевым военным церемониальным шагом. Тут вепрь обычно не выдерживал и в экстазе пристраивался сзади к марширующим. Держать требуемый шаг своими четырьмя копытами ему было весьма затруднительно, если вообще возможно, но чувство, глубокое чувство, которое он вкладывал в этот порыв, решительно возмещало всё.

На этом церемония заканчивалась, и Гришка, сопровождаемый вепрем, уходил, крепко пожав руку ветерану революции Сидору Тюркину.

Иногда, в случае, если был достаточно трезв, чтобы ходить в вертикальном положении, в смотре принимал участие Циклоп.

Столь внушительное прозвище приклеилось Ивану Шульгину из-за наличия у него лишь одного зрячего глаза вместо двух, положенных человеку природой. Второй зрительный орган ещё в отрочестве ему выбил строгий до жестокости отец, Фёдор Шульгин, в процессе становления Ивана как личности. Отец стихийно и посильно стремился сделать из сына порядочного человека, но тот шёл своим путём.

В силу безусловной аполитичности и слабой революционной дисциплины Циклоп совершал такие действия, которые не встречали одобрения ветерана Тюркина, очень строгого судьи в вопросах соблюдения ритуала смотра. По мнению Тюркина, тот заходил слишком далеко, хотя...

Маршируя, Циклоп входил в раж и взвинчивал себя до такой степени, что начинал выкрикивать иступлённо и фанатично:

— Я вождь всей Земли, Я великий!

Ему, однако, прощали эти нарушения ритуала, поскольку они не шли в разрез с основной идеей.

Жажда

Не спали супруги Федулкины — потому что торговали самогоном. Не спал Циклоп.

С вечера он принял пару стаканов самогона, и некоторое время чувствовал себя очень хорошо, но вскоре у него возникло желание выпить ещё; оно стремительно нарастало и к полуночи стало невыносимым, и тогда Циклоп отправился к Федулкиным.

Так возникла логическая связка интересов: Федулкины — Циклоп.

Существовал, однако, серьёзный изъян в их общении: Федулкины ни при каких обстоятельствах, никогда не отпускали товар задаром, а у Циклопа обычно отсутствовала валюта. Это, увы, прискорбное обстоятельство неизбежно порождало расхождение во взглядах, так сказать, объективное противоречие.

— Есть тут живые? — прохрипел Циклоп, постучав в окно.

— Есть, есть, — тотчас приоткрыла дверь Тамара Федулкина, дородная толстомордая баба.

— Заходи, Ванюша, — пригласила она радушно и нараспев.

Циклоп вошёл и остался у порога, а Тамара заняла прежнее место за столом. Федулкины выпивали. Сам Федулкин сидел красный от выпитого; на столе стояла бутылка и тарелка с отварной картошкой.

На виду у Циклопа он вылил содержимое стакана в пасть, блаженно зажмурился и ещё более побагровел.

Картина для Циклопа настолько непереносимая, что он не сдержал стога.

— Давай бутылку, — попросил он.

— Давай деньги, — отозвался Федулкин.

— Феда, — Циклоп соорил просительную мину, — утречком занесу, сейчас с собой нет.

— Сходи, я подожду.

— Так они теперь не у меня; в долг я их отдал. Утром пошлю Катерину, принесёт. Она их тут же вам отдаст, — Циклоп говорил как можно проникновеннее и убедительнее, вкладывая в слова душу.

Однако, Федулкин был слишком примитивен и жаден, чтобы понять и оценить это.

— Нет, Иван, без денег не дам. Знаю тебя, — только и сказал он.

Циклоп пришёл в отчаяние, а что способен наговорить человек в таком предельном состоянии, каждый знает из своего жизненного опыта.

Какие только причины и обещания не выдумывал Циклоп!

Ничто, однако, не изменило решения Федулкиных. Они слишком хорошо знали Циклопа, чтобы довериться его демагогии.

Когда красноречие Циклопа иссякло и он убедился, что самогона ему при мирном течении переговоров с Федулкиными не видать, как своих ушей, он рассвирепел и применил иной способ достижения своей генеральной цели.

— Деньги я вам отдал, — вдруг заявил он, бесстыже выкатив свой единственный глаз, — мошенники! — и логически завершая спонтанно возникшее намерение, он схватил стоявшую в углу бутылку и бросился вон.

— Ложь взад, гад! — завизжала Тамара и в молниеносном броске взяла Циклопа мёртвой хваткой.

Циклоп вывалился в сени, с титаническим усилием волоча на себе Тамару, но пока он пытался оторваться, подоспевший Федулкин вырвал у него бутылку и спрятал её в карман.

Восстановив рыночную справедливость, Федулкины дружно, как и подобает супругам, навалились, поднатужились и вытеснили Циклопа во двор.

Потерпевший полную неудачу, Циклоп совершенно обалдел и в ярости бросился на Федулкина, но тот своевременно схватил вилы и, непрерывно угрожая этим страшным оружием, то есть, держа их

остриём в непосредственной близости от тела нападающего, вытеснил его со двора на общественную, так сказать, нейтральную территорию, словом, на улицу.

И вот здесь-то, на ничейной земле, Циклоп, вобрав в себя, подобно Илье Муромцу, её живительную силу, опомнился, ловко вырвал вилы из рук потерявшего бдительность Федулкина и шлёпнул ими Тамару по голове.

Справедливости ради необходимо сказать, что ударил он её не остриём, а плашмя, и этим выказал определённую гуманность и интуитивную боязнь греха. Ткну он вилами, и Тамаре каюк. Тем не менее, кожу на башке он ей рассёк основательно, так что кровь мгновенно залила ей лицо.

Остаётся вопрос, почему Тамару, а не Федулкина? Возможно, по той причине, что она представляла для него большую опасность или оказалась ближе и удобнее для удара. На этот вопрос и сам Циклоп не ответил бы. Так получилось, и всё.

Предшествующие ругань и крики не шли ни в какое сравнение с тем воплем, который издала Тамара, получив сокрушительный удар вышеуказанным сельскохозяйственным орудием.

— Убили! — зашлась она в крике.

По мере вытекания крови вид бабы становился всё ужаснее.

Циклоп струхнул и отступил; но надо прямо и честно сказать, что ушёл он с достоинством, громко матеря Федулкиных и обвиняя их в измене родине и преступных действиях против родной власти.

— Враги народа, — донеслось уже издали, и шум утих.

Тамара шатаясь села на скамейку. Перед домом на столбе горела лампочка, хорошо освещая поле прошедшей битвы. Вышедшие на шум соседи рассматривали со своей территории Тамару. Сердобольная, как большинство женщин, соседка сокрушённо покачала головой.

— Ишь, как льёт. Помрёт. Истекёт кровью и помрёт.

— Ничего ей не сделается, — возразил муж соседки, — баба она толстая, мордастая. Ей это лишь на пользу.

— Как ни толстая, а если вся кровь вытекет, где же ей не помереть?

— Вся не выйдет. На ейный век останется, — резонно заметил муж, и он оказался прав.

Ранки подсохли быстро, как на собаке, кровь уж едва сочилась, и даже для соседки стало очевидно, что жизнь Тамары вне опасности.

Теперь Тамара жаждала мщения, и по этой причине кровь с тела не смывала, сохраняя её как вещественное доказательство. Окровавлен-

ная, ужасная видом, она сидела на скамейке и строила планы страшной мести.

— Поеду в милицию. Вы со мной, как свидетели. Сядет гад за решётку на долгие годы.

Соседи постояли, позёвывая, да и отправились спать.

Собутыльники

К третьему часу ночи Циклоп всё же отыскал человека, у которого жадность к деньгам пересилила опасение не получить их вовсе; Циклоп клятвенно пообещал не позднее ближайшего полудня продать мешок картошки, вырытой им в чужом огороде, и вырученные деньги представить в уплату за самогон.

Вообще-то, Циклоп шёл на поиски спиртного лишь исключительно в безнадежных ситуациях, когда все известные варианты были исчерпаны, а так он обычно посылал Катерину, свою законную половину. Не такое уж это приятное дело, но Катерина не роптала по двум причинам. Первое, это опасение послушаться мужа, а второе, она и сама любила выпить.

Если она возвращалась ни с чем, Циклоп наказывал её, в смысле, колотил. По этой причине Катерина неизменно ходила с опухшим личиком и фингалом под правым глазом. Он всегда бил её в правый: так ему виднее и сподручнее, исходя из того, что единственный зрячий глаз у него левый.

Но в этот раз Катерина ушла к матери и должна возвратиться поздно. Получив бутылку, повеселевший Циклоп чуть ли не рысью поспешил домой. А в доме гости и всю гульба. Вместе с Катериной, возвратившейся от матери, за столом сидели девка Алла, пожилой мужчина Леонид, Толик Бойков и его сожительница Рита, проживающая на станции.

Алла несколько лет назад приехала в село из города с дочерью девяти лет и Леонидом. Люди полагали Леонида за Алиного отца, но иные сомневались, а Катерина, так та клятвенно уверяла всех, что он с Аллой живёт, как с женщиной. Когда дело касалось подобных щекотливых вопросов, к мнению Катерины безусловно стоило прислушаться.

Алла обладала характерной особенностью: она обычно мужикам не отказывала, но только исключительно в пьяном виде, а так нет, хоть убей. Мужики уж знали, нечего и приставать к ней трезвой, пустая трата времени.

Толик Бойков, младший сын Татьяны Бойковой, трудолюбивой и богобоязненной женщины, ещё с молодых лет вышел в воры. Отсидев первый срок, он вернулся к матери и жил в высшей степени непристойной жизнью. Он крал. Крал всё, что можно украсть. Зерно, гвозди, газовые плиты, поросят, электроприборы, шифер. Крал исключительно для продажи, а деньги тут же пропивал.

Физиономия его, не приведи Господь, сплошь изуродованная в бесконечных драках и дебошах, выглядела устрашающе. У Толика сложилась убеждение в правильности его жизни и своя, какая-никакая, философия.

— Пил и буду пить, — в откровении говорил он добрым людям, к которым чувствовал хоть какое-то уважение, а прочих он просто, но решительно отсылал к известной матушке. Сожительница его Рита ещё совсем недавно выделялась замечательной красотой, которая и теперь ещё проглядывала сквозь печать распутной и пьяной жизни.

Компания встретила Циклопа радостным шумом, но принесённой им бутылки хватило по чуть-чуть, и вскоре народ приунул.

Видит Циклоп такое дело и говорит Катерине:

— Иди!

— Да где взять-то?

— Попробуй у Луны.

У Шульгиных с Луной существовали деловые связи. Луна варила картошку, добавляла солёные огурчики, а Шульгины продавали; выручку пополам. По этой причине, Луна на этот раз не отказала.

Довольная успешным рейдом, Катерина весело шагала по селу, но когда она вошла в дом, то застала картину, возмущившую её до крайности. Алла возлежала на их супружеской кровати, а Циклоп на ней, в сексуальных движениях.

В великой досаде за помеху, Циклоп восстал с Аллы и незамедлительно двинул Катерине, как обычно, в левый глаз.

— Сволочь такая, — заорал было он на жену, но увидев в её руках бутылку, смягчился. Опять уселись за стол. Леонид, самый слабый, когда Циклоп занимался с Аллой, лежал сильно захмелевший, но теперь отошёл и стал бороться за справедливость.

— Раз ты с Аллой, — заявил он, — то я с Катериной. Понял?

— А вот это ты видел? — гневно среагировал Циклоп и сунул ему в нос кукиш.

— Ничего не видел и не вижу, — упорствовал Леонид.

— Я тебя предупредил, по-честному. Вот и люди скажут, — спокойно произнес Циклоп и двинул его кулаком.

— Дай ему, Циклоп, по балде, по балде дай хорошенько, — по-пьяному бормотала Алла, — ишь, засранец, хочет мне изменить. В отместку. Не имеет права.

— Я ему добавлю, — присоединился к ним Толик; он не мог пропустить такой случай. Добавил. В общем, каждый внёс свою посильную лепту, а когда успокоились, то обнаружили, что Леонид не подаёт признаков жизни.

Покрутили его и так, и этак. Получается, что мёртвый мужик-то.

— Вот тебе на, — в растерянности сказал Циклоп, — вроде и не сильно мы его. Слабый он.

Решение отыскал находчивый Толик.

— Да ладно, — успокоил он, — скажем, сам помер, от старости.

На том и порешили. Разлили остатки самогона и выпили за то, чтобы Леонид попал в царство Небесное и чтобы земля была ему пухом.

Толик с Ритой ушли, а Циклоп с Аллой, дабы окончательно отвести от себя подозрения, взяли Леонида под руки и, вроде как пьяного, отнесли к дому Федулкиных, где в полной безлюдности усадили на скамейку, привалив спиной к штакетнику, чтобы не упал.

Похождения Леонида

После бурной схватки с Циклопом Федулкины долго не могли уснуть, разрабатывая различные варианты предстоящего отмщения.

Тамара бодрствовала ещё из-за боли в голове: удар вилами давал о себе знать. Заглянула в окно и, вроде, увидела за калиткой некую фигуру.

— Сходи, посмотри, — сказала она мужу, — уж не Циклоп ли опять.

— Да никого там нет, померещилось тебе, — очень тому не хотелось выходить.

Тамара снова глянула.

— Сидит кто-то. Пойдём вместе.

Прихватив фонарь, они вышли и обнаружили Леонида.

— Иди к себе, — приказала ему Тамара и слегка толкнула. Леонид упал, да так и остался лежать.

— Да он не дышит, — в испуге прошептал Федулкин, — что делать-то?

Тамара, хотя и ушибленная головой, но хитрость свою природную не утратила.

— Как пришёл, так и уйдёт! — решительно и вместе с тем философски сказала она. — Бери его с той стороны под руку, а я с етой.

— Куда поведём-то? — спросил обалдевший Федулкин.

— Давай к Толику, одна компания. Одно к одному, никакого удивления не будет.

С Толиком Федулкины состояли почти в соседстве, через дом. Они подтащили Леонида и заботливо, чтобы было натуральнее, усадили его на Толикову скамейку. В селе у каждой калитки существовала скамейка, обязательно.

Толик ночевал с Ритой, занимался с нею и поэтому не спал. Через какое-то время он вышел во двор по нужде и покурить, и хотя был сильно пьян, но обнаружил на своей скамейке чужого человека.

Узнав Леонида, Толик всбесился!

— Туды их... Ну, Алка, змея, сука. Ведь знает, что я на подозрении у властей. Не могла к кому ещё. Ну, б... Жив не буду, если не задавлю гадюку!

Долго бушевал Толик. Надо отдать ему должное, в какой-то степени ярость его была оправдана. Что и говорить, пакость есть пакость. Словами «Ведь пили вместе, как люди» он несколько выпустил пар своего негодования и перешёл к конкретным профилактическим мероприятиям. Он вернулся в дом, растолкал Риту и доходчиво на матерном языке доложил ей сложившуюся ситуацию.

— Куда понесём-то его? — только и спросила Рита; ей так хотелось спать, что она была согласна на всё, лишь бы скорее в постель.

— Давай к Луне. К ней у властей претензий нет.

Всю дорогу до Луны Толик материл Алку.

— Ладно, разберёмся с сукой завтра, — резюмировал он и слегка успокоился.

Луна просыпалась очень рано, ибо держала корову.

— Батюшки, — всплеснула она руками, увидев Леонида. — Никак, Леонид? Сердешный, замёрз, небось. Ох, эта водка! Провались она, — сокрушалась она, забыв, что сама, как самогонщица, активно участвовала в постепенном умерщвлении человеческих личностей.

Леонид молча смотрел на неё широко открытыми мёртвыми глазами.

— Ой! — закричала Луна, — ой-ой!

На её вопли подошёл Сашка-командор, всегда готовый помочь людям за выпивку. Вдвоём они притащили Леонида к нему в его двор, разбудили Аллу и внесли тело.

— Что это с ним? — фальшиво запрочитала Алка. Будучи спросонку, она не нашлась сказать ничего более натурального.

Политическая работа

Циклоп проснулся с рассветом от дикой головной боли, с трудом продрал глаз и осмотрелся.

Алка и Катерина тут, лежат рядышком, как голубицы, храпят. Толика нет. Видно, увёл Риту к себе; он всегда её уводит. На лавке у стены, уставившись неподвижными глазами в потолок, замер Леонид. На столе бутылка. Тошнило. Он со стоном, на карачках добрался до стола и ухватил бутылку.

«Неужели осталось? Ты смотри, не менее стакана», — удивился Циклоп, и с жадностью выпил всё до капли. Полежал. В голове круговерть, но боль ушла. На воздух надо, может, полегчает. Он выбрался во двор и двинулся к калитке, качаясь, а иногда и падая. Выпитое обдало голову жаром, но не прибавило сил. Тошнота прошла. Появились отдельные мысли, но всё происшедшее ночью не запомнилось.

В настоящий момент иное, гораздо более значительное занимало его. Он ощутил в себе мощное внутреннее горение и боль за государство в целом. Все непорядки, которые грозили стране гибелью, отчётливо выстроились в его пьяной башке. При таком ясном понимании обстановки он не мог молчать; он должен хоть что-то сделать для родного государства. Больше того, он понял, что кроме него и никому; он единственный, кому это по силам.

«Главное, это сплотить вокруг себя народ, вот что следует сделать», — он ухватился за чугунный корпус водопроводной колонки, чтобы крепче стоять, и решительно приступил.

— Я великий вождь всего государства, — произнёс он с чувством и прислушался. Мир безмолвствовал, и только брех собак да первый крик петухов стали ему ответом.

«Надо громче, а то народу не слышать», — сообразил он и усилил голос.

— Я председатель всей земли и любимый всеми вождь государства! — заорал он так сильно, что задохнулся.

— Все идите сюда, я спасу вас, — продолжал он, передохнув.

Народ, однако, не стекался к своему вождю, лишь Тамара Губанова высунулась из окна и откликнулась на его страстный призыв.

— Когда же ты замолчишь, идиёт поганый! Что же ты спать людям не даёшь!

«Тамарка, конечно, есть дура. Как ей понять, — подумал Циклоп, — отдохну себе». Он сел на камень, но не удержался и повалился набок. Встать сил нет, да и не хотелось.

Подошёл вепрь. Потрогал его копытом. Циклоп пошевелился и вперил своё единственное око в вепря. Тот укоризненно покачал рылом.

— Как Вам не стыдно, гражданин Циклоп? Как же возможно нарушать порядок таким образом? — проверив, слышит ли тот его слова, он продолжил.

— Люди за день натрудились, им требуется законный отдых, а Вы орёте, как... — вепрь остановился в затруднении подыскать сравнение, не оскорбляющее достоинства человека. Но до Циклопа уже дошёл смысл сказанного, и он приподнялся на локте.

— Ах ты, свиное рыло, — прервал он вепря, — ты ещё будешь учить меня, как да что! Вот как сейчас шандарахну промеж твоих порсячьих глаз! Не возрадуешься!

— Но-но-но, гражданин Циклоп, — наученный горьким опытом вепрь несколько отступил для безопасности. — Вы поаккуратнее. Между прочим, имею связи наверху. Некоторые, и можно сказать даже, что многие там меня знают, — он указал копытом вверх, — и ценят. Так что остыньте, гражданин Циклоп, а то схлопочете.

Поставив, как ему показалось, зарвавшегося Циклопа на место, он продолжил воспитательную работу.

— Я-то рассчитывал на Вас, гражданин Циклоп, как на человека светлого будущего, так сказать, нового человека. Ведь Вы по всем статьям подходящий. Происхождение бедняцкое, и частный сектор Вас не засосал.

На этом месте вепрю пришлось отскочить ввиду того, что Циклоп дотянулся, наконец, до хорошего булыжника и, несомненно, собирался пустить его в дело.

— Будет доложено властям! — прокричал вепрь, увернувшись от камня и убегая.

Хоронили Леонида тем же личным составом, что и убили. Денег на похороны ни у кого из них не нашлось, а гроб ему бесплатно сколотил бессеребренник и добрый человек Павлуша.

— Хоть бы материал принесли, тунеядцы, — ворчал он, строгая рубанком, — не труда жалко, а досок нет.

При этом предмет своей работы он изготовил, как привык делать всё, то есть добротнo и красиво; вымерил, выстрогал и даже подшлифовал.

Грoбовщик-любитель Павлуша.

Лошади

Тамара Губанова обычно вопила со слышимостью на полсела по всякому пустяку; это её нормальная реакция на окружающую обстановку. Но тут для её орова случился серьёзный повод: в её огород забрели лошади. Жеребец и кобыла.

Каждый житель ревностно оберегает свой огород от кур и прочей живности, огораживает штaketником и бдительно охраняет. А тут лошади! Мощные животные. Ну что останется от огурцов, помидоров и прочих овощей после того, как по ним протопают лошади!

Поэтому вопли, которые издала Тамара, звучали впечатляюще.

Все соседи немедленно вооружились кто чем и вышли на охрану своих рубежей, то есть границ своих усадеб.

Гражданам села предстала следующая живописная диспозиция. Впереди шла кобыла, а с некоторым отставанием ковылял стреноженный, так сказать, опутанный жеребец. Было ясно видно, что он возжелал её, но пути мешали. Тем не менее, он упорно пытался её догнать, хотя и безуспешно.

Кобыла со своей стороны, хотя и уходила, видимо, понимая, что от спутанного толку всё равно не будет, но уходила не так уж решительно. Она то и дело замедляла ход и делала это весьма непринуждённо, всякий раз находя благовидный предлог: то хорошую травку найдёт, то поглазеезт куда.

Состояние жеребца прекрасно и выразительно изобразила глухонемая Пяня. Она стояла у своей скамейки, вооружённая дрыном и готовая, не щадя сил, защищать родной огород. Пока лошади находились на Губановской территории, она веселилась от души, хваталась от смеха за бока и любовалась лошадьми, особенно жеребцом. Так вот, она предельно выразительным жестом, с помощью обеих рук изобразила, как выглядел и какое имел направление у жеребца заинтересовавший её орган.

Жест этот, вообще-то, вульгарный и даже похабный, для Пани был вполне допустимым как единственно доступный ей способ передачи информации. Однако, изображая жеребца, она потеряла бдительность, чем незамедлительно воспользовались изгнанные Тамарой лошади и проследовали в её огород.

Паня спохватилась и начала самоотверженную борьбу. В результате ей удалось оттеснить лошадей в соседний сад к Федулкиным, где в свою очередь мгновенно возникла паника и крики.

Так и гоняли они животных с одного огорода на другой, пока не подоспел многоопытный в лошадях Кувшин. Он мгновенно усёк ситуацию, сосредоточил внимание на кобыле, ухватил её за повод и повёл прочь. Жеребец пошёл следом.

Ультиматум

Многих в Скуратово пожрала гражданская бойня. У Жарковых убили Виктора, отца Леночки, а жена Георгия Мария сгорела в тифозном жару. Остались в доме сам Георгий, дочь его Татьяна да внучка Леночка, в которой и заключалась теперь вся его жизнь. Уцелел, но с простреленной грудью вернулся Василий Травин.

А селом, выполняя директивы вышестоящей власти, правил Ванька, и жизнь становилась совсем невозможной.

Георгий и Василий возвращались с охоты. Время шло к зиме, зайцы жирели и во множестве бегали в окрестностях села. Охота вышла удачная, и каждый нёс в мешке по три крупных упитанных русака. Рядом бежал сильный, как волк, Сурган.

Настроение, однако, у охотников было мрачное. Георгий больше молчал, и если изредка отвечал Василию, то чаще всего невпопад; тяжёлые думы не покидали его.

— Слушай, Вася, — сказал он, — уеду я, не даст мне житья Корытов. Вчера приходил со своим этим мужиком Гришкой; шастали по двору, высматривали моё хозяйство, — Жарков помолчал. — Говорят, бумага прислана из города. Будут всё отбирать у зажиточных. Конечно, жалко, и всё бы ничего, но ведь и меня возьмут. Сколько уж народу взяли, и ни слуху, ни духу.

— Куда поедешь? Как жить будешь? — озабоченно спросил Василий.

— Поеду в город, меня там не знают, затеряюсь. Устроюсь на завод, не пропадём. Что возможно, захвачу с собой, продам, будет на

первое время, — он помолчал, — здесь оставаться мне решительно невозможно.

— Так ведь документ нужен, — возразил Василий, — Ванька не даст, а в городе без документа сразу попадёшься.

— Стану просить у Корятова; что ему за корысть меня держать, а я ему денег дам, подарю что-нибудь. Я вчера его угостил. Он выпил, и я намекнул ему о своём деле, так он промолчал, но и не заругался. Но оставаться здесь мне никак нельзя.

Василий с сомнением покачал головой; не доверял он Ваньке.

— Дом свой я оставляю тебе, Вася; что же тебе ютиться в тесноте, вон уж сколько у тебя ребятишек. Как уеду, переходи. Это я говорю твёрдо, не сомневайся, ты мне ближе всех в родне; никому другому не отдал бы, тебе отдаю.

Что и говорить, дом Василию весьма кстати, да ещё такой. По сельским меркам дом превосходный, сложенный из красного кирпича со вкусом, по особому рисунку и под железной крышей.

Жарков ходил к Ваньке и пригласил его к себе поговорить, да, кстати, выпить и закусить.

Ванька приглашение принял, хотя и покочевряжился, что, дескать, дел полно, время праздну проводить не привык, но из уважения... в общем, на следующий день явился, как, говорится, не запыхался.

Угостил его Жарков на славу; водки вдоволь, и стол в изобилии уставлен разнообразной закуской. Присутствовало и отварное мясо, и свиное сало, и зайчатина, и всякие соленья-варенья. Ванька с аппетитом пил, ел и пребывал в полном ублажении. Ещё бы, такой уважаемый в селе человек считает за честь для себя принять и угостить его, Ваньку Корятова. Ванька тешил своё самолюбие, от спесивости дурел и говорил всяческие глупости.

Наконец, Жарков коснулся главного, ради чего он угощал Ваньку.

— Уеду я, Иван, совсем, выдай мне документ. Если что тебе нужно, скажи, отказа не будет.

Ванька ожидал этого разговора. Он долго молчал, как бы в раздумье, а затем вынес свой приговор.

— Бумагу тебе я выправлю, а ты мне оставишь свой дом.

Жаркова как громом ударило.

— Иван, дом я обещал Травину Василию, ты знаешь, в какой он тесноте. Отдам всё, что захочешь, но не дом.

— Оставишь дом, ясно? — Ванька злобно посмотрел на Жаркова, — я сказал, а ты как знаешь. Дом и так отберём, и без документа, — добавил он со злорадством.

Ванька не отказал себе в удовольствии поиздеваться над Жарковым. Он бесцеремонно налил себе ещё водки, выпил и, не поблагодарив хозяина за хлеб-соль, ушёл.

Георгий остался в совершенном расстройстве и места себе не находил. Затем он поднялся, пошёл к Василию и всё ему рассказал.

Огорчило это Василия, да делать нечего; он хорошо понял состояние Георгия и его безвыходное положение. Больше всех расстроилась Дуня; всю ночь она проплакала, но к утру успокоилась, да и времени на переживания в её непрерывных трудах не оставалось.

Бегство

Георгий подписал Ваньке дарственную на дом и все дворовые пристройки, а взамен получил бумагу, позволяющую ему уехать из села. Георгий предполагал собраться как следует и выехать через несколько дней, однако, Ванька предупредил его, что из волости получена инструкция: отобрать у зажиточных селян имущество, то есть, раскулачить их, а самих под охраной препроводить в Таруту.

Кто знает, возможно, никакой такой инструкции и не существовало, а просто Ванька желал скорее избавиться от Жаркова и въехать в дом. Возможно, но, так или иначе, получив такую информацию, встревоженный Георгий стал спешить с отъездом.

В тот же день он отобрал самое ценное из своего добра, надёжно увязал, погрузил в телегу и запряг лошадей. Быстро темнело. Стараясь не привлекать внимания соседей, Георгий с Татьяной сходили к Травинным и простились. Мужчины не стеснялись своих слёз, а женщины горестно рыдали о предстоящей разлуке, возможно, навсегда.

Затем Жарковы возвратились к себе, уселись в телегу, в последний раз взглянули на своё жилище, двор, сад, и выехали. Они бежали из родного гнезда, как преступники, хотя жили по образу и подобию своих предков, честно трудились, зла никому не причиняли, людей уважали и, тем паче, никакого преступления не совершили.

Угасающий день был ясен и сух, однако, громыхание и всполохи молний со стороны Таруты очевидно предвещали грозу. Телега спустилась к мосту через речку Чернь, когда резкие порывы ветра и крупные капли дождя хлестнули по беглецам; Георгий извлёк из мешка прочный брезент и укрыл им внучку и дочь. Непогода усиливалась; шквальный ветер рвал брезент и забивал воду под одежду. Совсем недавно чистое небо почернело, исчезли алмазные россыпи звёзд и

луна, тьма сгустилась настолько, что дорога стала едва видна. Теперь гром грохотал ужасно и без перерыва, а молнии пугающе били совсем близко.

Леночка прижалась к матери и со страхом глядела на разбушевавшуюся стихию.

Ехали, что называется, на ощупь. Лошадь процокала по мосту и, сменив рысь на шаг, пошла в гору, когда в повозку со страшным грохотом ударила молния. На мгновение оглохший и ослепший Георгий пришёл в себя и бросился смотреть, все ли целы.

Татьяна отозвалась, но Леночка молчала.

— Леночка! — закричал Георгий в страхе, — Леночка, как ты?

Девочка не отвечала; она потеряла сознание. Дед с матерью звали её, тормошили и растирали тельце.

— Леночка, открой глазки, — умоляла со слезами Татьяна. Девочка молчала.

Обезумевший Георгий, забыв все свои недавние опасения, погнал лошадь обратно в село. Только спасти внучку, лишь бы успеть. Они въехали во двор. Георгий зажег лампу; Татьяна внесла девочку и положила на кровать. Всякими способами пытались они привести её в чувство, но, увы, их усилия оказались тщетными. Леночка оставалась в прежнем бессознательном состоянии.

Георгий быстро разгрузил телегу и погнал лошадь в Таруть за врачом.

Лишь в середине наступившего дня привёз он врача из волостной больницы. Врач осмотрел Леночку и сказал, что она мертва.

— Не может быть! — закричал Георгий,

— Нет, нет, — прошептала Татьяна и опрокинулась замертво, а очнувшись, завывала, как волчица, потерявшая своего волчонка. Она сидела возле дочери, неотрывно смотрела на неё, выла и рыдала.

Врач пошёл с Ванькой Корытовым в контору и выписал бумагу, удостоверяющую смерть девочки Елены десяти лет отроду.

Похороны Леночки

Девочка лежала в своём родном доме в гробу, установленном на стол посреди комнаты. Усыпанная цветами, хотя и бледная, она, казалось, спала и никак не выглядела мёртвой.

Рядом находились рыдающие мать и бабушка, а соседи и родственники тихо, чередой проходили ко гробу, всматривались в спокойное

лично, укладывали цветы и, постояв немного, молча выходили во двор. Там они присоединялись к людям, собравшимся проститься с ребёнком, а также выразить своё сочувствие деду и матери в их горе.

Тут же и Корытов, взявший на себя организацию похорон как местная власть.

Старушка Пелагея вошла во двор и присоединилась к группе женщин.

— Лежит, как живая, — делилась своим впечатлением женщина.

— Ах ты, деточка, — вздохнула горестно Пелагея и вошла в дом. Она обняла убитую горем мать и прошептала ей слова утешения, затем подошла ко гробу и некоторое время смотрела на девочку.

На лице Пелагеи проявилось странное выражение, очень не соответствующее общему настрою прощания с покойницей. Она обошла гроб и стала смотреть с иной стороны; какие-то колебания и сомнения одолевали её всё сильнее. Она ещё постояла, дважды обошла гроб и вышла во двор. Встав в сторонке, она погрузилась в глубокую задумчивость, затем помолилась, несколько раз перекрестилась и вновь задумалась.

Наконец, в чем-то уверившись, она нашла глазами Георгия и подошла к нему.

— Георгий, подожди хоронить Лену, — тихо, но твёрдо сказала она. Тот вздрогнул и недоумённо посмотрел на бабуку.

— Почему?

— Подожди денёк. Я знаю, что говорю.

— Да ведь нельзя, Пелагея, — в растерянности стал говорить он, — третий день пошёл. Сегодня надо хоронить. Так положено. И председатель не разрешит тянуть, нарушать порядок. Врач был. Вот бумага.

Пелагея сердито посмотрела на него.

— Смотри, пожалеешь, — и отошла.

Бабуку Пелагею в селе уважали: много пользы давала она людям своей мудростью и умением. Могла заговаривать различные болезни и спасла многих; выправляла вывихи и правила животы, в особенности бабам. Доброта её общеизвестна.

Георгий постоял в сомнении, затем, решившись, подошёл к Корытову и пересказал ему слова бабушки Пелагеи.

— Ты что! — сходу взвился тот. — Кого слушаешь! Эту знахарку?! Ты что, не знаешь, как власть относится к этой нечисти? Мало мы их прижимаем, развелось их, мать...

— Так ведь это, Иван, — пробовал было объяснить Георгий, — ты же знаешь, Пелагея не вредная, она помогает.

— Да всё я знаю, — оборвал его Корытов, — при чём тут это? Врач был? Был. Бумагу выдал? Выдал. Не дури. Хоронить надо сегодня. Порядок должен быть, понял? Как ты объяснишь, если что. Скажешь, бабка посветовала? Это ты можешь, а мне нельзя. Я власть. В общем, я сказал. Всё.

Корытов в раздражении зашагал по двору, топая сапогами.

— А бабку я упеку. Ты ей так и передай. Да и ты, хвост-то ужми. Я ведь недолго тебя терплю. Понял? — он недобро усмехнулся.

Пелагея стояла совсем близко, однако Корытов сам не решился подойти к ней, так как, хотя и был властью, обязанной бороться с религией и знахарством, но в глубине души верил в бабкин опыт и дела.

В этот же день Леночку предали земле.

А на следующий день, часа за два до сумерек, мимо кладбища по пути из стада проходил Кувшин. Ветер отсутствовал, и тишина стояла полная. Только едва ощутимое ухом жужжание да почти беззвучный шелест и стрекот насекомых; вот и все звуки. Внезапно Кувшину послышался очень слабый детский крик и плач. Он остановился, посмотрел по сторонам, но убедился, что никого поблизости нет. Решив, что крик и плач ему почудились, он двинулся своим путём, но крик и плач повторились.

Кувшину стало не по себе. Он свернул на кладбище, подошёл к могилам и убедился, что услышанные им звуки яснее всего ощущаются возле свежей могилы Георгиевой внучки, захороненной вчера. Он вновь оглядел всё вокруг, но тщетно, никого из людей поблизости не было. Тогда он встал вплотную к свежей могиле, напряженно вслушался и явственно услышал очень слабый детский крик и плач.

Сомнения покинули Кувшина. Он опрометью бросился в село, ворвался в дом, отозвал Георгия во двор и свистящим от волнения шепотом рассказал ему об услышанном им на кладбище.

Георгий побледнел, схватил лопату и позвал Василия. Втроем они побежали на кладбище. За ними пошли ещё люди.

Невыносимое

Проснулась Леночка в совершенной темноте. Некоторое время она лежала слабая от болезни, встать не хотелось.

«Полежу ещё», — подумала она и закрыла глаза. Однако, сон не шёл, и тут она почувствовала неудобство: лежать жёстко, как на

досках. Она ощупала своё ложе и обнаружила, что и в самом деле лежит на досках.

Это обстоятельство её удивило и немного беспокоило.

«Где же это я завалилась?» — подумала она, стараясь припомнить, какое место в доме послужило ей кроватью.

— Мама, — позвала она и удивилась странному, необычному звучанию своего голоса. Как в кадлушке. Она прислушалась, и её поразила глубокая тишина вокруг: не слышно ни единого звука. Ни кудахтанья кур, ни лая собак, ни всяких иных стуков, скрипов, шагов и всего прочего, что было привычно её слуху. Ну то есть совершенно ни звука. Одна лишь тишина.

— Мама, мама, — вновь позвала она, и звук её голоса, как и в первый раз, остался при ней.

Она решила встать и стала переворачиваться на бок; при этом движении рука её ударилась о какую-то преграду наверху. Она испуганно ощупала верх и обнаружила, что преграда расположена близко, у самого лица. Она сделала попытку убрать её, надавила ладошками, но преграда не поддавалась. Тогда она попыталась выползти влево, затем вправо, но всюду наткнулась на стенку.

И теперь Леночке стало страшно.

— Мама, мама! — закричала она во весь голос. Ответом ей по-прежнему была тишина. Оглушительная тишина.

Своим детским разумом она не осознавала того, что случилось. Не могла осознать, что лежит она в гробу. Не могла даже представить себе ничего подобного.

— Мама, мама, мамочка, — отчаянно уже не звала, а кричала она. Ведь не могла же мать, давшая ей жизнь, не прийти на помощь!

— Спаси меня, мама, вытащи отсюда! — ужас охватывал её всё сильнее. Тишина давила и ужасала.

— Где же я? — захлебнулась рыданиями бедная девочка. Она кричала и рыдала, била кулачками вверх, в стороны, но всё было тщетно. Она не могла пробить ни доски, ни тишину.

Страх и отчаяние захватили её настолько, что она ничего не сознавала, а только билась и кричала. Вскоре она ощутила недостаток воздуха и удушье. Она на некоторое время притихла, но дышать становилось всё тяжелее, наконец, удушье стало невыносимым. От ужаса и удушья девочка обезумела; она продолжала кричать, но голос её охрип и всё более слабел. Лёгкие и сердечко требовали воздуха, которого уже не было.

В смертельном удушье она рвала грудь, горло, металась, и наконец погрузилась в небытие. Сознание покинуло её, а вместе с ним исчезли и муки.

А в это время мать её, Татьяну, откачивали водой и валерьянкой; женщина смотрела безумными глазами и захлёбывалась слезами.

— Задремала я, как в дурноту опрокинулась, — рыдая говорила она, — и вдруг слышу так, внятно-внятно Леночка плачет и зовёт меня. Что же, говорит, ты, мама, меня живую закопала? Скорее спаси меня, и тянет ко мне ручки.

Женщины в сочувствии смотрели на неё, поили валерьянкой и утешали.

Георгий и Кувшин исступлённо разрывали могилу.

— Скорее, скорее, — хрипел Георгий, швыряя наверх землю и подгоняя себя.

Докопав до крышки, они приподняли её и сняли. Леночка лежала на боку. Широко открытые глаза и лицо застыли а невыразимом ужасе. Погребальное платьеце разорвано на ворота и груди. Шея, грудь и руки расцарапаны и окровавлены. Губы искусаны в кровь.

Георгий некоторое время остолбенело смотрел на внучку, затем покачнулся и без памяти рухнул на гроб.

Когда он обрёл себя, то увидел Василия, стоящего с котелком воды, мужиков вокруг и себя, лежащего на траве и облитого водой.

— Вася, — произнёс он с мукой, — поправь Леночку, закрой гроб и сделай могилу, — он обхватил голову ладонями и застонал. — Не говори Татьяне. Она не выдержит.

Он уронил голову и зарыдал, скорее завыл в своём горе. Мужики стояли, потрясённые неслыханной трагедией.

— Георгий, смотри, ты совсем седой, — Василий дотронулся до его головы.

Жарков махнул в полной безнадёжности рукой и с трудом встал.

Смертельное слово

Тамара Федулкина протиснула своё толстое тело в калитку и подошла к Татьяне, сидящей на скамейке перед крыльцом.

— Такое у тебя горе. Прямо сердце разрывается, — участливо сказала она, одновременно шныряя глазами по двору. — Ты не отдашь мне вон ту детскую тележку? Тебе она теперь не в надобность.

— Бери, — безразлично ответила Татьяна.

Тамара не торопилась уходить, намереваясь выпросить ещё что-нибудь; она поставила тележку возле себя и продолжила разговор.

— Надо же такому случиться, и как это доктор не досмотрел?

— Что не досмотрел? — встрепенулась Татьяна.

— Ну, это я к тому: если доктор смотрел Лену, то как же он не определил, что она жива?

«Мелет сама не знает что», — подумала Татьяна и спросила:

— Ты к чему это?

Недостаток ума у Тамары Федулкиной был замечен ещё в раннем детстве. Зато его восполняла хитрость, которой с лихвой хватало, чтобы жить в материальном достатке. Сочувствовать от души она могла только самой себе, а такое важное в общении людей понятие, как деликатность, в ней отсутствовало начисто.

По этой причине на вопрос Татьяны она и бухнула:

— Да к тому, что не похоронили бы тогда твою Лену вживую.

Только выговорив эти слова, она осознала, что натворила, и захлопнула ладонью рот, да поздно.

Услышанное было для Татьяны настолько страшным, что смысл его дошел до неё не сразу. Татьяна сидела с широко открытыми глазами и силилась понять, но едва она приблизилась к пониманию, как не выдержала и помешалась. Господь дал ей силы пережить потерю мужа и дочери, но их оказалось недостаточно, чтобы выдержать ещё и это.

У Татьяны началась сильнейшая горячка, и в тот же вечер от нестерпимого жара в голове и с разрушенным сознанием она скончалась.

Георгий похоронил дочь и ушёл из села. Осталось непонятным, как у Георгия хватило сил вынести невыносимое.

Облава

— Зря ты его отпустил, Иван, — сказал Гришка.

Они сидели в горнице дома Жаркова за большим обеденным столом: справляли Ванькино новоселье.

Гришка опрокинул стакан самогона и с наслаждением захрустел огурчиком из Жарковского погреба.

— Подведёт он тебя под монастырь. Вот и Ефросий скажет. Верно говорю, Ефросий?

— Как пить дать, подведёт, — прохрипел вебрь, хотя рыло его не очень-то приспособлено для человеческой речи.

Ванька очумело посмотрел на него. За время общения с Гришкой он перестал удивляться, но чтобы вебрь так рассуждал... он только махнул рукой.

— Ты, Иван, лучше на себя удивляйся. Совсем перестал соображать. Ну что ты отчудил, зачем отпустил Жаркова?

— Так договорились же. Вот он и дом отдал, — резонно ответил Ванька и повёл руками.

— Дом отдал, — передразнил его Гришка, — тью-тью будет твой дом, — злорадно добавил он.

— Верно, Ефросий?

— Тью-тью и будет, — подтвердил и вебрь, с наслаждением вылизывая остатки самогона, который ему плеснул в миску добрый хозяин.

— Вот доберётся Жарков до города, — продолжал Гришка, — станет искать работу, придёт на завод, а там спросят, «кто такой, откуда, предъявите паспорт, гражданин». Из села я, ответит Жарков и покажет справку, которую Иван ему выправил. Так-так, — скажут ему, это по какой же законной причине тебя из села отпустили и справку выдали?

— Ты вот, Иван, скажи нам с Ефросием. А ты, Ефросий, слушай, что он нам с тобой сбредет.

Почувствовав важность приобщения к государственным делам хозяина, вебрь приосанился и даже встал на все четыре копыта.

— Скажи, почему в селе людям паспорта не выдают?

Ванька молчал, не зная, как на это ответить.

— Неужели не знаешь? — после паузы удивился Гришка, — Ефросий, он не знает, а ведь он есть власть. Кому же тогда знать-то? Ох-ох-ох, Ефросий, какие же мы с тобой несчастные, что над нами такая власть!

— Дурак потому что, — глубокомысленно изрёк вебрь, пытаясь почесать копытом правый бок.

— Истинно, дурак, — согласился Гришка, — а не выдают для того, дурья твоя голова, чтобы люди сидели на одном месте, работали на земле и отдавали властям сельскохозяйственный продукт. И чтобы находились под рукой, под присмотром у начальства.

— За людьми догляд нужен, — убеждённо произнёс он, — и ежели что, прижать кого надо. Кто там несогласный? Чтобы вот, глазом пересчитать: Манька, Тоська, Федька... все тут. А то ведь, дай им волю, они от такой паскудной жизни разбегутся по государству, аки тараканы. Какой уж тогда догляд! А теперь смотри, если и убежал человек, так

его легко и поймать. Видишь, бежит, по облику из села, а покажите паспорт. Нету. Как нету? Али не знаете, что должны сидеть в селе безвыездно? И р-раз его обратно в банку! — Гришка немного подумал, — А можно ещё куда, где надобней. В холодные места, государству помогать. Народ везде надобен. Верно, Ефросий?

— Верней не бывает, чистый верняк, — важно согласился тот, — ох, и мудр ты, хозяин! У меня даже хряк спёрло, как ты по-учёному этому дураку всё объяснил.

— Ну будя, нам не до учёных мудрствований, Ефросий. Теперь слушай дальше. Посмотрят его справочку, это я про Жаркова, через оконное стёклышко на свет и всё, как есть, увидят. Кто выдал? Корытов Иван, начальник. Какой же это начальник, коли по делам своим есть чистый враг? Жарков, конечно, в ноги, «простите». Что ж, скажут, «простите», ты наперёд скажи, за какие такие красивые глаза этот начальник тебе справку выправил? Может, тогда и простим. «Дом я ему отдал свой». Ну, дальше, Ваня, как водится. Дом у тебя, конечно, отберут, а тебя, надо думать, шлёпнут, чтобы не срамил власть. Что ещё с врагом делать-то? Сам знаешь. Верно говорю, Ефросий?

— Шлёпнут, как пить дать, шлёпнут, аки муху, — изрёк вепрь.

Гришка посмотрел на него с одобрением.

— Ишь ты, как Ефросий у меня разговорился, так и шпарит поговорками.

Ванька сидел ни жив ни мёртв. «Верно толкует Григорий. Всё так и будет. Что делать?!»

— Далеко он не ушёл, — твёрдо сказал Гришка, — до Тарути враз не доберёшься, да ещё с пожитками. Заночует в Крестах, и мы его там настигнем, настигнем и посежём. Верно, Ефросий?

— Чего тут хитрого, хозяин, посежём, и баста.

— Пошли, Иван, пока не ушёл он из Крестов. Ищи тогда ветра в поле.

— Иголку в стогу сена, — мудро уточнил вепрь.

Они торопливо вышли из дома во двор и прошли улицу в сторону Крестов.

— Ефросий, бери след!

Сверкающая серебром луна хорошо освещала окрестности; под её вибрирующим светом возник особый иррациональный, таинственный, наполненный ужасом мир со своими критериями реальности.

Рвущаяся вперёд тройка, окутанная зеленовато-бледным призрачным светом, решительно выражала свою особую реальность подлунного мира; как нельзя естественнее вписывалась в него. Впереди, уве-

ренно держа след, напористо бежал вепрь, фанатично преданный хозяину и беззаветно помогающий ему во всех делах.

За вепрем неотвратимо, как судьба, следовал Гришка, почувявший кровь и торжествующий в насилии и в сладостном ощущении обречённости своей жертвы.

Позади бухал сапогами мятущийся Ванька, охваченный страхом перед разоблачением и вероятной потерей вожделенного дома, но вместе с тем и сильно уставший от воровства и насилия.

В душе у Ваньки произошёл поворот. Его натура, испорченная и способная ко злу, тем не менее, дошла до предела. В мешок невозможно насыпать больше, чем он способен вместить. В последнюю ночь впервые в жизни появились у Ваньки странные и непривычные ему ощущения. Он вдруг вспомнил, с каким добром относился к нему Жарков, как не загубил его после воровства. Усмотрел, что не столь жалко тому было украденного, как жаль самого Ваньку.

Однако, после таких кратковременных нравственных просветлений прежняя натура снова брала верх, и он бежал за Гришкой к новому злодейству. Словом, Ванька стал уже не совсем тот, кем был, и хотя он участвовал в погоне, но уже без ярого желания нанести вред Жаркову.

Изгнанник

Георгий шёл не спеша, полагая, что торопиться ему нет причины. Мешок за плечами, хотя основательно заполненный взятыми в путь продуктами, его не обременял. Это всё имущество, что у него осталось. Место, где его родили и где он жил, стало запретным для него. Ограбленный и униженный, он уходил в изгнание, в никуда, а душа кровоточила от несчастий, обрушившихся на него.

«В Крестах отдохну часок и двинусь дальше», — подумал он.

Идти тёплой летней ночью приятнее, чем в дневную жару. Спать не хотелось. Он пересёк накосьяк большое ровное поле, хорошо освещённое лунным светом, и на опушке леса присел на берёзовый пенёк.

«В чём моя вина?» — в который раз задался он вопросом, который сверлил его мозг.

«Ванька назвал меня врагом. Какое же зло я совершил? Всю жизнь трудился и никого не обижал. Того же Ваньку разве я обидел? Другой на моём месте выгнал бы его, да ещё в полицию бы сдал. Ванька вор. Но он во власти, а я, вроде, враг».

Обстоятельства Георгия выглядели настолько нелепыми и в то же время трагичными, что, сколько он ни размышлял, ни к чему путному прийти не мог. Он покидал родные места, а душа оставалась, страдала и не хотела уходить. Погружённый вот в такие невесёлые мысли, сидел Георгий на пеньке, когда неожиданно услышал совсем близко крик ворона.

«Как это может быть, — подумал он, очнувшись от мыслей, — вороны ночью спят». Но крик повторился ещё ближе, и в ярком свете луны Георгий действительно разглядел ворона, стоящего не далее, чем в двух шагах от него. Ворон каркал и упорно смотрел на Георгия своим единственным глазом, как бы желая убедиться, всё ли тот понял.

«Что ему надо?» — с удивлением подумал Георгий и окинул взглядом лежащее перед ним поле.

На противоположной стороне он отчётливо увидел двух человек. Они шли той же дорогой, по которой только что прошёл он; впереди бежала собака. Георгий обернулся на ворона, но не обнаружил его ни у пенька, ни где ещё поблизости. Ворон исчез.

Люди быстро приближались. Георгий ещё всмотрелся и к своему ужасу понял, что ошибался. То была не собака, а свинья! Теперь он узнал их.

Гришка всюду ходил со своим кабанчиком, и спутать эту отвратительную пару с кем-то ещё решительно невозможно. Ну и, конечно, Ванька. Кому же ещё быть? Одна компания. Зачем они тут? Впрочем, сомневаться не приходилось: ограбили, но теперь решили, что мало. Надо уходить. Думают, что я в Крестах заночую, значит, туда мне заказано.

Георгий свернул с дорожки и пошёл вправо через лес.

Он прошагал пару километров и уже решил, что избавился от преследователей, однако, стоило ему сбавить шаг, как услышал треск сучьев и топот ног. Его нагоняли.

«Кабан ведёт по следу», — догадался он и, изменив направление, пошёл широким шагом опытного охотника; для Георгия это обычное дело. Случалось, по пятьдесят километров в день хаживал.

Волк ставит диагноз

Из дремоты волка вывел отдалённый, но подозрительный шум. Он прислушался и вскоре различил шаги людей и дробный топот животного. Он глянул на открывшую глаза волчицу и вылез из логова. Повёл головой, ещё прислушался и лёгкой рысью отправился в

сторону шума. Подобравшись достаточно близко, он залёг и стал наблюдать.

Вскоре он увидел человека и узнал в нём того охотника, который несколько лет назад подарил ему жизнь. Охотник шел очень быстрым шагом, напрямик через лес, не придерживаясь удобной тропинки, и казался очень встревоженным. Волк проводил его взглядом и продолжал наблюдать. Через короткое время на поляну выскочил вепрь, а за ним мужик с беспощадной физиономией и горящим глазом. Вепрь бежал, припав к земле длинным рылом, несомненно, по следу охотника.

Вепрь и мужик выглядели настолько необычно и угрожающе, что у волка шерсть поднялась дыбом, и он немного отполз.

Чуть отставая от зловещей пары, показался ещё один человек; он старался не отставать, но, в отличие от мужика с вепрем, в нём не чувствовалось их решительности. Более того, его походка и весь облик свидетельствовали о внутреннем смятении.

Волк отступил в глубину леса, опасаясь, что вепрь его учует. Тот и в самом деле воспринял запах волка, но, охваченный погоней, не мог себе позволить отвлечься на такой пустяк. Волк успокоился и хотел уйти, но не ушёл. Увиденное поразило его своей бессмысленностью. Люди устроили облаву на человека. Охотника, у которого хватило сострадания, чтобы пощадить его, волка, теперь самого гнали, как зверя. И это не ради пищи; волк знал, что люди не едят мясо себе подобных.

Тогда для чего?

«Люди могущественны и мудры, — размышлял волк, — но они, вероятно, больны. Не все, конечно, вот, к примеру, охотник не болен, а те, кто его гонят, определённо больны. Мы, волки, уважаем законы общения, но и среди нас есть поражённые бешенством, которые нападают на себе подобных, чтобы бессмысленно растерзать их. Несомненно, это болезнь».

Довольный, что он нашёл объяснение казалось бы совершенно непонятному, волк ещё немного выждал, да и потрусил, не торопясь, к себе в логово. Волк был здоров, поэтому пожалел охотника.

Спасение

Георгий ушёл далеко вперёд, остановился и прислушался. Вначале тишина, затем снова шум погони.

«Наверняка, кабан идёт по следу, необходимо что-то придумать». Он, не останавливаясь, прошёл не менее двух часов, перешёл пару ручьёв, предварительно проплёпав по течению, чтобы сбить кабана со следа, совершил несколько запутывающих кругов, применил и ещё известные ему способы, но едва остановился и перевёл дух, как тут же услышал погоню.

Не уйти! Этого кабана не собьёшь.

Гонка продолжалась несколько часов, ночь подходила к утру, и он не видел выхода. Отчаяние сменилось безразличием. Он присел на корягу и сидел с закрытыми глазами в полном отупении. Внезапно он ощутил присутствие. Он глянул перед собой и увидел небольшого человека, можно сказать, карлика с очень выразительным и подвижным лицом, стоящего неподалёку. Уперев щеку о ладонь и пригорюнившись, он смотрел на Георгия и плакал.

— Отчего ты плачешь? — спросил его Георгий; его вовсе не удивило появление карлика.

— Так ведь, нечем мне тебе помочь, а ты так нуждаешься в помощи. Как тебя обидели, как обидели, — карлик зашёлся в плаче, — я-то хотел сделать для тебя хоть что-то, а теперь вижу, ничто тебя не порадует. Ты перешёл через край.

— Ты прав, — согласился Георгий, — мне теперь ничего не нужно.

— Нет, нужно! — неожиданно запротестовал карлик и даже перекосился в негодовании. — Ты сам не знаешь, как нужно. Ступай в село, там тебя ждут.

— Как же ждут, если некому меня ждать? Разве что убийцы?

— Им воздастся, а тебя ждут совсем по-другому. Ждут, — убеждённо повторил Карлик, — ты обретёшь, наконец, покой, который у тебя отняли, — он скривил рот в плаче и растворился.

Теперь неодолимое желание вернуться в село охватило Георгия; его звали в село, и это был зов на духовном уровне, выше всяких ощущений, обычно испытываемых человеком. Опасность преследования, материальные потери и прочие напасти, мучившие его всю ночь, показались ему мелочными, пустыми, не стоящими ровно ничего.

«Удивительно, — подумал он, — как я мог бояться этих подонков. После всех моих потерь. Да провались они все».

Георгий решительно поднялся и зашагал в сторону села. Шёл открыто быстрым шагом и вошёл в село, когда уже светало. Он прошагал мимо своего дома, не останавливаясь, миновал церковь, некая сила направила его дальше. Он приблизился к кладбищу и, не раздумывая, двинулся к Леночкиной могиле.

Стало совсем светло, и он ещё издали разглядел маленькую фигурку, стоящую внутри ограды. Георгий подошёл ближе и увидел внучку. Она стояла, оборотась к нему, и с очевидным нетерпением ждала его приближения, делая ручками жесты. Георгий подошёл вплотную и не сводил с Леночки глаз. Она протянула к нему свои ручки и улыбнулась.

— Дедушка, я так ждала тебя, отчего же ты не шёл так долго?

— Как же, — ответил он, — видишь, я пришёл. Раньше никак не возможно было.

— Тебя преследуют эти дурные люди?

— Да, еле убежал, — и после паузы он высказал то, что тяжким камнем лежало на его сердце, — Ты винишь меня, милая?

— Нет, дедушка, ты не виноват. Разве я не понимаю? Это раньше, когда я была ребёнком... а теперь всё понимаю. Это Ванька виновен, вот кто. Он очень скверный. А ты, дедушка, я же знаю, как ты меня любишь!

— Конечно, милая, я так тебя люблю.

— А их ты не бойся, — сказала она просто, — ты иди ко мне. Я спрячу тебя, и у них ничего не получится.

Георгий прислушался.

— Слышишь, Леночка, вон идут они, мои мучители.

— Не бойся их, дедушка, иди ко мне.

— Иду, милая, — он открыл калитку и вошёл.

Промахнулись

Вепрь бежал во всю прыть, так что мужики едва за ним поспевали.

— В свой дом идёт, — не сомневался Ванька, — так я и знал, передумал он. Неужели отымут дом? — метался он в опасениях.

— Ишь, повернул к себе, — прохрипел Гришка, — словно волк. Того сколь ни гоняй, а всё одно, развернёт к логову. Не уйдёт!

— Чую ясно, не ошибусь, — уверенно шёл вепрь. Он вбежал на кладбище, и некоторое время вся тройка протискивалась в лабиринте могильных оград.

Они увидели Жаркова. Подойти к нему они, однако, не смогли; некая сила удерживала их на расстоянии от него.

— Ух, — в великой досаде скрипнул зубами Гришка, — ушёл, не дал посечь.

Он с глубоким сожалением посмотрел на свой топор и сплюнул.

— Теперь можно и отдохнуть, дело сделано, — вепрь улёгся на траву.

Ванька смотрел на Жаркова и глаза его блуждали, он силился сказать, но не мог. Наконец, его прорвало.

— Не хотел я этого, Георгий, не хотел. Это всё он, — в злобе Ванька обернулся к Гришке, чтобы изругать того последними словами, сказать, что довольно всего этого... но в ужасе отпрянул.

Гришка в упор смотрел на него. Глаз его горел адским пламенем, а сам Гришка имел столь ужасный вид, так мало походил на человека, что Ванька онемел.

«А, — догадался он, — так и он заодно с ними. Отнимут дом, отнимут дом», — мысленно передразнил он Гришку. В голове у Ваньки всё перемешалось, а сознание перекошилось. Он развернулся и, не помня себя, зашагал, почти побежал, прочь.

Кувшин отвёл свою корову в стадо и возвращался в село мимо кладбища, когда заметил нечто тёмное. Он подошёл к могиле и увидел Жаркова, лежащего на спине рядом с Леночкиным надгробием. Открытые глаза Георгия смотрели в небо, а лицо выражало величайший покой и встречу с миром.

Кувшин опрометью бросился в село и быстрее радио оповестил всех о своей страшной находке.

Хоронили Георгия всем селом, и не было человека, даже самого вздорного, который бы не вспомнил о нём с добром и не пожелал ему Царство Небесное.

Положили его в одну ограду с Леночкой, которая любила его и спрятала у себя от зла. Внучка сделала всё, что могла для своего дедушки.

Страх за дом

Казалось, со смертью Жаркова станет Ваньке спокойнее, а не нет. Опасения его за дом, не только не исчезли, но даже усилились.

— А если кто узнал или Жарков успел пожаловаться кому надо? — часто думал Ванька. Подозрительным он стал до крайности.

Раньше проходил в дом без оглядки, а теперь подойдёт к крыльцу и стоит, присматривается, примечает, что и как.

А тут ещё, внутри себя ощутил он некое вещание непонятной природы. Собственно звуков при этом он никаких не слышал, но кто-то,

хотя и безгласно, но совершенно для Ваньки явственно подсказывал ему, что надлежит сделать. Словом, воду мутил и добавлял беспокойства. И что характерно, Ванькины ноги сами решительно несли его куда велено.

Через неделю после похорон Жаркова пришёл Ванька домой сильно уставший. Утомился он, выгоняя народ на работы. Вообще-то, этим занимались бригадиры, но после их прохода некоторые не выходили, а затаивались в домах. Сегодня таких оказалось много. Поэтому Ванька вынужденно прошёл следом и, как говорится, подчистил.

Какие только оправдания ему не подсовывали: кто ссылаясь на хворь, паралик, говорит, разбил, кто на какую нужду позарез, кому ехать хоронить сестру. Смех один. Ванька за время правления селом эти приёмчики хорошо изучил. Не на того напали, голубчики. Всех выгнал до единого.

Поэтому домой шёл, хотя и уставший, но довольный собой. Шёл и хмылялся про себя, вспоминая особенно смешное.

Так вот, пришёл он к себе, открыл дверь и хотел войти, как почувствовал неладное. Он внимательно присмотрелся к наружной стороне двери и обнаружил в углу около верхней петли метку: три вертикальных линии, пересеченных вверху и внизу, наподобие решётки. Несведущий человек легко принял бы их за обыкновенные трещины. Но Ванька тут же смекнул, что это есть метка, иными словами, знак.

Ясное дело, они.

Ванька вошёл в дом и увидел Георгия Жаркова, сидящего за столом в неподвижности и, вроде как, в задумчивости.

«Так и есть, — бросило в жар Ваньку, — передумал, пришёл обратно дом забирать. Только зачем ему теперь дом?» — рассуждал про себя он.

— Здравствуй, Георгий, — Ванька сделал вид, что ничего удивительного в появлении Жаркова он не находит, — какими судьбами?

— Да вот, зашёл, — просто ответил Жарков, — тянет меня сюда. Посижу недолго, да и уйду. Ты не беспокойся.

— Сиди, сиди, сейчас сообразим чего-нибудь, — засуетился Ванька. Он пошарил в шкафчике и выставил на стол бутылку и еды. Налил в стаканы и сел напротив.

— Ну что ты, Иван, — укоризненно произнёс Жарков, — мне теперь еды не требуется. Мы там, вот как здесь, не едим, у нас пища иного свойства. Неужто не знаешь?

— Как не знаю, знаем, — забормотал Ванька; он растерялся и не мог сообразить, как вести себя. Гостя принято угощать, а тут... Нако-

нец, он немного оклемался и вернулся к теме, которая давно не выходила у него из головы.

— Ты, Георгий, зла на меня не держишь? — спросил он робко. — Я ведь не хотел тебя это... там, в лесу. Всё Гришка...

— Да знаю я, — отмахнулся Жарков, — зла на тебя не держу, хотя... следовало бы.

— Слушай, Георгий, ты случаем не из-за дома пришел? Так ты подписал бумагу, не забывай.

— Подписал, подписал, не волнуйся, — усмехнулся Георгий и поднялся.

«Ишь, как усмехнулся. Со смыслом. Надо держать ухо востро», — встревожился Ванька. Он ещё сбежал, посмотрел, не исчезла ли метка на двери, и к своей тревоге убедился, что метка на месте. Затем он поел и лёг спать.

Весь следующий день Ванька размышлял о том, что следует предпринять, чтобы сохранить за собой дом. А к вечеру его неудержимо потянуло сходить на кладбище да посмотреть, как это Жарков вдруг приходил к нему.

Повисшее у горизонта солнце заполняло нежным светом безоблачное синее небо и чистый, пахнувший травами воздух, образуя в совокупности то, что люди называют «прекрасным летним тёплым вечером». Ванька подошёл к могиле и увидел девочку с тюльпанами в руке, стоящую к нему в профиль, внутри ограды.

Девочка обернулась на Ваньку.

— Что ты здесь делаешь? — строго спросил он, — скоро ночь, и детям не можно оставаться тут. С кем ты пришла?

— Разве ты не узнаёшь меня, дядя Иван? — спросила девочка, — я Леночка. Меня похоронили живую, из-за тебя. Помнишь? Ты уходи, я маму жду, — и, видя, что Ванька продолжает стоять, добавила, — нельзя тебе оставаться, от тебя зло. Мама не сможет прийти.

Ванька хотел возразить, сказать, что он добрый, но никого не увидел перед собой. Только тюльпаны, точно такие же, какие он видел в руках у девочки, лежали на цветнике.

Домой он вернулся, когда безлунная чёрная ночь сделала невидимым всё вокруг. Он засветил фонарь и прежде всего осмотрел дверь. Новых знаков он не обнаружил, но, отлично зная их коварство, вошёл и стал придирчиво обследовать внутреннюю сторону двери.

Так и есть!

Несколько взаимно перекрещенных линий он нашёл и здесь. Сомнений не оставалось. Его обкладывают.

Ванька прошёл в комнату и обнаружил стоящего возле окна Василия. Ванька смешался, потому что помнил подлость, совершённую им по отношению к Василию. Однако, полагая себя очень хитрым, он думал, что знает, как вести себя в таких случаях.

— Садись, Вася, — произнёс он тоном радушного хозяина.

— Спасибо, это ни к чему, — ответил Василий, — я вот что, Иван... — договорить свою мысль он, однако, не успел.

— Не отдам! — заорал Ванька. — Ты-то тут причём?

— Я действительно не причём. Мне за Георгия обидно.

— Что тебе Георгий! Я ему справку дал. Мало?

— А потом пошёл вдогон?

— Никто не видел этого.

— Как же не видел, когда ты вот как раз и видел. Разве нет? — Василий укоризненно взглянул на него.

— Но я то... — начал было тот, но никого больше перед собой не обнаружил. Ванька задумался: с такой стороны он ещё не подходил. «Ну я видел, — рассуждал он, — да, вроде, видел, как же не видел. Так то я, а не кто иной. Что же, мне самому себя надо страшиться? Так, что ли? А по его словам получается, что так».

Голова у Ваньки от таких перевёрнутых, по его пониманию, мыслей пошла кругом, и он улёгся спать, даже не притронувшись к пище.

Утром, прежде чем уйти, он облазил крыльцо, плитусы и косяки в поиске знаков и обнаружил их во множестве. Ванька окончательно убедился, что обложили его крепко.

«Неужели отымут?»

Всю жизнь он мечтал об этом доме, наконец, достиг и вот...

— Не отдам, не отдам, — прошептал он.

— Не отдам! — заорал он, — мой дом, мой!

Ванька полез в амбар, отыскал несколько больших крысиных капканов с мощными, тяжко разъёмными челюстями.

Поднатужившись, он взвёл капканы и принялся расставлять их в местах, где обнаружил знаки. «Не на того наскочили, голубчики», — злорадно хрипел он, устанавливая капкан за капканом.

Успокоенный и очень довольный собой, Ванька отправился пра-вить селом.

Он подошёл к барскому дому, над парадным подъездом которого развевался флаг, символизирующий место пребывания власти, и прошёл в свой кабинет. Там он выпил стакан воды из мерзкого вида графина и уселся за стол, имея перед собой все атрибуты власти: гербовую печать со штемпельной тряпочкой, гранёную чернильницу мас-

сивного стекла и воткнутое в неё перо «рондо», насаженное на ученическую ручку.

Хотя, судя по этим предметам, Ванька был человеком государственным, мысли его в настоящий момент крутились совсем в ином направлении, то есть, всё вокруг того же дома.

Дверь в кабинет оставалась закрытой, когда вошёл Александр.

— Мне очень неприятно, Иван, — в свойственной ему вежливой манере произнёс он, — но я не могу обрести покой, пока не передам людям свою тайну. Я хотел довериться Георгию, но ты затравил его. Тебе я не верю, но, тем не менее, ты должен выполнить мою волю. Отыщи Алексея и скажи, чтобы он пришёл.

— Я не знаю никакого Алексея, — прохрипел совершенно обалдевший Ванька.

— Узнаешь, — твёрдо произнёс Александр.

Из того, что сказал Александр, Ванька ровным счётом ничего не понял, чтобы понять, ему следовало вначале очистить душу для добра, а душа у Ваньки черна, как сажа.

Внезапно Ваньку озарило. Ну конечно! Он понял, что Александр говорил всё это для отвода глаз, ибо он, несомненно, заодно с ними! Пока тут добрый человек Ванька слушал его, там те уже отымают.

— Не отдам! — заорал он и бросился вон.

Ванька бежал по селу, как ветер, в бешенстве и тревоге, готовый зубами отстоять украденное, как своё. Он ворвался во двор и махом угодил в самый крупный капкан!

«Как же это я обманулся, не подумал. Гады, капканы понаставили!» Ванька сидел в капкане, но боли не ощущал. Затем повёл глазами: «Вон и ещё капкан, и ещё», — выглядывал он капканы, ещё недавно установленные им самим.

И понял Ванька всю безнадёжность своего положения, признал. Он сел на крыльцо, поднял голову и завыл. Выл долго. Но тут ему в голову пришла очень удачная мысль. Как это он сразу не придумал?

«Будем охранять», — сказал он себе решительно и поднялся с крыльца. Хромая и гремя капканом, стал Ванька бегать вокруг дома. Он бегал и кричал:

— Мой дом, мой дом. Не отдам! — и выл для устрашения.

«Так надёжнее», — подумал Ванька и продолжал нести охрану.

Ночью пришёл к нему Гришка с вепрем. Гришка некоторое время наблюдал Ваньку, а затем сплюнул.

— Пойдём, Ефросий, от этого говнюка. Он теперь для нас не годный.

Поиски Алексея

В этот день, как теперь у него повелось, Ванька бегал, выкрикивал предупредительные слова и выл; капкана он не снимал, полагая его за нечто вроде талисмана, без которого все Ванькины дела стали бы недействительными. Набегавшись, он сел на крыльцо отдохнуть и перекусить, и тут внутри у него бухнуло: обычное ощущение перед вещанием.

— Ну что же это ты, Ванька, забыл веление? Отыщи тотчас, — да этак с раздражением.

Такое у Ваньки возникало и раньше, но он обычно ссылался на занятость и говорил:

— Потом, потом ... — и забывал.

Он и на этот раз начал было придуряться:

— Кого отыскать-то? — фальшиво возопил он. — Не помню, ничего не помню.

Но на него рывкнуло:

— Отыщи, и баста! — да так грозно, что Ванька подпрыгнул.

Он находился в затруднении, потому что действительно не помнил; он напряг мозги в попытках и всё же вспомнил... Алексея отыскать.

«Ну что ж, раз нужно, пойду искать», — смиренно произнёс он, но тут же содрогнулся, и его обдало, как из ведра. «Да как же я уйду, как дом брошу?» Он заметался. «И туда надо, и сюда надо. Вон сколько дел, а Ванька один».

«Отвод следует сделать, вот что», — прошептал он. Они пока разберутся, а я уж здесь, успею возвратиться».

Мысль ему показалась настолько основательной и удачной, что он успокоился и принялся устраивать задуманное. Он отыскал мотыжку и пробороздил канавку от калитки во двор шагов на пять, затем развернулся петлёй, повёл канавку обратно в калитку и вывел её вон, до самой дороги.

— Вот так, — ухмыльнулся Ванька, — они пойдут по канавке, как им ещё идти, а канавка-то и уведёт их обратно в калитку, да и вон. Они снова подойдут, и тот же фокус. Плюнут и уйдут, а тут и я подоспею.

Представив эту утешительную и даже весёлую картину, Ванька радостно захохотал и смеялся долго, до слёз. Он дождался вечера и отправился на кладбище.

«К ночи лучше, — мыслил он, — тихо, никого нет, а то увидят, скажут: что это такой большой начальник делает в таком месте. Да нач-

нут расспрашивать, уважительности-то у них нет ни хрена, а ведь тут тайна. Так мне сказано».

Почему он отправился искать Алексея именно на кладбище, точно, конечно, не известно. Вроде бессмыслица, но это если подойти сугубо коряво материалистически, а смысл, несомненно, содержался. Скорее всего, перемешалось у Ваньки в голове вешнее повеление и прежние его художества, которые хотя и совершались им легко, как говорится, без угрызений совести, но где-то всё же откладывались и затаивались. Так или иначе, приковылял он, сильно хромая, к месту и остановился в размышлении. Интересно отметить, что боли от капкана он совершенно не ощущал; другому бы с таким инструментом на ноге могли бы и кранты настать, а Ваньке нипочём.

Больше того, от капкана он даже испытывал наслаждение, ибо, в отличие от обыкновенных людей, знал, что не капкан это вовсе, а истинно талисман.

«Где ж его отыскать, этого Алексея? — Ванька огляделся. — Кладбище большое, будто всё село сюда переселилось. Где уж тут найти, но раз велено, значит, найдём. Надо покричать».

Он сложил ладони рупором и позвал.

— Алексей, Алексей! — молчание было ему ответом.

Быстро стемнело, и темнота стала такая, что ничего определённого видно не было; лишь где-то чернее, где-то чуть светлее, и всё расплывчатое и бесформенное. Но вот слева увидел он слабый колеблющийся свет, этакий мерцающий холмик. Ванька приблизился к нему и обнаружил небольшой, шага три в поперечнике, купол, сотканный из голубоватого прозрачного света.

В надежде найти Алексея Ванька решительно шагнул вперёд и оказался внутри купола. Здесь он увидел женщину в белом платке, стоящую к нему спиной. Женщина обернула к Ваньке своё лицо, и он узнал Марию.

Она как-то странно изогнулась снизу вверх, да наискось, словно желая лучше рассмотреть гостя, и безо всякого удивления и очень медленно произнесла:

— Зачем ты пришёл, Иван?

— Да вот, ищу Алексея. Думал, может, он тут.

— Нет, Иван, одна я здесь, — она отвернулась от него, но продолжала говорить. — Как ты выгреб тогда из дома всё вчистую, стало мне плохо. Чем детей кормить? Но ещё держалась, а уж когда по твоему доносу Николая увели, тут мои силы и кончились. Сердце моё истекло кровью, и ничего, кроме мучений я не чувствовала. Ничего. Тогда я и померла.

— Так выгребали по указу властей для устройства светлой жизни, — оправдывался Ванька.

— Здесь, Иван, не врут, — сурово произнесла Мария, — это тебе не собрание. Какая же светлая жизнь может выйти из людского горя? Неприятен мне твой приход. Уходи! — и она так посмотрела на Ваньку, что он ссутулился, хотел что-то сказать, уж без фальши, но только уронил руки и вышел.

И вот здесь, наконец, впервые в жизни Ванька ощутил стыд.

Пройдя немного между оградами, он увидел ещё один светящийся купол, вошёл в него и увидел старого барина, который сидел на плоском камне в истерзанной одежде; пиджак его был разорван, а на руках виднелись следы насилия. Он находился в глубокой скорби.

— Заходи, Иван, не бойся меня. Я не злобствую на тебя за воровство. Кольца, цепь, Господи, это же для меня такие пустяки, побрякушки; всё равно, что ничего. Но то, что ты сделал с моим сыном, тебе не простится, и это станет уже не мой суд.

Ванька хотел оправдаться, сказать, что вершил во благо обездоленных рабочих и крестьян, но после посещения Марии врать так свободно он уже не мог.

— Уходи! — потребовал старый барин. От него исходило пронзительное неодобрение; Ваньку окатил страх, и он, не помня себя, бросился вон.

Теперь он видел много светящихся куполов, но страшился приблизиться к ним, ибо знал, с кем ему придётся встретиться. Знал так же хорошо, как свою жизнь. Стремясь скорее покинуть кладбище, он побежал прочь, не разбирая дороги, лишь бы быстрее уйти от ужаса, который всё сильнее охватывал его, и свалился в светящийся ров, наполненный мужиками с синими опухшими физиономиями и выкаченными в безумии глазами. Они бессмысленно таращились друг на друга и что-то бормотали, не связанное логикой и состоящее из грязных слов и выражений, так знакомых Ваньке. Этакое зловонное гудение.

Мужики оборотились к Ваньке, и он ужаснулся их виду. Они же, напротив, признали Ваньку и с очевидным дружелюбием со всех мест двинулись к нему.

Он отшатнулся, чтобы немедленно уйти.

— О, Иван, свой мужик. Ты наш, куда же, ты, Иван, не уходи!

Они тянули к нему руки и бормотали, выражая радость встречи. Он шарахнулся от них и в одно мгновение выскочил изо рва.

— Куда же, ты, Иван? Не уходи! — неслоь вслед.

Последняя попытка освятить икону

Как уже сказано ранее, Гришка не знал об ограблении храма.

Глубокой ночью он вышел из дома и направился к церкви. Рядом тархтел копытами вепрь Ефросий. Никто не встретился им по дороге; лишь совсем близко, но невидимые в черноте безлунной ночи, сильно кричали и свистели крыльями вóроны.

Гришка шёл быстро, возбуждённый до крайности; никогда ещё не был он так близок к своей главной цели жизни, цели спасения.

Он остановился перед церковными дверьми.

— Ефросий, останься. Тебе нельзя, — вепрь обиженно хрюкнул, но подчинился.

Гришка нашарил ручку и с силой потянул. Массивные железные двери с тяжким вздохом стронулись и разошлись, освободив проход. Грохоча солдатскими сапогами, Гришка вошёл и, ощущая спрятанную под пиджаком икону, решительно двинулся к алтарю. Икону он обнаружил у Ваньки и без церемоний отобрал.

Внезапно он остановился.

В храме стояла совершенная темнота, но он звериным чутьём своим ощутил присутствие. Он явственно услышал шорохи, постукивание, вздохи.

Придерживая одной рукой икону, другой он нащупал топор. Затем вытащил из-за пазухи палку, обмотанную на конце ветошью, пропитанной дёгтем, и поджёг. Факел затрещал и вспыхнул.

Яркое длинное пламя осветило храм, и Гришка обнаружил вокруг себя морды, с глазами, обращёнными в его сторону. Помещение храма заполняли животные! На полу, густо покрытом навозом, вольготно валялись свиньи, дремали, тесно прижавшись друг к другу, овцы, жевали своё сено коровы и козы.

Встревоженные факельным светом, домашние звери заревели и, испугавшись собственного рёва, усиленного великолепной акустикой храма до невыносимости, заревели ещё пуще. Порождённые пылающим факелом, всюду метались уродливые тени, рогатые морды, копыта, бесовские глаза, бляение, хрюканье и рёв... всё нарастающий рёв завершали эту страшную картину.

В храме возникла потрясающая в своей истинности и законченности панорама беспредельного надругательства над святостью.

Гришка втянул голову в плечи и шагнул к алтарю; от него требовалось последнее усилие. Он распахнул царские ворота и, держа икону перед собой, шагнул. Однако войти он не смог. Сразу за царскими вра-

тами, поперёк этого священного ритуального и почитаемого места лежала громадная свинья. Свои маленькие, заплывшие жиром глаза она устала на Гришку и грузно поднялась на ноги. Однако, не обнаружив в его руках никакого съестного пошла, она плюхнулась на прежнее место и недовольно захрюкала.

Гришку опрокинуло

— Это как же, это что же! — теряя самообладание и в полной безнадёжности несколько раз произнёс он. Гришка понял, что храм осквернён, осквернён так, что об освящении иконы не может быть и речи. В один момент рухнула надежда на спасение души.

Всё ещё не до конца веря тому, что видел, он вновь и вновь направлял свет факела во все стороны и всюду обнаруживал убиение святости и крушение храма. Несомненно, храма, на котором Гришка строил свои надежды, больше не существовало, он разрушен, от него остались лишь осквернённые стены и скорбные лики. Гришка стоял растерянный и оглушённый рёвом голодных испуганных животных и ударом судьбы. Страх, утоляемый прежде надеждой на спасение, охватил его с ещё большей силой. Глаза его вылезли из орбит.

— Будьте вы прокляты, — прохрипел он, ещё не понимая толком, кого следует проклинать.

Его поразила невообразимая мощь греха, содеянного людьми в кожаных тужурках. Собственная его греховная жизнь представлялась теперь в ином, совершенно незначительном виде, вовсе малостью. Но вот, вдруг он замолчал и молчал долго, очень долго.

Великий грешник

Его звериная натура крутилась в конвульсиях страха, мысли тяжёлыми жерновами ворочались в поисках выхода, и не существовало для него такого чёрного дела, которого он не совершил бы ради своего спасения. Осквернение храма повергло его в ужас не само по себе, а как препятствие к спасению, но постепенно перед ним открылась иная, несравненно более значительная для него сторона происшедшего.

Гришка представил себе мощь силы, осмелевшей выступить против Творца, оценил её и преклонился перед ней. В слепом эгоизме он принял долготерпение Творца за Его слабость.

— Так вот где настоящая сила, — прошептал Гришка и замер перед грандиозностью того, с чем столкнулся. Факельным огнём полыхнула

на его физиономии злорадная усмешка. Он выпрямился и посмотрел вверх.

— Так Ты не всемогущ? — бесконечное удивление и торжество прозвучали в его голосе.

— Тогда к чему мне Твоё прощение?! — прозвучало скорее утвердительно.

«Ты не в силах им противостоять, — рассуждал он, — значит, моё спасение в них!»

В который раз он повёл глазами вокруг и расхохотался. Он хохотал, и его хохот громом заполнял то, что прежде было храмом. И животные испугались ещё больше.

— Так Тебя отвергли и унизили, — хохот.

— Ты звал к добру, но к чему оно, если зло сильнее добра, сильнее Тебя! — заорал он и вновь расхохотался.

Гришке стало легко. Он освободился от мучений в попытках спастись, исходя из известных представлений; невозможно совместить несовместимое. Теперь же он естественно, без мук, легко слился с тем, чем был сам по сути. Он носитель зла и пришёл в мир зла. Произошла гармония, опрокинутая наоборот. Гармония зла.

Гришка отбросил икону и вышел из храма, прикрыв двери.

— Пойдём, Ефросий, — сказал он, — мы с тобой нужны, нас ждут, и нам предстоит очень много работы.

Они зашагали по дороге в сторону от села и вскоре исчезли в ночи. Растворились, чтобы возникнуть там, где они нужны.

И вóроны больше не кричали.

Посещение села

Пришло, однако, время рассказать о моём посещении села. Это случилось, когда Гришка с вепрем ещё находились здесь, а не отбыли для своих зловещих дел, согласно своему предназначению и на горе людям, в иные места великой многострадальной России.

Всё изложенное выше почерпнуто мною из рассказа старушки Пелагеи — исконной жительницы села, которой я интуитивно и по разуму решительно доверял, именно во время нашей с нею встречи в селе. Сам же я до этого никогда здесь не был, хотя всё последнее время мысли о необходимости посетить село навязчиво занимали меня.

Поездка туда оказалась неожиданно запутанной и сложной, но абсолютно необходимой.

Я двигался поездом, идущим со стороны Крыма. На мне тёмные шаровары, заправленные в сильно поношенные кирзовые сапоги, штормовка да чёрная фетровая шляпа с узкими полями — словом, одежда, хорошо приспособленная для жизни в сельской местности.

Большей частью я смотрел в окно, но не от скуки и тем более не от пренебрежения к попутчикам, а истинно из удовольствия. Поезд оставил позади Орловщину и мчал живописной пересечённой местностью тульских земель; за окном проплывали речки, обширные зелёные холмы, леса и чёрные, как дёготь, пашни.

Внезапно меня качнуло, но не оттого, что дёрнулся вагон или какой ещё внешней физической причины, а как-то изнутри, и притом меня одного. Остальные пассажиры качания не почувствовали вовсе; сидящая напротив старушка в этот момент поднесла ко рту стакан горячего чая и отхлебнула, и в случае толчка она наверняка поперхнулась бы. Но ничего такого со старушкой не произошло.

Я же отчётливо ощутил, будто меня изнутри некая упругая волна наполнила и покачала. Некоторое время я сидел, прислушиваясь к себе, затем поспешно вынул из рюкзака планшетку, раскрыл её и вытащил лист ватманской бумаги, сложенный вчетверо. Лист напоминал географическую карту с отчётливо проступающим рельефом местности, испещрённую вдобавок вдоль и поперёк жирными и тонкими линиями, взаимно пересекающимися во многих местах. Одни пересечения ничем не выделялись, другие, напротив, изображённые жирными кружочками различного цвета, бросались в глаза неким особым значением. Я положил ватман на колени и напряжённо всмотрелся, время от времени бросая взгляд за окошко.

Поиск слегка обозначенной истины менял моё настроение, надежду на сомнение и разочарование. Наконец, ещё не выйдя из состояния этого поиска, я очень медленно сложил лист, спрятал в планшетку и некоторое время оставался в раздумье. И вот тут-то, когда до Скуратово оставалось каких-то несколько километров, независимо от моего желания или причин, зависящих от моей воли, меня охватил обморок. Но странный был этот обморок.

Поезд остановился. Мне бы выходить, но я не сделал этого. Я прекрасно всё видел и слышал, но при этом оставался в полном бездействии.

«Станция Скуратово!» — послышались голоса; местные женщины с перрона стремительно рассыпались по вагонам и принялись энергично и шумно продавать горячую, ещё дымящуюся отварную кар-

тошку с солёными огурчиками, аппетитно обсыпанные укропом. Кто ездил в южном направлении от столицы, знает, что более вкусной еды этого сорта в других местах не встретишь.

Стоя в вагонном проходе у окна, я заметил на перроне старушку, своим поведением сильно отличающуюся от окружающих. Она ничего не продавала и никого не провожала, так что трудно было определить, зачем она здесь. Она выразительно искала кого-то глазами, но, видимо, тщетно. Едва поезд тронулся, она повстречалась глазами со мной, и тут вид её мгновенно переменялся: она вся встрепенулась и даже всплеснула руками, как бы досадуя на себя, что не заметила меня раньше. Я, как мне показалось, вроде видел её впервые, но полной уверенности в этом не ощутил. Поведение же старушки решительно говорило, что ждала она меня и никого другого.

На всякий случай я даже оглянулся, но никого рядом с собой не обнаружил. Старушка шла рядом с вагоном и всё что-то говорила, видимо, важное для неё, но я, отгороженный двойным вагонным стеклом, не уловил ни единого слова. Поезд набрал ход, и она осталась на перроне в смятённом состоянии.

И только теперь, когда мой поезд прошёл порядочное расстояние от Скуратово, обморок покинул меня и я обрёл способность соображать и совершать поступки.

После долгого равнинного участка за окном показался тёмно-зелёный угрюмый лесной массив, ярко освещённый предвечерним солнцем; к тому же стояла ясная погода, и виделось далеко. Обладая прекрасным зрением, я замечал вдалеке всякий предмет, когда совершенно неожиданно для себя увидел волка.

Зверь стоял на небольшом холмике, поросшем насквозь просвеченным яркими лучами солнца кустарником, обратив тяжёлую мощную голову в сторону мчащегося поезда. Больше того, мне показалось, что взгляд волка был устремлён именно на меня. Скорее всего, показалось, нельзя же в натуре предположить такое. Волк и я, какая уж тут связь, и тем не менее.

Если, однако, глянуть на это в совокупности явлений без шор примитивного материализма, то ситуация представится хотя и не ясной, но уже несколько иной, наполненной смыслом, заключающим в себе большую реальность, чем голый факт появления волка в кустарнике или старушки в Скуратово.

А смысл в данном случае проявился в том, что я определённо начал ощущать на себе влияние фактора, влияющего на моё поведение или, другими словами, такого понятия, как судьба.

Иногда человеку удаётся поступать вопреки судьбе, но вовсе не от того, что он действует разумно. Человек поступает определённым образом по своему усмотрению, ошибочно и самоуверенно полагая, что действует сам по себе, своей волей. Он при этом, увы, не ощущает необходимости проверить, а согласуется ли его волеизлияние с судьбой. В любом случае, его поступок совсем не означает, что он обошёл судьбу. В конце концов, с ним совершится всё так, как предопределено, но только более хитроумным, извилистым и всегда более трудным путём, как расплата за упрямство и тупость.

Мне предопределено остановиться в Скуратово, как географическом месте, намеченном судьбой. Я не мог этого не знать, но не получилось по причине странного обморока.

Вышел бы с поезда, и все дела: я в колее судьбы. А теперь, что станет? В Скуратово я неизбежно всё равно приползу, но как? Пересяду на встречный поезд? Так не пересяду, раз уж еду. И вот начинаются со мной разные события и ситуации, трудности и чудеса, которые в результате неотвратимо поместят меня в это самое Скуратово.

Так это я, человек, признающий вселенский разум, духовное начало мироздания и определяющее наличие судьбы. А люди в подавляющем числе? Тут даже говорить не хочется, такое творят, мня себя царями природы, такой коловорот для себя устраивают, поступая вопреки предопределённости, что становится стыдно за них.

Приведённые рассуждения, возможно, и полезны для понимания грядущих событий, но лучше, однако, вернуться к настоящему происходящему.

Некоторое время поезд мчался параллельно автострате; редкие автомашины двигались с одинаковой скоростью и обгонов почти не наблюдалось. Но вот один грузовик резко выделился из общего транспорта. Огромная красная автоцистерна, ёмкостью не менее двадцати кубометров, с высоко задранной над кабиной передней обечайкой, мчалась с огромной скоростью, обгоняя всех так, будто те пребывали в недвижимости.

По виду автоцистерна представляла собой внушительное сооружение, больше напоминающее стационарное, нежели транспортное средство. Обычно такие машины движутся медленно с соблюдением предписанных правил осторожности.

А тут бешеная скорость!

Стремительно обгнав поезд, автоцистерна с рёвом, слышным даже в поезде через шум колёс, исчезла впереди. Прошло полчаса.

Внезапно вагон задрожал в экстренном торможении; меня вдавило спиной в купейную перегородку. Старушку и женщину с лицом известной киноактрисы, их дорожные вещи, а также пустые бутылки и стаканы инерция зашвырнула на меня.

Первые секунды скрежет тормозов гремел отвратительно, но особой тревоги не вызвал, как явление известное. Но поезд, хотя и меньшей скоростью, продолжал мчаться, а скрежет, неприятный сам по себе, внезапно перешёл в грохот. Вагон затрясло и забросало так, будто он поехал по брёвнам, уложенным поперёк пути. Я не разумом, а спиной понял, что вагон скорее всего соскочил с рельсов и несётся по шпалам.

Нельзя утверждать, что я испугался, но чувствовал себя пренеприятно и напряжённо с замиранием сердца гадал, свалится вагон под откос или успеет остановиться. Странное это, однако, ощущение перед катастрофой, когда сознание напряжено и человек весь внутренне сжимается в нервный узел.

Женщины в страхе закричали. Эта ситуация длилась недолго, но действовала ужасающе.

Вагон остановился.

Пассажиры стали разбираться. Старушка и женщина с лицом известной киноактрисы слезли с меня. Из-под вещей я выбрался самостоятельно. Пассажиры и багаж заняли присущее им расположение, и купе приняло обычный вид. Однако, все под впечатлением происшедшего сидели неподвижно и молча, не решаясь ни на какие поступки.

Я перевёл дух и выглянул в окно.

Вагон стоял около переезда автострады через железнодорожный путь. Шагах в десяти от рельсов лежал человек в шофёрском комбинезоне с произвольно раскинутыми руками и ногами. Широко открытые невидящие глаза и неестественный для живого человека оскал рта несомненно свидетельствовали, что он мёртв. Я отвёл от него взгляд и сел на место.

Люди в вагоне оклемались, приняли подобающие пассажирам положения, и вроде бы ничего не изменилось. Вместе с тем, я кожей чувствовал, что некие изменения несомненно произошли, но не в вагоне, а за его пределами, хотя определённого суждения привести не мог.

Пока ясно одно: поезд потерпел крушение.

Шок постепенно проходил, и я ощутил в себе достаточную способность, чтобы выйти из вагона и разобраться в обстановке. Я прошёл в

тамбур, открыл наружную дверь и с осторожностью осмотрелся: неизвестно, прочно ли стоит вагон, может и завалиться. Спустился по ступенькам и встал на землю, покрытую низкой густой травой. Постоял, затем подошёл к человеку, лежащему на шоссе, и убедился, что помощь ему, увы, не нужна. Осмотрелся.

Железнодорожную будку переезда как ножом срезало; от неё остались лишь сверкающие свежим изломом фундаментные кирпичи. Вагоны, расположенные позади, благополучно стояли на колёсах и многие даже на рельсах, за исключением ближайших, которые были сброшены на шпалы.

Впереди картина виделась иная. Соседствующий вагон-ресторан, остальные передние вагоны, а также локомотив в беспорядке лежали справа и слева от железнодорожного полотна. Окна в вагонах светились, но ни единого звука или движения, свидетельствующих о присутствии людей, я не заметил; двери оставались закрытыми и попыток открыть их изнутри не было. Это выглядело странным. Хотя по здравому смыслу ничего удивительного в этом не было: люди, сокрушённые случившимся, попросту находились в шоке и не пытались осмыслить и тем более действовать. Они оказались беспомощными перед масштабом крушения, полностью парализовавшего их волю.

С левой стороны высокой железнодорожной насыпи, у её основания лежало покорёженное, изломанное массой поезда транспортное средство, в котором я без труда признал ту самую громадную автоцистерну, виденную мною совсем недавно бесшабашно и страшно мчащейся по автостраде к своей трагической судьбе. Сама цистерна от немеренного по силе удара сорвалась с шасси автомобиля и валялась поблизости.

Разглядывая безрадостную картину крушения, я ощутил гнетущее чувство и не сразу распознал его причину. Я даже помотал головой, как бы стряхивая дурноту, но тут же до меня донёсся, можно сказать, раздался мощный, хотя и сильно приглушённый рёв, напоминающий шум пара из продуваемого энергетического котла высокого давления, но более низкий по тону.

Я повёл глазами в поисках источника шума и обнаружил его в цистерне: из повреждённого вентиля с рёвом вырывалась струя синего газа с резким ядовитым запахом. Тяжёлый газ стелился по земле плотным покрывалом. Заполняя всякую ложбинку, быстро сползал в низкие места, главным образом, в сторону лугового поля и живо напоминал громадное чудовище с множеством щупалец, ползущее угрожающе и неудержимо.

Пока я стоял в наблюдении, газ достиг и затопил место, скрыв всё на четверть метра от земли, в том числе и мои сапоги. В горле засадило, как при сильном воспалении, стало трудно дышать, я закашлялся. Отдышался. От задних вагонов по направлению ко мне шёл мужчина с дымящейся сигаретой в руке.

«Ах, как скверно. Ведь какой безалаберный чудак, — с досадой подумал я. — Газ наверняка горюч. Полыхнёт, все сторим».

Я бегом встретил мужчину, без церемоний вырвал у него сигарету и загасил в ладони. Тот выказал раздражение, но я молча указал ему в сторону подползающего ядовитого потока. Человек мгновенно смекнул, понятно мотнул головой и сам принялся высматривать, нет ли кого ещё с сигаретой.

Наступили сумерки; солнце скрылось за горизонтом, оставив людей наедине с бедой. С тревожным чувством я вернулся в вагон и обнаружил своих спутниц в растерянности и страхе. Они машинально собирали вещи, но очевидно не знали, как поступить.

— Необходимо уходить, — сказал я, — и чем скорее, тем лучше. Пойдёмте.

Чтобы не пугать женщин, я не стал объяснять причину спешки, а только взвалил на себя свой и большую часть их багажа и двинулся к выходу. Они последовали, доверившись мне и ощутив во мне надёжную опору, в которой всегда нуждается каждая, даже самая энергичная и самостоятельная, женщина.

Выбравшись из вагона, мы двинулись вверх по автостраде и прошли шагов четыреста от поезда. По моему разумению, этому месту газ не угрожал. Теперь следовало подумать, как добраться до ближайшей транспортной станции. Потерпевший крушение поезд начисто перекрыл автостраду, и несколько порожних такси стояли на обочине; водители курили.

— Подвезите нас, пожалуйста, в Щекино, — обратилась старушка к таксисту с наиболее располагающей, по её мнению, внешностью. Женщины придают этому незначительному и обманчивому признаку неизменно и неоправданно большое значение.

Представительный мужчина глянул на неё и некоторое время молчал, оценивая ситуацию. «Крушение поезда в открытом поле, значит, людям деваться некуда, всем надо уехать. У этих багаж, куда они с ним. Смех, если потащат, самим бы дойти. Словом, положение их хреновое». Придя к такому благоприятному для себя выводу, он назвал цену, вдсятеро превышающую установленную стоимость проезда.

Старушка ахнула, молодая женщина побледнела от негодования, я ощутил острое желание дать таксисту по физиономии.

— Так у меня нет таких денег, — прошептала бабушка.

— Значит, не поедем, — ухмыльнулся представительный мужчина, — найдутся с деньгами. Вон, бегут.

Остальные таксисты поступили так же. Они быстро загрузили пассажиров, согласных на всё, и укатили. У бабушки от отчаяния и обиды выступили слёзы.

— Провались они в тартарары, эти животные, — успокоил я даже и с облегчением, — найдём нормальных людей, их на свете немало.

Подкатил небольшой автобус, водитель вышел, размялся и спросил, что случилось.

Выслушав, он молча открыл дверцы.

— Садитесь, — только и сказал он, — мне всё равно возвращаться.

Пассажиры заполнили салон, торопясь покинуть место, доставившее им столько неприятностей и волнений. От оплаты водитель отказался и даже сделал вид, что обиделся.

— Вы что, ребята, за кого меня принимаете? Кто же берёт в такой беде?

Я рассказал ему про таксистов.

— Гады, — только и отреагировал водитель.

Я остался. Женщины стали меня уговаривать уехать, даже умоляли, благодарные за участие.

— Здесь может оказаться много работы, возможно, и пригложусь, — я кивнул на вагоны со светящимися окнами, лежащие всяко и хранящие гробовую тишину.

Бабушка обняла меня и перекрестила; женщина с лицом известной киноактрисы улыбнулась и помахала рукой. Автобус отъехал.

Обширное луговое поле, совсем недавно сверкавшее зелёной травой и радующими глаз полевыми цветами, теперь представляло собой отвратительное белёсое ядовитое пространство. Я ступил в него и пошёл, высоко приподняв голову, чтобы не надыхаться отравой. То ли цистерна стала иссякать, то ли ещё по какой причине, но газ стал редеть; кое-где уже проглядывалась трава, а местами восстановилась прозрачность. Я прислушался, но прежнего рёва не услышал, зато почудилась мелодия. Звучала она прекрасно, хотя назвать, какими музыкальными инструментами она исполнялась, я не мог.

По внутреннему ощущению, она напоминала мне греческий танец сиртаки, но лишь напоминала и не более того. С таинственной силой она мощно вовлекала и неотвратно кидала меня в танец, как в водо-

ворот. Она пленяла и завораживала, контрастируя с гибельностью ядовитого газа, крушением и человеческими страданиями, опрокинутыми вагонами и мерзостью таксистов; она шла от иного начала и притягивала к себе силой жизни.

На этом поле разрушения, гибели и хаоса мелодия творила жизнь, притягивая и организуя всё способное жить и тянувшееся к жизни, подобно тому, как опущенный в раствор кристалл образует лавину себе подобных и бесцветный раствор преобразует в прекрасный сверкающий драгоценный мир. Непонятно откуда шла мелодия и что её порождало; звучала она внутри меня и не имела направления, и как я ни поворачивался, звучание от этого не менялось. Я поддался зову мелодии, двинулся совершенно естественно и непринуждённо в её ритме; это доставляло мне радость.

Крушение и всё с ним связанное уже не казалось таким страшным, ибо им противостояла жизнь, явление более могучее и значительное; неуверенность и опасения исчезли. Передо мной развернулась картина творения жизни. Первой возникла молодая женщина с огромными синими глазами, мать природы, с озабоченным лицом. Одета в простую крестьянскую одежду, она двигалась в ритме мелодии без малейшего напряжения, не столько повинувшись ей, сколько находя в ней себя.

Никакая самая талантливая балерина не выглядит столь совершенно естественной, столь грациозной и слитой с мелодией жизни. Но вот озабоченность её сменилась приветом, и рядом возник и так же естественно зашагал, зажил в танце молодой мужчина. Они взялись за руки и шли, счастливые и излучающие любовь. Они одновременно обернулись в приветствии, и я увидел пожилого мужчину, бережно державшего в руке большого чёрного одноглазого ворона. Ворон уложил своё крыло человеку на плечо и с полной к нему доверчивостью дремал. На них пытливо всматривался юноша учёного и благородного облика. Подошёл человек, держа за руку девочку с лицом, искажённым испугом.

Поле очень быстро заполнилось людьми.

Я, однако, обратил внимание, что далеко не все стремятся подойти к молодой паре и слиться в гармонии с мелодией жизни. Жилистый мужик бестолково мечется по полю: то вскинет руки в лад, то вдруг, безумно оглянувшись на мир, кидается бежать в сторону, волоча на правой ноге гремящий крысиный капкан.

Возник и затрепетал в танце одухотворённый молодой художник в монашеском одеянии, но я на миг потерял его глазами, а через секунду

увидел на этом месте тощего длиннощетинного дикого кабана, с дробным топотом бегущего прочь.

Некие люди со смутными лицами, застыв, как врытые, смотрели на танцующих. Они делали неуклюжие попытки подражать им, но движения у них при этом получались конвульсивными и смотрелись карикатурой.

Отдельные люди, едва возникнув, тут же удалялись прочь. Одни — решительно, другие — испытывая явственное сомнение и колебания; среди них я различил таксистов, с которыми безо всякого для себя удовольствия встречался совсем недавно.

Решительно захваченный увиденным дивом, я прошёл поле и осознал себя только далеко за хвостовыми вагонами своего поезда. И вот здесь-то, то ли сам по себе в полной реальности, то ли продолжением дивной картины, но только предстал передо мной паровоз.

На этой магистрали давно ходят электровозы, ну ещё маневровые тепловозы, а паровозы исчезли вовсе.

Сила значительно более сильная, чем любопытство, направила мои ноги прямо к паровозу. Я осмотрел его вблизи и убедился, что перед мной не макет или киношная бутафория, а настоящий огнедышащий, окутывающийся белым паром паровоз. Я ухватился за металлические, отполированные до блеска поручни, поднялся по узкой лесенке и заглянул внутрь.

Там я увидел коренастого, совершенно седого, но ещё крепкого старика в синей форменной железнодорожной фуражке с лакированным козырьком, который, сидя на штатном металлическом паровозном стуле, жевал свой нехитрый ужин.

Старик обернулся ко мне и осведомился, что мне нужно.

— Не возьмёте ли меня на паровоз?

Не выказав удивления, старик приняля долго и внимательно разглядывать молодого человека.

— Что так? — спросил он наконец.

— Понимаете, я люблю паровозы. Увидел, потянуло, как магнитом. Нельзя ли с Вами?

Старик радостно рассмеялся и сказал:

— Залезай!

Одним махом я покорил старого машиниста и расположил его к себе.

— Только смотри, — предупредил он, — мы поедem медленно и стоять станем подолгу.

— Вот и хорошо, — согласился я, — мне торопиться некуда. А куда поедем?

— В Скуратово. Мне надо было дальше проехать, но тут крушение, так что возвращаемся. Я и сам из Скуратово, туда и паровоз гоню. Ну смотри, если не торопишься, я не возражаю, устраивайся, — и он указал на откидное сиденье у правого окошка.

Машинист Кувшин

Старик потянул всячую деревянную ручку, и великолепный, оглушительный, ласкающий душу рёв потряс округу, давно привыкшую к жиденькому вздорному свистку современных локомотивов. Затем, как и полагается, паровоз с шумом выпустил по обе стороны клубы молочно-белого пара; мощные шатуны лязгнули в своих цилиндрах, колёса рванулись вперёд и провернулись на рельсах. Поехали.

— Вот ты говоришь, а как звать-то мне тебя?

— Алексеем.

— Очень приятно, а меня Виктор Ивановичем. Вообще-то, в селе меня знают Кувшином. Привязалась ко мне эта кличка крепче настоящего имени, а от чего пошло... Соседом был у нас Вакушин, а я в детстве не выговаривал «В» и получалось у меня Кушин. Другим же слышалось, как более понятное, Кувшин, ну и прилипло. Кувшин и Кувшин.

Меня по паспорту знают только почтальоны. У нас в селе всех знают по кличкам; и то сказать, вроде проще и натуральнее. Имя, оно ведь ничего о человеке не говорит, а кличка даёт по признаку. Вот и получается, что она правильнее.

— Как Вы на паровоз-то попали? — я не знал, как обращаться к старику; называть его прямо так Кувшином стеснялся. Но тот догадался.

— Кувшином, Кувшином, я ведь привык. Меня это не обижает, не бойся. А на паровоз-то... — он усмехнулся, — вот ты говоришь, «увидел, и потянуло тебя к нему», так, получается, в этом мы с тобой одинаковые.

— Помню, ещё совсем молоденьким был, парни, мои погодки, кто на трактор, кто в кузницу, или какую ещё работу, а я как увидел на станции паровоз, так и готов. Влюбился, как говорится, навсегда. Никакой иной механизм видеть не мог, в смысле работы, конечно. Вот так-то. А тебе зачем в Скуратово, к родне, что ли?



Автор на паровозе Кувшина

— Не к родне, но как бы это сказать, особое дело у меня. Вроде как надо. Не знаю, говорить ли; можете не поверить. Сам бы не поверил, если кто скажи мне такое, — я был в нерешительности. С одной стороны, чувствовал полное доверие и симпатию к старику, а с другой...

— Ах ты, глупая баба, — он увидел далеко впереди на путях женщину и потянул ручку гудка.

Потрясённая неслышанным рёвом, неосторожная женщина не то, что сошла с рельсов, а прямо-таки скатилась с насыпи. Кувшин, очень довольный произведённым эффектом, продолжил свой рассказ.

— Ты вот что, Алексей, смотри, если какой секрет или не хочешь, не рассказывай, не насилуй себя. Но не сомневайся, я, если что, и

помогу тебе, не подведу. Да ещё, называй меня на «ты», мне это твоё «Вы» очень непривычно.

Я решился и стал рассказывать старику о своих снах.

— Дело в том... — здесь я, однако, прервал свой рассказ, ибо меня поразил вид старого машиниста. Кувшин сидел в явном волнении, уперев ладони в колени и подавшись вперёд в напряжённом интересе, будто он услышал нечто, касающееся его лично и настолько важное, что никак не возможно пропустить ни единого слова.

— Рассказывай, рассказывай, — нетерпеливо и даже требовательно произнёс он.

— В этом облаке, — продолжал я, — отчётливо ощущалось недоброе; оно порождало в моей душе острую тревогу и ввергало в ужас. Ужас такой силы, что я просыпался, лежал, а он оставался во мне и держал в своей власти... и я рассказал Кувшину всё как есть.

— Вот и весь мой секрет, а откуда мне стало известно, что ехать надо в Скуратово, честно говорю, не знаю. Будто всегда знал. Хотя откуда? Из сновидений?

Старый машинист настолько взволновался рассказом, что пришёл в полное расстройство. Он то вставал и садился вновь, то подходил к окошку и подолгу всматривался в проплывающие окрестности. Всё порывался говорить и даже открыл было рот, но наконец махнул рукой и надолго задумался.

Постепенно он успокоился и обрёл способность высказаться.

— Вижу я, Алексей, желаешь ты разобраться, понять, для этого и едешь, — сказал он. — Но ты человек здесь новый и многого не знаешь. Так вот, слушай, начну издалека.

По первости работал я на большом мощном локомотиве, водил товарные составы, а потом, теперь уж не помню, по какой причине, но поставили меня на этот, и с того времени закрутились мои дела в удивительном направлении.

Таких паровозов, вроде моего, оказалось в Скуратово, неизвестно откуда, семь штук. В рейсы их не пускали, а так — смажут, проверят, прогоняют километров сто, не больше, и в тупик.

Что за паровозы, зачем? Никто до поры до времени не знал, и я не знал. Мне скажут, сделаю. Деньги шли нормальные, не меньше, чем за рейсы. Я и не роптал. А потом пошло дальше. Присох я к этим паровозам, словно к лошадям. Да и то, стал я замечать, что они и в самом деле наподобие лошадей, и норы проявляют, и направление в своей жизни имеют, вроде как живые.

Подожди, Лёша, вот наша с тобой первая станция-остановка. Надо его водичкой заправить, а то взбрыкнёт. Ты у меня станешь за помощника; паровозные водокачки-то сохранили, да воды в них нет, так что пойдём, напоим его из шланга.

Мы вышли на перрон, сделали всё, что нужно, размялись, обменялись с дежурным по станции жезлами и покатали дальше.

— Так, смотри теперь, что у меня получилось. Я его чищу, смазываю, где полагается, ухаживаю за ним... и боюсь его. Временами видел я в нём самостоятельность: вроде, он живёт своей жизнью.

Нет, всё шло, как надо: нажимаю на рычаги, заставляю его двигаться вперёд, назад, останавливаться, свистеть и прочие дела, но при всём том казалось мне, что делает это он добровольно, из уважения ко мне, за моё старание. Особенно ощутимо это случалось, когда я в конце смены отводил его к стоянке в тупик, где дремали в недвижимости остальные шесть паровозов. И вот поверь, Лёша, мой паровоз начинал совершать необходимые переключения без моего участия и мягко останавливался в конце колонны.

Вот так мы с паровозом и жили.

И вот одно смешалось с другим. Начались у нас в селе такие дела, что я совсем перестал соображать. Сказали нам, что где-то там образовалась новая народная власть. Народная, значит, наша, за нас, — он произнёс это на разные лады, как бы пробуя на вкус, — словом, звучит хорошо, а назначили нам начальником... и смех, и грех. Ваньку, известного ворюгу! Ну как это понимать? — спросил он меня. Спросил так, для риторики, не ожидая ответа. — В помощники же ему прислали молодцов! Мужика Гришку с вепрем.

Вот тебе и наша народная власть. А уж разгулялись они, не приведи Господь.

Народ-то и затаился, чтобы выжить, а то враз убирали, если кто там...

Перво-наперво поставили по столбам эти тарелки. День и ночь из них несло: «Наш великий Кормчий, наш учитель, наш спаситель, наш мудрый из премудрых...» А власть шастает по селу и прислушивается, кто что скажет.

Теперь скажу тебе самое главное, это уж я позже узнал. Оказалось, что мои паровозы суть катафалки, да не простые, а для кормчих.

Тут я вовсе в тупике. Почему в Скуратово, что за столица такая, и зачем паровозы?

Кувшин не понимал, а мне кажется, вероятнее всего, из-за не чуждой им романтики и неизменно присущего тщеславия. Паровоз, этот

король сухопутного транспорта того времени, производил на них неизгладимое впечатление. Окутанный клубами белоснежного пара, изрыгая огонь, с рёвом и страшным шумом мчался он всюду, где лежали стальные рельсы, представляя собой величественное и одновременно грозное зрелище. Олицетворяясь с паровозом, кормчие нашли тем самым прекрасный способ возвеличивания себя и после жизни.

Я с нетерпением ожидал продолжения рассказа о паровозах-катафалках, но Кувшин вдруг замкнулся, будто испугался чего-то, и поспешно перевёл разговор на иное.

Он надавил на тормоза, и паровоз встал.

— Вот наша вторая остановка. Я, Лёша, по молодости шустрый был, все новости в селе через меня шли. Прямо смех, где что случись, я знаю первый. Сам не понимал, как это получалось. Из-за этого и попадал, ни приведи Господи. После одного случая год тряся. Вечером боялся в сортир выходить. А дело было так.

Помер Леяка, и очень я его пожалел. «Отмучился, — думаю. — Жизнь у него с самого начала получилась тяжелая». Вот, Лёша, чтобы ты знал, как люди живут и что с ними может происходить. Леякин дом считался в селе самый грязный, не считая Муськиной хаты, но о Муське особый разговор. Полы они сроду не мыли; иногда, если уж навоза накопится невпроворот, поскребут лопатой, и вся уборка. Родители Леяки жили бесшабашно.

(Бесшабашность толковалась в селе не как разгульность и склонность к праздности, а как ненормальное отношение к детям и устройству быта, хозяйства, то есть, жизнь не правильная, не по-людски.)

Отец всё копил деньги. Соберут с огорода или там откормят телёнка, подберут яйца — всё продавали и всё в кубышку. Ребята вдоволь никогда не наедались, что успеют утащить от продажи, то и поедят. Другие зарежут скотину, у них праздник. Свежати́на на сковороде, выпивка, веселье, довольство, а у этих угрюмая работа и скупость. Словом, жизнь в семье Леяки была безрадостная и пустая. Старший брат Леяки от такой жизни стал неврастеником. Так вроде ничего, женился, не пьёт, но ночами просыпается в холодном поту и дрожит. Ушёл в дом к жене на Выглядовку.

Отец работал на железной дороге и всё ковырялся на путях. Однажды он не углядел и попал под поезд; его перерезало пополам. Мать вскоре после этого померла, и остался Леяка один.

Женихом его полагали никудышным; общее мнение, сложившееся о семье, распространилось и на Леяку — несамостоятельный и грязнуля. Но вот женился Леяка на Лидии с хутора Тёмное в овраге за

посадкой, и жизнь его переменялась. Лидия дивчина хорошая, статная и работающая, а уж какая чистюля, как и её мать Катерина.

Леляка, в отличие от отца, открыт для хорошего. Навели они порядок, в доме всё заблестело и стало уютно. Как водится, пошли дети, и выглядели они ухоженными. Бабка Катерина вкладывала душу во внуков. Но вот она померла.

Затем померла Лидия. Леляка стал пить, а сыновья один за другим отправились в тюрьмы. Словом, вернулся Леляка на круги своя. А вот и сам помер. Горько мне стало за него, а в себе подумал, ведь мучился он, не жил. Значит, легче ему теперь, что жалеть-то? Может, и хорошо, что помер.

Прихожу к нему: лежит он, как водится, во гробе, чистый такой, и лицо у него спокойное, как спит. Ни морщинки, ни досады, ни горести. Выходит, ему натурально хорошо; будь плохо, на лице отразилось бы. Ну, это я так, от жалости к Леляке.

Отнесли мы его вечером на отпевание в церковь, тогда ещё Ванькой не порушенную, а я пришел домой и выпил полстакана, чтобы согнать тяжесть с души. Леляки нет, а мне пока ещё жить.

Утром встал, покрутился во дворе, задал животным корму, поставил варить картошку и вышел за водой. Иду с пустыми ведрами, а это для встречающих людей плохая примета. Так я жмусь к штaketнику, чтобы идти не навстречу, а как бы сбоку, и тем самым сделать примету недействительной. Сам, конечно, всех вижу.

И вот, Лёша, не поверишь, идёт посередине улицы, кто бы ты думал? Леляка!

Ты знаешь, я не псих, нервы, как выражается моя половинка, дай ей Бог здоровья, у меня дубовые, но тут внизу у меня не то, что опустилось, но прямо провалилось, ноги ослабли, а ведра выпали из рук и загремели по дороге.

Леляка тоже меня увидел, подошёл и говорит: «Не бойся, Кувшин, живой я», — и потрогал меня рукой.

«Дык, как же?» — спросил я, и вот что он мне рассказал.

«Так, Кувшин, мне стало дурно от моей жизни, не передать. Лёг на кровать и провалился в черноту; заснул таким большим сном, что стал, как мёртвый. Когда очнулся в церкви в гробу, то испугался почти твоего. Выбрался через окно и пошёл домой, и вот иду».

— А вот и Скуратово. Приехали мы с тобой, Лёша. Я приторможу, а ты слезай. Поведу своего жеребца в стойло. Осмотришься, непременно заходи, не забывай старика.

Мы простились, я спрыгнул на перрон.

На развалинах

Шагах в десяти я заметил пожилую женщину с приятным лицом, сутулую по местному образу течения жизни, и тут же узнал в ней ту самую старушку, которая тогда среди множества людей выделила меня глазами и сильно переживала, когда я не сошёл с поезда, а поезд ушёл.

Она быстро ко мне подошла, некоторое время вглядывалась, всё более светлела лицом, и наконец, совершенно довольная, произнесла:

— Ну вот, ты и приехал, слава Богу. Здравствуй, сынок. Пошли.

Я с ней ранее не встречался, но некие смутные воспоминания подсказывали, что она не чужой мне человек. То ли я всё же видел её где-то, то ли знаю о ней. Ощущения эти, хотя и весьма неопределённые, тем не менее, настраивали меня на полное к ней доверие.

Между тем, мы бодро шагали по утопанной дорожке; вначале по краю железнодорожной насыпи, затем, перевалив стальные пути, извилисто спустились через заросли шиповника и рябины, миновали небольшое болотце и двинулись в сторону уже виднеющегося вдали села.

Небольшой подъём, и далеко впереди возник, взметнулся над селом силуэт высокой церкви. Я остановился, вздохнул, перекрестился и поклонился. Старушка Пелагея всхлинула.

Мы одолели ещё один довольно крутой подъём, и ступили на край обширного холма, ограниченного впереди селом, а по бокам лесными посадками; справа вдали виднелось сельское кладбище. Дорожка пересекала холм наискось и терялась из вида ещё до впадения в сельскую улицу. Идти на станцию этим путём называлось по-местному «накосяк», в отличие от другой дороги, вдоль железнодорожной линии. Сплошь распаханый холм уже зеленел всходами.

Нас было обогнал, но придержал шаг и пошёл рядом сосед Пелагеи, Фёдор, человек средних лет, крепкий и продубленный жизнью на открытом воздухе.

— Кто же работает в поле? — поинтересовался я.

— Гоняют народ на работы, — ответил Фёдор, — все работают.

Я присмотрелся и увидел там и сям, на нежной зелени всходов разбросанные по всему холму разнообразные сельскохозяйственные механизмы, различил громадные оранжевые комбайны с вывороченными боками, трактора без колёс, растерзанные кузова-платформы,

ещё какие-то, незнакомые мне машины. Все они выглядели совершенно изуродованными и представляли для хозяйственного рачительно-го глаза ужасное, невыносимое зрелище.

— Почему они брошены? — спросил я у Фёдора.

— А кому они нужны? — удивился тот. — У нас, если какая машина испортилась, мы её бросаем как есть. Ну, там, конечно, снимаем, что нужно. Из города ещё пришлют, — добавил он, — отказу нет. Только ждать приходится долго.

Он помолчал, подумал и усмехнулся:

— Там говорят, «мы народ кормим», — он покрутил головой.

— Так мешают же при работе, хотя оттащили бы куда.

Фёдор посмотрел на меня, как на ребёнка.

— Ничего они не мешают, хороший машинист всегда объедет, ничего хитрого.

— А хорошо платят?

Фёдор с опаской глянул на меня, опасаясь ответить. Мужик вроде нормальный, глаза честные.

— Хрен с палочкой, да с галочкой, — откровенно выдал он.

— Как же живёте?

— А мы берём, ну то самое, что сами и выращиваем, — он удивился обороту собственной мысли, — теперь это можно.

— Крадёте, что ли?

— Работаем в поле-то мы, как же это можно своё красть? Берём.

Мы вошли в село и повстречали похоронную процессию.

Печальное зрелище, где в центре гроб и всё остальное обращённое к нему. Мальчик впереди, разбрасывающий по земле хвойные веточки, рыдающая женщина в чёрном одеянии и скорбные лица людей, идущих за гробом.

Ощущалось, однако, в поведении процессии нечто режущее глаз, этакая кощунственная несуразность. Скорбящие люди, провожающие в последний путь близкого человека, двигались не степенным траурным шагом, подобающим печальному событию, а напротив, шли очень быстро, почти рысью. Это выглядело, по меньшей мере, странным.

— Что они так торопятся? — спросил я, решительно поражённый.

Пелагея проводила взглядом траурную процессию, которая быстро пропылила мимо и скрылась за поворотом.

— Виктора понесли, а спешат оттого, что в доме у них ещё покойник дожидается, Валентина, мать Виктора. Сразу нести считают вроде нельзя, а почему, и сами не знают. Сказал кто-то, а не придать значе-

ния сказанному невозможно: вдруг и в самом деле нельзя, что тогда люди скажут.

Я в удивлении покачал головой, и мы двинулись дальше, но не прошли и сотни шагов, как повстречали ещё одну похоронку. Тут шли подобающе медленно. Мальчик так же кидал перед гробом еловые веточки, а впереди, сразу за мальчиком, топал мощный, как грузовик, Сашка.

Сашка был добровольным, но непременно участником всяких церемоний, будь то свадьба или похороны, или ещё что, которые сопровождаются выпивкой. Обиженный умом, в быту он, тем не менее, проявлял хитрость и своего не упускал. Несмотря на указанное состояние ума, любил читать романы. Придёт домой, затопит печку, ляжет на кровать в сапогах, и книгу в руки. Золу из печки он выгребал в угол комнаты, где куча никогда не снижалась ниже полуметра, истинный террикон. Люди видели его умственную ограниченность и не обижали. Всегда поднесут и накормят. Пил он крепко, но совсем пьяным его не видели.

Так вот, этот Сашка, величественный, как командор, топал сразу за мальчиком, придавая церемонии особую, почти воинскую торжественность. Известно, что лучше военных никто хоронить не умеет, а в сёлах военных уважают особо.

Но и здесь я заметил странность. В лицах мужчины и женщины, идущих сразу за гробом, не виделось скорби. Скорее они выражали полное удовлетворение происходящим. Хотя время от времени они подносили платок к глазам, как бы промокая слёзы, и женщина при этом даже голосила, а мужчина громко всхлипывал, но я отчётливо различил фальшь в их поведении.

— Что же тут удивительного, — объяснила Пелагея, — этот мужчина, который вроде всхлипывает, муж покойнице, а женщина родная ей сестра. Поженились мужчина с покойницей год назад, и всё вроде ничего, но однажды жена вернулась с работы раньше обычного, да и застала мужа, вот этого мужика, на своей родной сестре в самом рабочем положении. Как же она кричала!

Убежала в амбар и повесилась. Вот теперь несут. Так что же скорбеть, если образовалось, как им лучше.

Пелагея вздохнула; она не столько осуждала их, сколько скорбела за покойницу и не понимала сердцем, как можно совершить такое страшное дело.

Дальше улица шла под уклон, образуя внизу обширную лужу, а точнее, мощное чернозёмное месиво. Лужа была истинно чёрной

дырой для всякого механического транспортного средства кроме тракторов. Люди не знали ни одного случая, чтобы машины проехали лужу, не застряв. Вот и теперь в ней, погружая колёса, в безнадежном состоянии замерла полуторка. Судя по равнодушию, с которым люди проходили мимо, картина для них обычная.

— Вытянут, — сказал Фёдор и зевнул, — Колька, видно, побежал за трактором.

— А давно это болото? — поинтересовался я.

— Сколько себя помню.

Мы встретили ещё одну похоронную процессию. Третью по счёту.

— Приходько Ксения преставилась, — перекрестилась Пелагея, — отмучилась раба Божья.

— Пелагея, — я был потрясён, — это же сколько похорон-то?!

— Так не всякий день, но в месяц раз обязательно, видно, вымираем.

Ванька увидел Пелагею и с ней незнакомого человека. Он поднялся с крыльца, громыхнув капканом.

— Кто этот странный человек, и почему у него на ноге капкан? — спросил я, но Пелагея сделала мне знак глазами. — Расскажу потом, давай подойдём, — шепнула она.

— Кто таков? — строго спросил Ванька, указывая на меня пальцем, — я его не знаю.

— Приезжий он, у меня живёт.

— Ох, Пелагея, доверчивая ты. Сколько раз тебе внушать, имей недоверие к чужим людям. Небось, и паспорта не спросила? — вдруг сказал Ванька.

— Не спросила, — ответила Пелагея, — так я ему верю, он добрый человек.

— Ну ты даёшь, Пелагея, как же это? Где жил, почему уехал, зачем здесь? Смекаешь теперь? Эх ты, порядка не знаешь.

Он помолчал. Внезапно лицо его исказилось, глаза сверкнули.

— А может, он, — Ванька даже задохнулся, — может, случаем, за домом? Так у меня бумага есть.

— Не отдам! — привычно заорал он и загремел капканом.

Пелагея посмотрела на него с жалостью.

— Успокойся, Иван. Алексей по другому делу.

Ванька вдруг застыл, как врытый, лицо его переменялось.

— Как, говоришь, зовут?

— Алексеем.

— Алексей, Алексей, — шептал Ванька, — а, Алексей.

Он вплотную подошёл ко мне и стал шептать в ухо:

— Имею к тебе секретный приказ. Иди к Александру, он ждёт тебя.

— Зачем? — спросил я. Я не знал Александра. — А кто такой Александр?

— Кто, кто, — передразнил меня Ванька, — дед Пухто! Вот кто. Ждёт тебя Александр, что тут непонятного? Ну, люди, — и он сокрушённо покачал головой. — Вот сколько правлю селом, столько им удивляюсь.

Передав мне приказ, он опустил на крыльцо с громадным облегчением, как гора с плеч. Теперь только дом уберечь. При этой мысли он тревожно огляделся, нет ли кого ещё. Надо сторожить. Правильно он это решил. И Ванька отправился в своё бесконечное путешествие вокруг дома, гремя капканом и воя для устрашения.

— Что он тебе сказал? — спросила Пелагея.

— Передал приказ Александра идти в барский дом. Как мне быть? Пелагея задумалась.

— Сходи, — решила она, — я расскажу тебе всё, что знаю.

Пелагея ввела меня в свой дом и просила располагаться по удобству.

— Жить ты станешь вот здесь, — и она показала мне небольшую, но светлую и весьма опрятную комнатку.

Вошла девушка, стройная, как берёзка.

— Валя, это Лёша. Он будет жить у нас.

Та взглянула на молодого человека и густо покраснела; понравился он ей сразу. Между нами прошла искра симпатии и определила нашу судьбу. Мы стали со временем мужем и женой на всю нашу жизнь.

— Это моя внучка, Лёша, — пояснила Пелагея и, заметив наше явное смущение, рассмеялась.

Я привёл себя после дороги в порядок, Пелагея приготовила ужин.

Мы сидели и пили чай.

— Алёша, ты должен понять, что происходит в нашем большом селе. Неладно тут. Люди, конечно, сами повинны в своих бедах, но они больны и они изолгались; лекарство для них, это правда о себе. Ты дашь им это лекарство, а я тебе помогу. Готов ли ты?

— Для этого я приехал, и я готов.

— Тогда слушай, — и Пелагея рассказала мне всё, что знала о селе, об Александре, Якове, Ваньке, о странной паре помощников власти и о других людях.

Сиреневый мир

Выполнить переданную мне Ванькой просьбу Александра о встрече было для меня первостепенным делом, но, скажу откровенно, я находился в полной растерянности. Следовать в барский дом, но с какой целью, Александра среди живых нет. Каким же образом мне встретиться с ним?

К счастью, в селе время от времени, не часто, но появляются люди, обладающие особым духовным даром. Такой человек случился и теперь: близкий и очень старинный знакомый старушки Пелагеи. Видя мои затруднения, она подсказала мне обратиться к нему; он, сказала она, человек умный и совестливый. Знаю его много лет и уверена — он непременно даст тебе толковый совет.

Мы встретились. Я изложил ему суть дела, не вдаваясь в детали, ибо полагал его сугубо своим личным. Он очень внимательно меня выслушал и надолго задумался.

— Вот что, Алексей, — наконец произнёс он, — надо тебе выйти на наше шоссе. Люди ещё называют его Странным и даже где-то опасаются из-за его удивительных свойств, хотя опасаться-то, вроде, оснований нет. Оно расположено между железнодорожными путями и селом; протяженность его всего пять километров и обрывается оно так же нелепо, как и начинается. Странное, да и только.

Встань пораньше, как только рассветёт, походи не торопясь, скинь с себя суету. Хорошо, чтобы никого не встретить, но это получится, ибо прохожий там — редкое явление. Главное, не суетись и мыслями не тужься. Скажу сразу, странное шоссе — это вход в сиреневый, таинственный, иррациональный мир, где не действуют физические закономерности Земли, а всё происходит по законам метафизики. Твоё дело как раз в этом русле. Для того, чтобы войти в этот мир, нет нужды бежать на край света или вообще передвигаться в пространстве. Он рядом, более того, он в каждом из нас. И тем не менее, путь к нему труден, а для многих заказан вовсе. Ибо это не что иное, а суть христианской нравственности и духовное прикосновение к вселенскому разуму; это состояние души человека. А ты сам знаешь, какие бывают души.

— А почему сиреневый? — спросил я.

Он махнул рукой:

— Да это не важно, не в том суть. Скажу позже.

Человек, занятый добыванием пищи и всего остального, необходимого для своего телесного существования, постоянно пронизан

множеством сигналов материального свойства и в силу этого живёт больше как природное существо, нежели как человек, сотворённый Богом. Чтобы подойти к сиреневому миру, человеку необходимо подняться над своим природным началом и, вытеснив из себя суетные мысли, обрести свободу устремления к вселенскому разуму. Это чудовищно тяжело и многим не дано, ибо это духовный подвиг.

Там тебе будет ответ. Только смотри, тяжко тебе придётся, непростое это дело. Во-первых, произойдёт это не вдруг, потерпи, возможно, и не произойдёт, не всякому дано, а потом, если войдёшь ты, сам ощутишь куда, то навалится на тебя такая грандиозность, что не свихнись, Лёша, трудно это. Вот такие дела, Алёша. Главное, не свихнись.

Не свихнусь.

На следующий же день я вышел на шоссе, хорошо прошёлся, увидел добрый берёзовый пень и присел. Рядышком с шоссе, как бы под его аурой. На дрова, видно, спилили берёзу аборигены. Посидел сколько-то, да и пошёл домой. Ничего.

В таких бесплодных попытках прошло немало дней. Но вот однажды, как теперь уж обычно, сидел я на пеньке в размышлении, и внезапно ощутил в себе решительно незнакомое состояние. То ли задремал, то ли опрокинулся в сон-обморок. Передать точно не могу.

У меня появилось ощущение чего-то непонятного, загадочного, но и только. Несколько раз я подсознательно, вроде, заглядывал в это нечто. Появились и стали нарастать мучительное томление и тоска по этому, несомненно, сложному и прекрасному. Пока всё. Так повторилось несколько дней. Постепенно я научился улавливать такие моменты озарения и делал попытки продлить их. Наконец, ощутил в себе пусть слабую, но всё же способность войти и решился. Решился, но продолжал топтаться у входа. «Топтаться у входа» — не самое удачное словосочетание в этом случае, просто это попытка выразить привычными человеческими понятиями нечто совершенно новое и странное.

Я вошёл.

Слабый светло-сиреневый свет заполнял воздух, слабый настолько, что создавалась иллюзия полумрака; вместе с тем, всё вокруг выглядело отчётливо, рельефно и поразительно ясно. Тени отсутствовали, и всякий предмет был виден одинаково объёмно со всех сторон. Это, однако, всего лишь внешние, незначительные признаки, так, пустяки.

А вот дальше... дальше на меня обрушилась и ошеломила умопрачительная в своей грандиозности вечность! Она предстала передо мной как невообразимо гигантский океан людей и событий от сотво-

рения человека до гибели цивилизации. Времени, этого самого загадочного и неуловимого понятия, здесь как бы не существовало. Не было в отдельности прошлого, настоящего, будущего, но вся вечность одновременно засияла передо мной. Не как конкретная, состоящая из каких-то предметов, по земным представлениям человека, а всеобщая грандиозность бытия. Вроде бы, по отдельности, предметно я ничего не различал, да и как это могло быть, если это грандиозность; но нечто огромное, спрессованное в моём сознании, как абстрактная идея. Я ощутил её без участия разума, что называется, кожей.

Будто само время и всё, что случилось с людьми за бездну лет, бесчисленное количество прожитых жизней, рождений и смертей, страданий и грехопадений, разврата, разочарований, наслаждения, вероломства, лжи, разбоев, воровства, любви, сражений, добрых дел и крови, крови, крови... словно всё это опрокинулось на гигантский, бесконечно длинный свиток и отпечаталось на нём чётко и во всех подробностях. Это ощущалось, что во всех подробностях, по моей вере в это, но бездоказательно с точки зрения природного человека, Землянина. Мне так показалось, ощутилось, но без предметного видения.

Потрясённый, я не отрывал жадного мысленного взгляда от этого чуда. Вскоре, однако, это диковинное ощущение потускнело; ещё мгновение назад ясное, оно окуталось сиреновой дымкой и исчезло, растворилось.

Я стоял в трепетном ожидании. Нигде и никогда не ощущал я в себе такой ясности сознания. Все премудрости природного человека потеряли для меня всякий смысл; здесь неуместно хитрить, льстить, обманывать, бояться, выпрашивать, унижаться... и прочее, засоряющее мозги. Всё, что мешает поискам истины, осталось где-то там, внизу, за пределами этого мира.

Я увидел человека. Он стоял свободно: серые брюки и летняя рубашка с короткими рукавами, лёгкие туфли на стройных ногах. Лёгкий, едва заметный свет окутывал его лицо, светлое и почти прозрачное. Свет разливался по всей его фигуре, образуя мерцающее выражение его сегодняшней, неземной сути. Дух, сохранивший внешность земного человека. Впрочем, никакими словами невозможно выразить истинный облик Александра, стоящего перед мной. Мне это не под силу.

— Долго же ты не приходил, Алёша. Я давно жду тебя.

— Я пришёл.

— Мне тяжело, почти невозможно находиться здесь, — голос Александра прозвучал печально. — Но я не выполнил на Земле того, что

считаю важным. Я должен передать тебе свой крест; теперь ты понесёшь его. Я не успел предупредить людей о чрезвычайной опасности, которая им угрожает.

— Я для этого и пришёл к тебе, Саша.

— Знаю. Теперь слушай. У нас мало времени. Подобно тому, как некогда живые существа и растения уходили в землю и, накапливаясь за мириады лет в огромных количествах, насыщали её энергией, углём и нефтью, так и человеческие поступки не исчезали бесследно, но, будучи духовного свойства, они разделялись на добро и зло, и каждое находило своё место. Сравнение это весьма условно и приведено мной лишь как искусственный логический приём, помогающий яснее представить суть дела, но никак не для точного определения самой сути духовного мира как такового. Земной и духовный миры представляют разные субстанции, они существуют каждый по себе и зависят только от Творца...

Чёрные поступки людей бесчисленных поколений уходят в землю и собираются в виде скоплений энергии зла, ожидая своего часа. Так вот, Алексей, у нас в селе образовалась щель к такому скоплению, и получился выход энергии зла наверх, к людям. Она укутывает их и толкает к гибели. И не существует преграды ей материального свойства.

Есть, однако, у неё слабое место. Она воздействует лишь на слабые, сомневающиеся души и не выдерживает встречи с искренним, убеждённым добром.

А теперь возвращайся. Ты живой человек, и ты в состоянии донести тайну до людей, закрыть расщелину. Ступай, твоё место на Земле, среди людей.

— Теперь я знаю, что мне делать, — задумчиво сказал я, — летопись, и ещё стану просить у Патриарха воссоздать храм. Но удастся ли всё это выполнить? Жизни не хватит.

— Как же, — возразила Валентина, — ты теперь не один, а двух жизней должно хватить. Тем более, если они вместе.

Григорий

Для начала я решил осмотреть комнату, тайну которой раскрыл Александр, и отыскать план с изображением расщелины и потока. Вошёл в барский дом, однако, в бывшей гостиной, которую мне

предстояло пройти, чтобы подойти к двери, обнаружил Григория и вепря. Видимо, мой приход не стал здесь неожиданным: меня ждали.

— Куда, ты Алёша? — обратился ко мне Гришка тоном доброго приятеля.

— Да вот, хочу пройти.

— Туда нельзя. Не велено.

— Кто же не велел?

— Властью не велено, Лёша, властью. Кем же ещё? Меня поставили стеречь. Вот и Ефросий скажет.

— Знамо дело, бдим, — подтвердил вепрь.

— Что ж, приду в другой раз, — сказал я и повернулся, чтобы уйти.

— Подожди, не торопись, поговорить надо.

Я остановился.

— Ты садись, разговор будет долгим. Словом, так, отойди ты от этого дела. Не встревай.

— А что так?

— Опасное оно. Ты забудь про него, и мы помиримся, договоримся.

— О чём?

— Ладно, темнишь, так я откроюсь. Я ведь знаю, что ты затеял. Послушай, не закрыть тебе прохода, Алексей. Человеку это не по силам.

Я изобразил на своём лице нерешительность, помолчал.

— Ты прав, Григорий, дело нешуточное, но посуди сам. Что толку мне с тобой обсуждать? Ты пятая спица в колесе, мелкая сошка, и договор с тобой пустое дело.

— Я мелкая сошка?! — вскричал в великом возмущении Гришка. — Смотри, Алексей, внимательно смотри!

Внешне передо мной по-прежнему стоял тот же Гришка. Те же длинные руки, невзрачная физиономия, но... сокрушающая уверенность и абсолютное превосходство решительно преобразили его. Жажда агрессии и насилия вырывались из его огненно-красных глаз, а вместо дремучей тупости в них пламенел резкий, как лезвие топора, ум.

Вепрь свалился с кресла и вытянулся в струнку по стойке смирно; рыло его выразило предельное послушание и обожание.

Гришка некоторое время наслаждался эффектом своего преобразования, а затем пояснил.

— Я не хочу предстать перед тобой в своём истинном виде, ибо я энергия, а она не имеет постоянной формы. Мы, я имею в виду себя и подобных мне, в миру принимаем форму существ, которые нас порождают.

— Кроме того, тебе не выдержать взгляда на меня истинного. Это ни на что из твоего мира не похоже, — высокомерно добавил он. — Однако, надеюсь, ты убедился, что я не тот примитивный Гришка, с которым ты побрезговал говорить.

— Вижу, — прошептал я, действительно поражённый, — но кто же ты?

— Я хранитель зла.

— Сатана, что ли?

— Да нет, — досадливо махнул рукой тот, — оставь это для простых людей. И, пожалуйста, зови меня по-прежнему Гришкой; так проще для нас обоих.

— Зло, зло... — раздумчиво протянул я своей интонацией, как бы пробуя его на вкус. Оценивая и осмысливая. — Зачем оно людям? — Необходимое для жизни люди создают своим добрым трудом. Зло ничего для жизни не даёт, но лишь разрушает, да ещё отнимает. Оно мешает людям жить. Не так ли?

— Вот тут ты не прав, Лёша, напротив, оно помогает им жить и выживать. Ведь многое из необходимого для жизни они получают через насилие и ложь. Зло не менее важно для человека, чем то, что ты называешь добром, оно есть часть человеческой сути, — он повторил это с акцентом на смысловую сторону.

— Но то, что стоит передо мной, то есть, ты, не часть, а нечто целое.

— Здесь ты прав. Да, теперь я живу сам по себе, но как это произошло? Зло, творимое людьми, мириады лет стекало вниз и накапливалось, пока не образовались мы. Люди сотворили нас! Как же мы, потвоему, не часть человека?

— Всё так, но люди проходят испытание жизнью, и это определяет их будущее, а у зла нет будущего! Скажи, Григорий, к чему ты стремишься, есть ли у тебя этакое самое главное?

— Ровным счетом ничего! Я живу. Это мой мир. Разве я не свободен и не имею права жить в своём мире?

— Имеешь. Живи в своём мире, но не вторгайся в наш мир, не мути. Ты можешь оставить людей в покое?

— Не могу. Люди зовут нас! Поверь, Алексей, без зова я не прихожу. Ты же приходишь к ним со своим добром, если слышишь зов? Люди свободны в выборе!

— Но ты дразнишь их, много обещаешь, поощряешь их дурные затеи. Зачем это-то?

— Случается. Но войди в моё положение, Лёша, мне также не чужды слабости. Порою так хочется позабавиться, и потом, не скрою, я заинтересован, как, впрочем, все мы, да и ты тоже, в умножении себе подобных.

— Ты творишь гадости, а вину сваливаешь на людей.

— Лёша, — Гришка укоризненно глянул на меня, — я вижу, ты не понял. Повторюсь, они сами призывают нас, они сами творят то, в чём ты обвиняешь нас.

— Вы засылаете им в вожди существ своего мира, которые ведут людей по гибельному и кровавому пути.

— Ты имеешь в виду кожаные куртки? Да, они славные ребята и дадут мне фору в моём родном деле, — Гришка улыбнулся. — Они славные ребята, — повторил он с наслаждением. — Никогда ещё я не видел столько подлостей, мучений, казней, лжи. Они взбодрили меня, а то одно время я даже загрустил, заскучал. И ещё, клянусь тебе, всю эту бессмыслицу, всеобщее равенство, справедливость и прочее, придумал не я. Мне такая чушь даже в голову не могла прийти по причине полной нелепости. Люди могли и сами такую липу усечь.

— Не поверишь, Лёша, — с мерзким смехом сказал Гришка, — даже я не предполагал, что начнётся такое. Триумф, безусловно, триумф! В какой-то степени и мой, — скромно добавил он. Но подожди, Алексей, то ли ещё будет. Они затевают славную бойню. Таких ещё не было, поверь.

А мой Кормчий откровенно хорош! В нашей иерархии он займёт высокое положение. У нас ведь иерархия, — значительно и с важностью произнёс он.

— Впрочем, заговорился я. Перейдём, однако, к делу. Послушай, Лёша, — вкрадчиво сказал Гришка, — разве мы не можем помириться? Неужели мы обречены вечно поносить взаимно?

Я пожал плечами.

— В общем, так, в комнату тебе не попасть. Не внемлешь словам, придумаем иное.

Я пошёл к выходу. Гришка кинул мне вслед взгляд, полный презрения и обещания стереть с лица Земли. В этот момент, обернись я, увидел бы вместо всесокрушающего Григория просто Гришку с его тупой мордой. Вепрь принял положение «вольно», забрался в кресло и удобно устроился в позе «портного».

Мираж

Утро. Солнце взошло и осветило село. Синее, удивительно чистое небо ласкало глаз и порождало ощущение соприкосновения с бесконечно далёким и непознаваемым. Слабый, чуть тёплый ветер приятно освежал, не утомляя своим напором. Словом, стояла та редкая погода, когда человек доволен ею.

Однако, во второй половине дня в небе произошли изменения. Солнечный свет стал пронзительным, а небесная синева приобрела ядовитый зловещий оттенок. Небо стало неприятным и даже враждебным; и этот иной вид его с каждой минутой всё усиливался, подавляя. Людей охватило чувство тревоги, и они в беспокойстве то и дело вглядывались вверх.

Часа за два до заката раздался треск громовой силы, непонятный при безоблачном небе, и всё пространство вокруг заполнил гул необычайно низкого звучания. Человеческое ухо почти не воспринимало его, но гул исходил такой мощностью, что вызывал в людях дрожание и доводил до дурноты.

Но вот гул прекратился, и теперь внимание людей привлекла метаморфоза, происходящая в небе. В различных местах его стали появляться во множестве знаки: зелёные спирали, тени, красные блики, фиолетовые вихри, пирамиды и прочее в этом ряду. Знаков стало столько, что небо до самого горизонта во все стороны покрылось ими. Они перемещались в разных направлениях, смешивались, исчезали, увеличивались, вспыхивали и гасли, и эти их изменения казались хаотичными и лишёнными смысла.

Феномен и не более того. Мало ли чего не привидится в небе.

Но вот стало заметно, что движение в небе всё ускоряется и ускоряется, и вскоре пошло сплошное мелькание.

— Истинная карусель, — выразил общее мнение Кувшин.

В этой карусели ощущалось, однако, чудовищное внутреннее напряжение. Казалось, нечто набирало обороты и раскручивалось для того, чтобы в конце концов вырваться и обернуться тем, ради чего совершается эта круговерть. Явление сродни тому, как из гладкого, ничего не выражающего яйца должен вот-вот вылупиться живой цыплёнок — сложнейшее и удивительнейшее творение природы.

Движение прекратилось мгновенно и неожиданно. В небе вместо хаоса и бессмысленности возникла и раскинулась над Землёй гигантская красочная панорама.

На Западной стороне люди увидели солдат иноземного облика в касках. Солдаты маршировали, ехали в танках, стояли возле пушек, сидели в боевых аэропланах. Лица их, обращённые на восток, выражали весёлую свирепость и напряжённое ожидание.

Восточнее до самого зенита виделись необъятные просторы лесов и полей, изрытых окопами и покрытых истерзанными телами российских солдат, застывших навеки в тех ужасных и противоестественных положениях, в какие швырнула их смерть, и брошенных людьми без благочестивого и уважительного погребения. Эту сторону неба покрывали образы коленапреклонённых, скорбящих женщин в чёрной одежде и ряды барачных, опутанных колючей проволокой, а в них измождённые люди с лицами, исторгающими стон.

И это видели все.

Мираж завораживал и приковывал к себе каждого, кто обращал взгляд в небо. Человек неотвратимо погружался в открывшееся перед ним некое бытие, отпечатанное с такой неистовой реальностью, как будто в небо выплеснули саму жизнь во всех её радостях и печалях. Последовательно, одна за другой возникали картины бытия, вначале касающиеся людей вообще, а затем постепенно человека в отдельности. И каждый увидел знаки своей судьбы, только своей — знаки, невидимые для других.

— Это к войне, — с горечью произнёс дед Травин. Он воевал на двух войнах и знал, почём фунт лиха.

— Час испытаний. Господи, внуши нам терпение и убереги детей наших, — прошептала потрясённая Пелагея и встала на колени.

— Ваня! — вскрикнула Евдокия и в слезах заломила руки. Она почувствовала, угадала в одном из тел своего сына, и тяжёлое предчувствие обручем сдавило ей голову.

Каждый в селе выразил словами или мыслями своё ощущение наступающей беды.

Только два человека остались в стороне, но по причинам достаточно серьёзным.

Сидящий на скамье перед своим домом Циклоп пытался, но не смог поднять голову вверх, так как перед обедом принял три полных стакана самогона-первача и находился в сумеречном состоянии.

А Ванька Корытов в это время сорвался с петли и лежал на полу с вывалившимся языком и вытаращенными глазами. Верёвку он накинул на тот крюк, который сам же вделал с такой любовью и старанием для Леночкиной колыбели.

Повеситься, и то не сумел.

Откровение

«... Верёвку он накинул на тот крюк, который сам же вделал с такой любовью и старанием для Леночкиной колыбели. Повеситься, и то не сумел».

Прописав эти слова, я отложил перо. Я уже не тот прежний Алексей, ибо многие жизни людей в селе я пропустил через своё сердце и состоял теперь из их мыслей и поступков: пронизан их радостями и болями, несчастьями и муками.

«Отчего так мало приятного досталось мне записать в летопись? Почему столько мерзости вокруг? Что же это за мир, в котором мы живём, и почему он так нелепо устроен? — мучился я. — И почему так сильно и живуче зло?»

Низкий гул достиг моих ушей и потряс тело вибрацией, отдающей мерцанием в глазах. Совершенно обессиленный, я впал в прострацию, а затем вдруг ощутил необычайную ясность в сознании; ясность от своего присутствия в Сиреновом Мире. Зазвучал голос Александра. Я взял перо, положил перед собой чистый лист и обнаружил, что в этот чистый лист уже впечатано несколько слов.

«Создатель указал людям путь добра, ведущего к вечной жизни»... и я продолжил вкладывать в бумагу слова Александра.

«Но не может идти этим путём понуждаемый; его натура несомненно проявится, станет роптать, сопротивляться и сврачивать. Поэтому Создатель дал людям свободу. Человек сам избирает свой путь и идёт по своей судьбе. Он добровольно и свободен в выборе».

Зло сидит в людях, оно исходит от людей и оно приходит к людям по их вызову. Люди слепы и изолгались. Они вращаются в гигантской воронке лжи, их крутит и засасывает всё глубже, и они не находят в себе разума и воли, чтобы вырваться из этого губительного вращения. Им необходима спасительная правда о себе. Они увидят своё истинное лицо, ужаснутся и станут выздоравливать».

Слова Александра освободили меня от невыносимого груза сомнений в истинности событий, внесённых в летопись.

Я хотел уже закрыть лист, как неожиданно до меня донеслись слова, произнесённые хриплым глухим голосом.

— А теперь запиши, что я тебе скажу! — напористо прохрипел Гришка; это был, несомненно, он.

— Я не стану писать; мне противны и твои слова, и твои дела, — подумал я.

— Ну вот, — в негодовании зашёлся Гришка, — ты же давал клятву писать правду. Видно, клятва для тебя ничего не стоит, а пишешь лишь то, что тебе по душе? И ты не лучше других! Прости, я заглянул в твои записи, и не скрою, безмерно возмущен. Да ведь это сплошное очернительство! Мой тебе добрый совет, брось их в печь.

— Григорий, ты пойми, людям нужна правда, ведущая к спасению, а не к гибели. Ты взгляни, даже лист бумаги почернел, как же я могу записать твои слова?

Господи, помоги мне раскрыть людям глаза. Своими ничтожными способностями я хочу изобразить человеческое зло и тем отвратить людей от него. Помоги мне, Господи, будь милостив ко мне, грешному. И прости меня за те страшные слова, которые я вынужден произносить здесь.

Новая беда

Мираж не обманул людей; к сожалению, сбылось и обещание Гришки.

Человечество вновь обратилось к своему скверному, жестокому, бессмысленному, но, увы, патологически свойственному ему занятию: оно затеяло войну.

«А что если не бессмысленному?» — подумалось мне. «Страшно воспринять, но что если война, это кровопускание, необходимо для больного человечества, как лекарство, панацея, необходимая для здоровья цивилизации? — размышлял я. — Возможно, это не так. Будем надеяться, что не так. Но тогда зачем опять война?»

Земля ещё не остыла после Первой мировой войны и отсвечивала угасающим пеплом, а уж стала вновь падать в погибель следующей, ещё более смертной.

Два кормчих-параноика столкнули лбами народы Германии и России.

Один, германский, рвался к мировому господству для арийской немецкой расы. Он жаждал реванша за поражение, создал нацистский режим и превратил свою страну в идеальное орудие войны. Лучшей армии и лучшего солдата не существовало в мире.

Сытый и довольный победитель в войне, Запад не ставил перед собой подобных задач. Напротив, он желал стабильности, очень опасался агрессии и стремился уменьшить угрозу. С этими ребятами

вроде всё ясно: отхватить кусок пожирнее для одних и власть над миром в задуманных ареалах для других.

А вот другой кормчий, параноик российский, утратив разум, строил коммунизм — утопию, да ещё на всей Земле. В России дело представлялось сложнее, запутаннее и нелепее. Кожаные куртки принялись силой создавать коммунистические режимы везде, где только представлялось возможным. И что ещё гаже — воевать за эту утопию со странами, без всякой выгоды для России.

На этот раз жертвами безумной политики властей стало молодое поколение наших добрых Травиных.

Одиссея молодых Травиных

БОЙНЯ

Он ощутил страшное потрясение. Тело его взорвало, отсекло часть головы, раскинуло мозг. Его, ещё мгновение назад жившего в облике земного человека, расчленило, разбросало и присыпало землёй, смердящей порохом.

— Снаряд, что ли, разорвался? — спросили его.

— Да, рядом угодил, метрах в трёх, — ответил он просто, как будто речь шла о ком-то другом.

ИВАН

В кошмарном сражении у деревни Прохоровка тяжёлый снаряд угодил в танк; израненный, искалеченный Иван Травин истёк кровью, сердце его в последний раз стукнуло и остановилось за ненадобностью. Сознание померкло, а сам Иван умер.

У человека нет иного критерия своего существования, как только через ощущения, осознание себя. Вот и выходит, ощущает себя человек, значит, жив, или уж не ощущает вовсе, и тогда получается, что помер. Хотя рассуждение на первый взгляд кажется безупречным, оно, однако, не объясняет того, что произошло в дальнейшем.

После некоторого небытия Иван очнулся. Само по себе это осознание себя выглядело привычным и не вызвало у него какой-либо тревоги. Однако он уловил в этом некую особенность, вначале неопределённую, но постепенно нарастающую до отчётливости.

В нём родилось незнакомое ранее странное ощущение утраты тела как места сосредоточения его «я»; другими словами, он потерял чув-

ство своей принадлежности к своей плоти. Понятие незыблемости единства тела и сознания не казалось ему теперь очевидным и даже обязательным. От него ушло представление о своём материальном облике и о месте своего нахождения в пространстве, но и это, как ни странно, его не обеспокоило.

Несомненно, именно из-за указанных метаморфоз в сознании представшая перед ним безусловно драматическая картина не потрясла его, хотя вроде должна была произвести ошеломляющее, разрушительное воздействие на рассудок; она несколько удивила и только. Там внизу, в танке лежало тело человека, очевидно мёртвого, ещё недавно, без малейшего сомнения, бывшего его собственной плотью. Не встревожила, видимо, по той причине, что теперь его сознание исходило не из тела, а из иной сути его существования. Следует, однако, сказать, что беспокойство он всё же ощутил, но иного рода; оно относилось к перспективе. Он интуитивно понял, что находится в непонятном, иррациональном состоянии существа, едва рождённого для иного мира, в который ему ещё предстояло не только войти, но и естественно состоять. Вместе с тем, в нём ещё жило безотчётное воспоминание, идущее не от разума, а из неизмеримой глубины человеческой сути, сплошь переплетённой, а вернее сказать, состоящей из отголосков земной, телесной жизни. Себя он ощущал теперь разительно непривычно и одновременно естественно.

Иван — красивый и статный, с огромными серыми глазами, добродушный к людям и очень способный к труду; от него могла бы прорасти прекрасная ветвь рода Травиных, но, увы, она пресеклась войной.

БОРИС

Последние несколько дней дед Травин ходил особенно хмурый и даже непривычно замкнутый.

Семья сидела за ужином. Впрочем, это сильно сказано: немного картошки и ещё меньше хлеба, вот и весь ужин.

— Нет ли писем? — как обычно, спросила Евдокия, хотя знала, что нет, иначе сказали бы сразу.

Дед взглянул на неё, и что-то в нём сломалось. Лицо его сделалось жалким-жалким, а затем он совершенно неожиданно засмеялся. Смеялся он тихонько, но этот тихий смех выглядел настолько неуместным, что все замолчали и в испуге посмотрели на него. Смех перешёл в рыдания.

— Боря, — вырвалось у него.

Он вынул из кармана конверт казённого вида, дрожащими руками извлёк из него бумагу в четверть тетрадного листа с печатью и штампом и уронил на стол возле внучки.

— Прочитай, Тоня. Я не могу.

— Ваш сын Травин Борис Васильевич, — читала девочка, — пал смертью храбрых на поле брани...

Евдокия с ужасом глянула на бумагу, на деда и тяжело повалилась на пол. Бабушка бросилась к ней и стала хлопотать.

Евдокия очнулась, обвела глазами комнату и всё вспомнила. Дикий нечеловеческий крик вырвался из неё. Крик матери, потерявшей своего детёныша. Крик из глубины инстинкта жизни, не подчинённого ни доводам, ни логике, ни пониманию. Инстинкт кричал в ней о катастрофе, которую нельзя пережить.

До этого надежда, подобно плотине, сдерживала лавину тревоги за сына. Она позволяла Евдокии жить и не допускала мысли о самом страшном, о чём нельзя не только сказать, но и подумать. Теперь эта плотина рухнула, и горе затопило Евдокию всю без остатка. Разум её агонизировал. Она никого не видела вокруг, ни свёкра со свекровью, ни детей, никого, и она кричала. Кричала страшно, а потом завывала жутко и безнадежно. Вой перешёл в колыбельную песню без начала и конца; Евдокия раскачивалась на стуле и пела.

Горе порушило в ней временные связи; сознание затерялось во времени и блуждало единственно в поисках утраченной надежды и живого Бори. Понятия настоящего, прошедшего и будущего потеряли для неё смысл, и она их не различала. Евдокия погрузилась в иррациональный мир.

В своих блужданиях она, наконец, нашла то, что искала: увидела Бориса совсем ещё маленького и обрадовалась.

— Ну вот и хорошо, — сказала она, — а тут говорили незнамо что.

— Иди ко мне, Борюшка. Тебе нездоровится? Ничего, пройдёт, ты поспишь, и тебе станет лучше. Я спую, и ты уснёшь.

— Он умер, — прозвучали ужасные слова.

— Замолчи! — вскричала Евдокия в великой ярости. — Ты что, не видишь? Ему надо отдохнуть, не мешай! Видишь, он тянет ко мне ручки, — и она продолжила пение.

Дед рыдал и пытался успокоить её, повторяя:

— Дуся, Дуся, успокойся, приди в себя, Дуся.

Тоня обнимала мать и, не зная, как ей помочь, лишь твердила:

— Мама, мама!

Девочка ещё не осознала всю глубину ужасного известия, но состояние матери повергало её в отчаяние.

Бабушка рухнула на колени перед иконой Божьей Матери в истовой молитве. Затем она поднялась с колен, подошла к столу, очистила его и на середине очертила малый круг. С одной стороны круга она положила кусочек хлеба, а по диаметру против него — соль.

И получилась линия жизни.

В направлении, поперечном линии жизни, она разместила с одной стороны уголь, а с другой — землю.

И получилась линия смерти.

Вытащила из своего холщёвого мешочка клубок серых шерстяных ниток, которыми чинила внукам вечно дырявые чулки, и закрепила нитку узелком. Затем она горячо помолилась, прошептала необходимые слова и, взяв свободный конец нитки, навесила клубок над центром круга Борисовой судьбы.

Со жгучим любопытством и глубокой надеждой смотрели все на клубок и на бабушку. Их родная бабушка, такая маленькая и привычная, внезапно стала значительной и даже подавляющей. Она восстала и не поверила в страшное извещение.

Теперь только бабушка могла сказать:

— Не верьте. Всё это ложь! Наш Боря, возможно, ранен, болен или в плену, но он жив. И нам нет дела до этих бумажек. Я им не верю!

Вскоре заметили, что клубок начал совершать небольшие круговые движения, которые нарастали. Под воздействием невидимой и неведомой силы он раскручивался и раскручивался, пока не стал вращаться над всей очерченной мелом окружностью.

Клубок, как маленькая планета, планета судьбы, проносился поочередно над хлебом, землёй, солью и углём.

Бабушка, торжественная и одухотворённая верой, не сомневалась, что истина явит себя, и она ждала.

Постепенно траектория клубка стала терять форму правильной окружности, и скоро он летал уже не по кругу, а скорее по эллипсу, который всё более вытягивался и одновременно менял направление осей. Получалось таинственное двойное движение: клубок бегал по эллипсу, а эллипс медленно вращался по окружности.

Этакие колебания. Они то приближались к линии жизни, и всех охватывала радость, то уходили к линии смерти и заставляли сжиматься сердца.

Клубок метался между жизнью и смертью и не показывал определённо ни того, ни другого.

Внезапно в поведении клубка произошло изменение. Он резко увеличил амплитуду и уверенно, мощно закачался точно вдоль линии жизни!

Бабушка ещё некоторое время для надёжности держала клубок, но он не изменил своего решения и твёрдо держался линии жизни.

Измученная, но довольная, она опустила его на стол и выпрямилась.

— Борис жив! — объявила она. — Ему очень тяжело, он между жизнью и смертью, но он жив.

Она спрятала драгоценный клубок и очень долго творила молитву. Молила за внука.

Борис принадлежит к убитому поколению. Из каждой сотни мужчин его возраста после бойни в живых осталось два—три, да и то израненных. Остальных убили.

Уцелел ли Борис?

По правде сказать, он и сам этого не знал; на его долю выпало столько мучений, что полной уверенности в этом у него никогда не возникало. Так же, как не было уверенности в реальности жизни. Он просто жил.

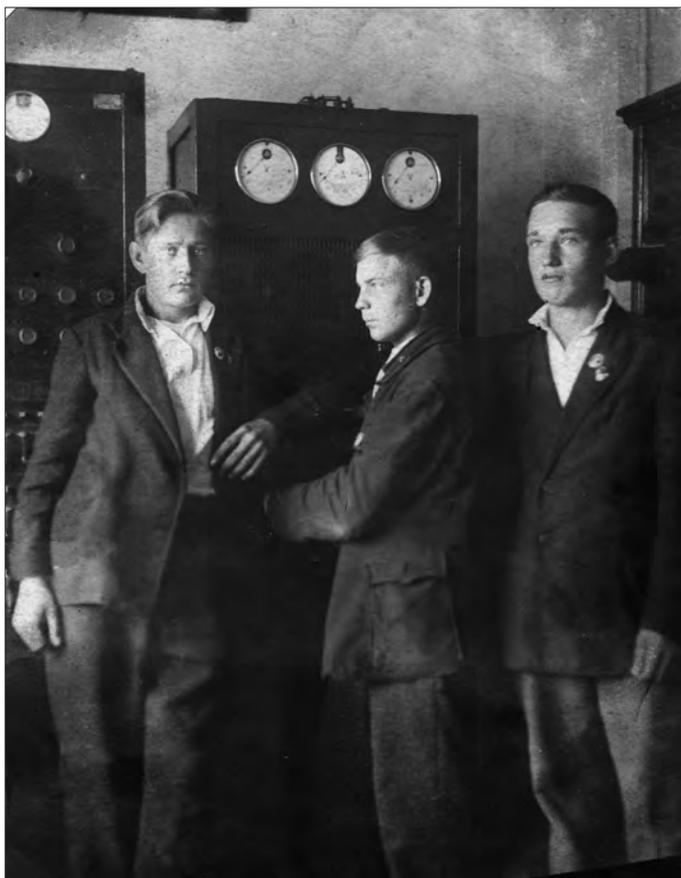
Летом 1939 года Борис со своим родным 155-м стрелковым полком, в составе второй сапёрной роты участвовал в «освобождении от польского буржуазного ига несчастного угнетённого Белорусского народа».

Этот поход и бойней-то назвать нельзя. Прошли маршем пол-Польши и остановились недалеко от Варшавы. Все дела.

Для военного человека мирная жизнь не стоит того, чтобы о ней вспоминать. Солдат создан для бойни, и всё значительное в его жизни связано с военными действиями. Так что, если говорить не формально, а по сути о солдатской службе, то началась она у Бориса не в 1939 году, а в июне 1941 года, когда ранним утром, почти ночью, воюющие, как волки, германские «юнкерсы» обрушились на полк расчётливо и беспощадно.

В одно мгновение расположение полка обратилось в ад.

Взрывом Бориса швырнуло с койки. Электрическая лампочка не светила, в казарме темно, как в погребу. Оглушительно гремело. Борис нащупал своё обмундирование, быстро надел бриджи и гимнастёрку, но сапог не нашёл. Босиком побежал к выходу, споткнулся о ворох брошенной одежды, нащупал чьи-то сапоги, натянул их и выскочил из казармы во двор.



Борис слева, Виктор, его дядя, справа

Всё вокруг в огне, дыму и пыли. Повсюду ужасающе с обвальным грозовым треском рвались бомбы.

Борис — кадровый, хорошо подготовленный для бойни опытный солдат — интуитивно устремился влиться в воинский порядок: в строй, в команду, в любую форму воинского существования, в котором только и возможно противостоять мощному высокоорганизованному противнику. Однако, куда он ни бросал взгляд, нигде не находил этого организующего начала. Лишь бегущие беспорядочно солдаты, да накрывающие их свирепые взрывы, вулканы огня и земли.

То, что ещё мгновенье назад было венцом природы, человеком, тут же, противоестественно разорванное на руки, ноги, туловища, взлетало, падало и перемешивалось с землёй.

— Слушай мою команду! — что было силы закричал Борис, — становись в строй!

Он встал по стойке «смирно» и выбросил правую руку в сторону, показывая направление строя.

К нему метнулись и привычно встали в строй находящиеся поблизости солдаты. К ним бежали со всех сторон. Шок проходил. Они вновь обретали воинские очертания и становились войском.

К Борису вернулась способность соображать.

— Всем за оружием и в укрытие, — скомандовал он, — я иду в штаб полка.

Борис рванулся в направлении штаба, расположенного метрах в двухстах от казармы.

«Через пару минут буду там, — подумал он, — только бы проскочить».

Но проскочить не удалось. Взрыв страшно ударил в него и бросил вверх; Борис увидел двор и солдат, стремительно проваливающихся вниз, и... исчез в небытии.

Когда сознание вернулось, он обнаружил себя лежащим на спине и почти засыпанным землёй; свободной оставалась только голова, да ещё правая рука. Глаза не видели. Он попробовал пошевелить рукой; она была тяжела, как свинец. С огромным напряжением он согнул её в локте и подволок ладонь к лицу. Глаза залиты кровью и присыпаны мусором. Насколько смог, он почистил их, и... слава Богу, глаза вроде целы. Он видел. Плохо, сквозь дикую резь, но видел.

Он повёл ладонью выше и наткнулся на острый, как напильник, осколок бомбы, вонзившийся ему в лоб. Осколок торчал наподобие рога, и Борис решил вытащить его. Он взялся, но едва только качнул, как нестерпимая нечеловеческая боль обдала его и швырнула в бессознание.

Однако, Борис очнулся и на этот раз; сквозь кровь и грязь он увидел двух стоящих поблизости командиров, одетых в командирские шерстяные гимнастёрки с португепями и хромовые сапоги. Один высокий и стройный, с белым лицом, другой низенький, очень какой-то чёрный, вроде нерусский. Борис узнал в них полковых врачей. Они смотрели в его сторону и находились в некоторой нерешительности.

— Пойдём в машину, — сказал высокий врач, — а то не успеем, угодим к фашистам, они уже близко.

— А как же этот? — с сомнением спросил чёрный врач и повёл рукой в сторону Бориса. — Он ещё живой.

— Оставим его. Ты видишь, у него полголовы нет. Он не жилец. Только жаль мужика, мучается, — высокий врач помолчал.

— Вот что, застрели его, и пойдём.

— Я не могу.

— Делай, что тебе говорят, это приказ, — жёстко выдавил из себя высокий врач и двинулся прочь.

Борис не верил своим ушам.

«Ах, сволочи, сволочи, — огнём полыхало в нём, — гады». Бессилие и безнадёжность охватили его.

Чёрный врач вытащил пистолет, с лязгом загнал патрон в ствол и не целясь выстрелил в сторону Бориса.

Потрясённый и беспомощный, Борис лежал на земле и ждал своей судьбы. Голову жгло, как раскалённым железом, но шок постепенно проходил, и он уже был в состоянии хоть как-то шевелиться. Он вытащил ноги и перевернулся на правый бок. Полежал минуту, затем приподнялся на четвереньки, укрепился в этом положении и встал. От усилий и смены положения закружилась голова, подступила тошнота, однако он устоял, тошнота вскоре прошла, и он осмотрелся.

Двор усеян солдатскими телами.

Борис медленно, очень медленно пошёл, всматриваясь в убитых. Глаза их открыты и смотрят в никуда. В луже крови на боку лежит Лёша Сомов. Часть спины у него вырвана вместе с гимнастёркой, но лицо спокойное.

Борис двинулся дальше, нашёл ещё несколько знакомых солдат, но вскоре силы его иссякли. Он сел на землю и так сидел неизвестно сколько времени, в дурноте, без цели, без желаний и без надежды.

Был ли он без сознания или просто в забытьи, но чувство тревоги внезапно охватило его и заставило открыть глаза. Борис увидел такое, что и в дурном сне ему видеть не приходилось. Мир перевернулся.

Во дворе казармы стояли германские солдаты в серых мундирах во главе с лейтенантом, а несколько в стороне — литовские националисты в чёрных. Разумеется, в этот момент Борис понятия не имел ни о германских солдатах, ни о литовских националистах, он просто видел вражеских солдат, различающихся формой одежды, и только.

Лейтенант подозвал одного из литовцев и отдал ему приказание, махнув при этом рукой в сторону двора. Борис немного знал немецкий язык и уловил смысл сказанного.

— Убитых заройте, — сказал лейтенант, — живым окажите содействие или «позаботьтесь о них», — Борис не мог перевести точнее.

Неизвестно, какой смысл лейтенант вкладывал в это «окажите содействие», но только он при этих словах ухмыльнулся, а солдаты захохотали. Громче всех смеялись литовцы. Затем они брякнули затворами винтовок и двинулись враспынную выполнять приказание. Убитых они стаскивали в одно место у дальнего забора; раненых добивали и волокли туда же.

Борис слышал выстрелы и понимал, что каждый выстрел оканчивал жизнь одного из его однополчан. Псы в чёрной форме постепенно приближались к Борису. Похоже, это конец.

«Вот и всё, дорогой мой Боря. Боже, как не хочется умирать», — в отчаянии метался он.

Вот один из этих безжалостных подонков подошёл совсем близко, на ходу перезарядил винтовку, посмотрел на Бориса, сидящего на земле, и поднял ствол.

Борис почти лежит, падать будет невысоко, не больно, не ушибётся.

Резкая пулёмётная очередь ударила со стороны недалеко расположенного кирпичного дома. Один литовец упал, остальные бросились на землю и принялись стрелять. Пулёмётчик бил короткими точными очередями и не давал им поднять головы. Положение его было, однако, безнадёжным. Часть солдат тотчас побежали вправо и влево с намерением зайти к нему с тыла. Остальные продолжали стрелять со двора казармы.

Неравный поединок отчаянного солдата с целым войском на некоторое время отвлёк палачей от дела, но Борис ясно понимал, что вскоре, покончив с пулёмётчиком, они доберутся и до него. Наступит его, Бориса, черёд. Внезапно мысль, пришедшая ему в голову как озарение, возродила надежду на спасение. Жажда жизни вновь вспыхнула в нём с неукротимой силой. Он собрал все свои телесные и душевные силы, все без остатка, ухватил торчащий во лбу осколок, вырвал его и швырнул в сторону.

Борису показалось, что вместе с железом он оторвал себе голову. Свирепая боль кровавым пожаром обдала его. Парализованный и оглушённый этой болью, Борис в который раз потерял сознание. Однако, он ещё был жив, и когда к нему вернулась способность понимать, он обнаружил себя лежащим в яме на полузасыпанных землёй солдатских телах. Сапог на нём не было, и лежал он сверху, будто его бросили в яму уже после того, как её засыпали землёй.

Случилось это не совсем так.

К яме его волокли два литовца.

— Смотри, Янис, — сказал один литовец другому, — я видел, этот парень сидел на земле ещё живой. Я собрался прикончить его, а теперь смотри, какая дыра у него во лбу. Но я не стрелял.

— Так это из пулемёта тот Иван; надо же, бьют по своим, — заключил Янис.

Они вывалили Бориса в яму и стали засыпать.

— Э, стой, Янис, смотри, какие у него хорошие сапоги, надо снять, — он спрыгнул в яму и принялся стаскивать сапоги. Снял он их с трудом, нещадно ворочая и дёргая Бориса, так что тот оказался на самом верху груды тел, что его и спасло.

Они взяли сапоги, но отдали ему жизнь. Прямо сказать, небольшая плата за жизнь.

После этого небольшого уточнения вернись, однако, к Борису.

Положение своё Борис осмыслить далее не мог. Боль, дурнота от ран и контузии навалились на него с прежней силой. Они кромсали и грызли его бедную голову, и он уже чувствовал всем своим нутром, что наступает тот предел, за которым наступит безумие. Страдания накатывались волнами и лишь изредка слегка отпускали, давая возможность хотя бы чуть-чуть перевести дух.

В один из таких редких моментов Борис увидел шагах в пятидесяти от своей могилы человека, стоящего на холмике с обращённым к нему лицом.

Человек этот виделся ему, как карлик в синей рубашке и сатиновых серых брюках, а вернее сказать, в штанах. И хотя находился карлик на одном месте, то есть, как сказано, на холмике, но при этом он пребывал в непрерывном движении. Он приплясывал, и было видно, что он хром на одну ногу, производил разнообразные жесты руками и к тому же ужасно гримасничал; мордочка его прямо-таки косоротилась.

Борис не мог понять, что это за явление. К чему это? Первой мыслью его было отнести видение карлика к кошмару, к мыслительному продукту своего ужасного состояния и, возможно даже, к умопомешательству. Но вскоре ему показалось, что все разнообразные усилия карлика сводятся к одному: он упорно хотел обратить внимание Бориса к себе и он хотел что-то сообщить.

Борис напрягся, всматриваясь в карлика, но безрезультатно. Внезапно в его сознании открылась некая заслонка, и он услышал карлика так хорошо, будто тот стоял рядом.

— Производи сложения и умножения, — произнёс карлик несколько раз.

— Зачем? — спросил Борис.

Карлик от радости, что его поняли, заплясал и загримасничал втрое проворнее, а рот его устроился в такую фигуру, что лицо как-бы перевернулось.

— Тебе станет легче держать мучения, производи, как я сказал.

— Какое умножение? — продолжал не понимать Борис.

— Ты что, таблицу умножения забыл? — возмутился карлик и даже фыркнул в негодовании, — пятью шесть тридцать, семью восемь пятьдесят шесть! Ну же!

Борис попробовал; преодолевая дурноту, он стал складывать и перемножать числа, совершая это как заклинание, как молитву. Вскоре он почувствовал себя несколько легче и с удвоенной энергией продолжил занятие. По мере того, как Борису легчало, карлик терял очертания и отдалялся.

Вскоре он исчез вовсе.

Рассказывать о Борисе сложно ввиду специфики его натуры.

Интуитивно понятно, что правду о его жизни следует искать и находить в словах, в его собственном изложении, как в первоисточнике. Кто же лучше, чем он, сам знает о своей жизни?

Трудность, однако, заключается в том, что одно и то же событие Борис живописует по-разному, проще говоря, он всякий раз выдумывает. Поэтому из всех рассказанных им вариантов одного и того же реального события выудить суть совсем не просто. Особенно если речь идёт о женщинах, до которых Борис обыкновенно имел повышенный интерес. Искомую суть он бесконечно разнообразил всякими деталями с лёгкостью и фантазией необыкновенной.

— Так что же произошло на самом деле? — в отчаянии вопрошали его.

— Всё так и было, — неизменно отвечал Борис и смеялся. После этого он обрушивал на слушателя новый вариант рассказа, вовсе не похожий на все предыдущие. Сердиться на Бориса решительно невозможно, ввиду его добродушия и безграничной веры в истинность своих слов. Создаётся, однако, впечатление, что своим внешним легкомыслием Борис скрывал истинную жуть войны, её суть, о которой вспоминать и говорить для всякого нормального человека невозможно. Страшно говорить о времени и событиях, когда кормчий и командиры высоких рангов устилали свои и чужие земли трупами российских солдат.

Как истинный фронтовик, вкусивший гадости и ужасы войны, Борис, как и большинство реальных фронтовиков, не любил рассказывать о правде войны, ибо она была столь ужасна, что могла подвиг-

нуть разум. Будучи же человеком весёлым и большим выдумщиком, он искусно уходил от этой жути, выдумывая различные варианты своего быта на войне, фантазировал, переиначивал. Если иные натуры замыкались в себе, из них клещами не вытащишь этой окопной правды, ибо она сворачивала психику, то Боря основные события своей фронтовой жизни всё же сохранял и выдавал.

Достоверно известно, что воевал Борис стрелком-радистом на бомбардировщике. Был сбит, попал в плен, бежал, прыгнув с железнодорожной платформы в реку.

Воевал в партизанах. Вернулся в армию. Будучи на заводе для приёмки нового бомбардировщика в ярости застрелил военного представителя. Что у них произошло, Борис не рассказал. Осуждён военным трибуналом в штрафные роты. Воевал отчаянно. Тяжело ранен у Днепра.

Вот и всё; большего, как уже сказано, узнать от него невозможно по причине, изложенной выше.

В одном взводе с Борисом служил его дальний родственник Шапочкин Виктор. Заездом он посетил Травиных и сказал:

— Дедушка Тимофей, Борис убит. Я сам видел, как его разорвало на кусочки. Он остался мне должен шестьдесят рублей, так что отдайте мне его долг.

Дед наскрёб и отдал деньги.

А ведь никакого долга не существовало; не брал Борис денег у Шапочкина. Да и сам Борис после войны вернулся домой вполне живым.

НИКОЛАЙ

Батальон, в котором проходил воинскую службу Николай, дислоцировался в ста километрах от Западной границы, недалеко от Бреста.

Человек по натуре старательный, Николай исполнял распорядок воинской части, слушал и тем более не перечил командирам, почитая эту свою солдатскую жизнь неизбежной и правильной; служба не казалась ему в тягость, и солдатскую лямку он тянул без ропота. Словом, служил исправно.

Война в один миг опрокинула ровное течение его солдатской жизни.

Разбудили и сбросили Николая с койки взрывы авиационных бомб. Вместе со всеми, едва успев накинуть на себя обмундирование, он выбежал из казармы и, не слыша необходимых в создавшейся



*Справа налево: Николай, его вторая жена Лиза,
мать Николая Евдокия, тесть*

обстановке команд, кинулся к окопам. До окопа, однако, не добежал, его ранило, и он упал в бессмятстве.

Батальон Николая, как и всё российское войско, не был готов отразить нападение врага. Кормчий лишил войска боевой готовности, организационно обезоружил их в тот самый главный момент, когда враг навалился. Генералы, обезволенные кормчим, в силу ужасного страха перед ним, забыли своё предназначение постоянно быть готовыми к отражению неприятеля; они испугались встретить врага во всеоружии. Страх перед кормчим оказался сильнее их воинского долга, страшнее врага.

Что же это за войско, если война, ради которой оно существует, оказалась внезапной и неожиданной?! Словом, кормчий совершил такой просчёт и нанёс российскому народу такой вред, какой не смог бы сделать самый злейший внешний враг.

Об этом много сказано и повторять здесь нет необходимости. Нас интересует судьба хорошего человека Николая Травина, который никоим образом не может быть причислен к руководству со сдвинутыми мозгами и, следовательно, ни в чём таком не виноват, а напротив, он есть жертва.

Оклемався Николай в плену. И повезли его товарным поездом в Германию, где поместили рабом на ферму. Он трудился, ходил за скотиной и очень хотел домой.

Вместе с другим русским человеком, тоже военнопленным, Николаем безрассудно убежал с фермы и пошёл на восток, в Россию. Безрассудно потому, что вокруг было враждебное население; дороги беглецы не знали, и пройти незаметно было им решительно невозможно.

Уже на второй день их догнали немцы с собакой. Собака повалила Николая, а немец ударил его вилами с намерением пригвоздить к земле. К счастью, зубья вил прошли вдоль ребер, не затронув жизненные места тела.

Николая отвели в комендатуру и определили в концлагерь для уничтожения.

Раны Николая поджили. Утром пленных построили в длинющую шеренгу; вокруг расположились автоматчики с собаками.

Офицер Фриц Корбер двинулся вдоль строя, внимательно оглядывая пленных солдат. Если кто казался ему евреем или цыганом, того он движением пальца отсылал из шеренги вправо к стене. Дошёл до Николая.

— Ты юде?

— Нет, — ответил тот, — я русский.

Офицер в сомнении посмотрел на Николая. Врач Коломиец, сопровождавший Корбера, сказал:

— Он русский, я его знаю.

Корбер молча прошёл дальше.

Отобранных евреев и цыган в тот же день отвели в душегубку и отравили газом; затем их сожгли в печах.

Так хороший человек Коломиец спас Николая от смерти. Больше того, он выпросил его у Корбера для помощи себе в санитарных делах.

Николай помогал Коломийцу, но основное время держал вахту у печи, в которой жгли тела заключённых, регулируя подачу мазута в топку таким образом, чтобы они сгорали полностью. В его обязанности входило также выгребать несгоревшие кости и готовить топку для следующей пары трупов. Он включал цепную подачу и следил, чтобы тела лежали ровно вдоль колосников, без перекосов, то есть, как предписано инструкцией.

Все содержащиеся в концлагере военнопленные люди подлежали уничтожению; им присвоили номера. Для этого каждому человеку выжгли такой номер на руке, как тавро домашним животным. И стали эти номера порядковыми, устанавливающими своего рода очерёдность попадания в печь.

Лишить жизни всех сразу не представлялось возможным, хотя для немецкого командования и желательным: ограничивала производительность печей, которые позволяли жечь не более сотни человек в сутки. В силу своей природной педантичности и склонности к порядку немцы совали в печь не абы кого, кто попадётся, а напротив, строго по нумерации, то есть, по установленной очередности.

«Это справедливо», — убеждённо говорил Фриц Корбер, один из офицеров — специалистов по умерщвлению людей.

На руке Николая Травина выжгли номер 114522.

Стоя у печи, он непременно, прежде всего, бросал взгляд на тела, чтобы рассмотреть, какой номер пошёл в дело и скоро ли подойдёт его собственная очередь.

Сам того не желая, он не мог отвести глаза от ревущей топки, где быстро, с жутким треском сгорали люди. Вначале тела горели под действием мощного мазутного пламени, но постепенно загорались сами и горели вовсю.

Сегодня последним в его смену пошёл номер 11431.

«До меня не скоро, однако», — подумал Николай. Он стал вычислять скорость потока, и получилось, что в топку его затолкают через сто тринадцать дней.

«Это когда ещё, — ободрил он себя. — Есть время придумать спасение». Но как ни крутил он в мыслях, и так и этак, а ничего путного придумать не мог.

«Отсюда не убежать, да и куда бежать-то, вокруг враждебное немецкое население. Один раз уже бежал».

На деревянной стойке нар на исходе каждого дня Николай делал зарубку. Затем считал все зарубки, и всякий раз в отчаянии видел, что число их неуклонно растёт, и последняя становится всё ближе и ближе к роковой цифре 114522.

Время для Николая теперь неуклонно ускоряло свой бег в пределах этого смертельного календаря. Для него потеряли всякое значение привычные людям понедельники, вторники и все остальные дни недели, месяцы, годы, а вместо них остались реальными лишь зарубки жизни на стойке нар и их ужасное и неотвратимое соотношение с номером 114522.

Первый день зарубочного календаря жизни.

Хочется есть. В блоке душно. Хочется есть. Пришёл Фриц Корбер. С ним странная, очень запоминающаяся пара. Офицер СС, с параллельным впереди на правой стороне тела возле пупка и удлинённым

предметом слева позади в брезентовом чехле, и собака с обликом дикого кабана, но уж никак не овчарки. Человек этот сильно отличался от немцев, прежде всего своим интересом к делу. Он с великой охотой сам заталкивал людей в печь. Немцы такой работы чурались.

Корбер приказал всем выйти и построиться вдоль блока. Переводчик выкрикивает номер. Несчастный под этим номером выходит, сгорбившись и волоча ноги; он становится в шеренгу напротив.

Отсчитав двадцать номеров, Корбер уводит людей к месту. Вокруг автоматчики с собаками.

Над всей территорией концлагеря гремит жизнеутверждающая бравурная музыка и марши победителей. Но вот музыку отчётливо пронизывают автоматные очереди, доносящиеся от того места, куда отвели людей.

В три часа пополудни вносят бачки с едой. Половина литра пустой баланды, где едва виднеются кусочки свёклы и зёрнышки пшеницы. Это обед и это еда на весь день. Ещё, правда, кусочек глинистого хлеба.

Бачки унесли. Хочется есть.

Второй день календаря.

Хочется есть. В блоке душно. Хочется есть.

Пришёл Корбер. Приказал всем выйти и построиться вдоль блока.

Переводчик выкрикивает номер. Несчастный под этим номером выходит, сгорбившись и волоча ноги, становится в шеренгу напротив.

Отсчитав двадцать номеров, Корбер уводит людей к месту. Вокруг автоматчики с собаками.

Гремит жизнеутверждающая бравурная музыка и марши победителей. Музыка пронизывают автоматные очереди от того места, куда отвели людей.

В три часа пополудни вносят бачки с едой. Пустая баланда, где крошечки свёклы и пшеницы, и ещё кусочек глинистого хлеба.

Хочется есть.

Николай ставит зарубку. День прошёл, ещё приблизив его к смерти.

До номера 114522 осталось сделать пять зарубок, пять последних дней календаря жизни. Николай ослабел духом и метался душой в полной безнадёжности от близкой и неотвратимой гибели. Он стоял возле печи в указанном душевном состоянии, когда ему слышался плач, едва различимый в рёве мазутной форсунки. Николай всмотрелся, и в тёмном неосвещённом месте справа от печи он различил человеческую фигуру.

Не веря своим глазам, он сделал шаг к этому месту и увидел женщину в тёмно-серой старомодной одежде, с головой покрытую простеньким деревенским платком.

Женщина подошла к печи и заглянула в топку. Потрясённая увиденным, она впала в неподвижность. Лицо её выразило ужас и слёзы потекли из глаз.

— Что же это они делают? — прошептала она.

— Мама! — вырвалось у Николая. Ему отчётливо представилось, что эта женщина непременно его мать. — Скоро и меня туда!

Женщина обернулась к Николаю и приложила свой палец к губам, призывая к молчанию. Затем решительно покачала головой.

— Нет, — произнесла она, — успокойся.

Сколько ни всматривался Николай, но женщины он больше не увидел. Вместе с тем он как-то успокоился и перестал метаться в обескураживающих мыслях.

И вновь ангел-хранитель в лице всё того же врача Коломийца пришёл к Николаю. Коломиец осмелился обратиться к офицеру Фрицу Корберу с просьбой оставить Николая, как нужного работника.

— Это нарушит порядок! — заорал Корбер. — Это невозможно!

— Без Николая мне не справиться, герр офицер, он очень хороший помощник, очень аккуратный, старательный и уважает немецкий порядок.

— Но твой Николаус похож на еврея.

— О нет, герр офицер, я его знаю. Он из русской семьи.

Корбер некоторое время колебался.

— Гут, — подумав, согласился он. Всё ещё недовольно морщась из-за необходимости нарушить установленный порядок, он, тем не менее, вычеркнул Николая из своего чёрного списка.

Коломиец поспешил обрадовать Николая, сообщив ему весть о своём весьма удачном ходатайстве за него перед Корбером. Однако, как ни странно, но это несомненно радостное известие не привело Николая в ликование. За время пребывания в лагере он настолько свыкся с мыслью о неизбежной смерти, перенёс такие терзания и душевные муки, что как бы привык к этому своему безнадежному состоянию.

Это безнадежное состояние стало его реальностью. Смятение стало его натурой, а то, что соответствует натуре, не противоречит ей, становится совершенно естественным, то есть жизнью как таковой, как она есть.

Оказывается, и к такой жизни возможно привыкнуть человеку, если кошмар длится очень долго. Николай отупел в указанном ощу-

щении себя и, образно говоря, находился в некоем умственном ступоре. Прошло некоторое время, прежде чем он смог понять, что хотя бы на какой-то срок смерть обошла его, прошла мимо, хотя готова в любой момент передумать и вернуться за ним. И тогда только он ощутил радость и чувство благодарности к своему ангелу-хранителю — доброму человеку Коломийцу. Известие избавило его от мятущегося состояния. Скажем так, Николая покинуло отчаяние, а в остальном он пребывал в том состоянии духа, которое сформировала в нём противоестественная жизнь пребывания в этом невообразимом по злу месте, устроенном, однако, людьми.

Он продолжал выполнять свою ужасную, но ставшую рутинной работу. Чувства его притупились. Он так же старательно, как привык выполнять всякое дело, подтаскивал очередное человеческое тело к печи, заталкивал его в огнедышащее жерло, длинной металлической кочергой устраивал в середине раскалённых колосников, дабы оно лежало удобно для сгорания, добавлял, сколько нужно, мазута и включал цепную решетку.

Поначалу Николай едва не терял сознание при выполнении тех же движений, но со временем, повторяем, чувства его сильно притупились, и ту же самую работу он выполнял аккуратно. Время для него давно приняло вид однообразных отупляющих событий, ползущих как бы мимо него.

Однако сегодня, равнодушно взглянув на тело очередной жертвы, Николай вздрогнул. На руке несчастного в адском пламени печи отчётливо высветился номер 114523, следующий за тем номером, который был выжжен на правой руке Николая, обозначая очерёдность его заклания.

— Господи, — прошептал Николай, — да ведь это я должен был в эту минуту лежать здесь на его месте. Это меня должны были запихнуть в печь.

И хотя смерть человека за номером 114523 решительно не исходила от Николая (не он убивал здесь людей) и она никоим образом не определяла судьбу их обоих, Николай, тем не менее, почувствовал некую свою вину. И он ощутил благодарность к этому человеку за то, что тот как бы умер вместо него, Николая. Понятно, указанные соображения были исключительно умозрительные, идущие от эмоций, ибо не этот человек спас Николая.

— Я не брошу его в печь, — решил Николай, — ни за что, как можно. Он как бы лёг вместо меня. Таким образом я смогу хоть как-то отблагодарить его.

Николай задумал неизвестного ему русского человека захоронить пристойно, по севести, то есть, в земле. И хотя это его намерение, несомненно, таило реальную опасность для него самого, он без колебаний взял лопату. При этом Николай отчётливо понимал, что если его обнаружат за этим занятием, то тут же и прибьют, не взирая на нумерацию на руке или другие обстоятельства, ибо в этом мире зла иного наказания не существует. Прибьют, как вредного таракана, нарушающего установленный порядок. Ведь, по сути, Николай с его драгоценной жизнью в смысле понятия лагерной власти ничем не отличался от таракана. Тут и Коломиец не поможет.

Пользуясь отсутствием охраны, благо стояла глубокая безлунная ночь, он осторожно вышел из котельной, тут же, поблизости отыскал подходящее место и быстро, насколько на это было способно истощённое голодом тело, вырыл неглубокую могилу, точнее, канавку, ибо стремился возможно скорее закончить задуманное дело. При этом он опасался не столько за свою жизнь, подвергая себя смертельной опасности, сколько того, что не успеет выполнить задуманное.

Могилку он вырыл никак не более роста человека в длину, а вширь настолько, чтобы лишь экономно уместить, втиснуть тело. В глубину же всего на три штыка. Он подтащил тело и уложил в канавку.

— Да простит меня Бог, — прошептал он, — не канава это, а какая-никакая, но всё же могила.

Стараясь не грубо, вмял тело, засыпал землёй. Проследил, чтобы не осталось ни камешка. Тщательно утрамбовал землю, так что и холмика не получилось, который бы выдал погребение. А уж после того, как он присыпал сверху мусором, могила стала решительно незаметной.

Да и кому из немцев охраны могла прийти в голову абсурдная мысль, что совершённое Николаем вообще возможно, тем более такой замученной измороженной бесчувственной русской скотиной, как этот таракан Николаус.

Конечно, все эти попытки скрыть захоронение указанным образом, несомненно, противны добрым человеческим нравам и всякому нормальному человеку; они выглядят едва ли не осквернением могилы, но это если не учитывать место, время и обстановку события.

Здесь же, в этой юдоли зла и скорби Николай совершил великое святое дело. У него и сомнений не было на этот счёт, ибо оно давало надежду на сохранение могилы как раз от осквернения. Это скорее нарушение похоронного ритуала, и не более того, и это якобы осквер-

нение решительно незначительное в сравнении с той святостью, с самим смыслом предания плоти человека земле по христианскому обычаю.

Николай закончил работу, внимательно осмотрел место и успокоился.

Неестественно и неправдоподобно, но Николай выжил.

Всему наступает конец, даже такому, казалось, несокрушимому кошмару, как фашистский концлагерь. Германия надорвалась в непосильной для неё войне против всего цивилизованного мира и с грохотом рухнула. Мгновенно разбежалась свирепая охрана лагеря.

Поразительно, но заключённые люди, узники некоторое время оставались при этом на своих привычных нарах; они замерли и боялись пошевелиться. Они оцепенели. Они не могли поверить в реальность происшедшего, в своё спасение. Придавленные страхом, они свыклись с жизнью за многорядовой колючей проволокой на бетонных стенах лагеря смерти, прежнюю свою жизнь почти забыли, и не сразу смогли понять, что теперь они свободны.

Оцепенение, однако, вскоре прошло, и люди зашевелились. По одному, с величайшей осторожностью они стали выходить за пределы лагеря мимо грозных вышек, где ещё вчера стояли солдаты со смертоносными пулемётами, готовые скосить любого, кто пройдёт по лагерю с нарушением установленного порядка. И хотя теперь вышки были пусты, страх перед ними оставался.

Однако, прошло не более суток, люди покинули лагерь. Они разбрелись кто куда, только бы подальше от этого страшного рокового места. Это было их первое желание — убежать от ужаса. Следующее желание — вернуться на родину. У каждого она своя, но большинство узников русские, и они стремились на свою родину, в Россию.

Родина. Вроде понятие ясное и не требует толкования. Это если вообще, не учитывая судьбы людей. Но так нельзя. Как же тогда понять смысл понятия родина, ведь это касается именно человека. Родина человека. Здесь речь идёт о человеке, его судьбе. Как же без него.

Родина — это всё, связанное с местом рождения человека. Всё окружающее его и так или иначе влияющее на его жизнь, всё это в совокупности и глубоко сидящее в его памяти становится сутью понятия «родина». Даже власть и её гадости. Зов, идущий изнутри человека, зов родины независимо или даже вопреки мерзостям окружения, отфильтрованный и очищенный от скверны, содержится в человеке, образуя ощущение, воспринимаемое как родина.

Человека рожают в посёлке, в области, в стране, на Земле, и его упорно тянет к этому месту безотчётно, без всякого соображения, тянет, и всё. Влечение как таковое. Ощущение родины, зов родины возникает исключительно на чужбине, где человек оторван от своего места. Ему неуютно и ненадёжно. И оно никогда не присутствует в нём, если он у себя дома.

Однако, по жизни не всё так однозначно.

Реальная жизнь людей и их судьбы вызывают ощущение, что во всех известных словарных и ходящих на слуху определениях содер-жится некая внутренняя фальшь, неполнота, недоговорённость, даже табу.

Человек может оказаться в таких обстоятельствах, которые заста-вят его задуматься, а возвращаться ли на родину? Жизнь и судьба людей свидетельствуют об этом. Именно на родине, этом святом для них месте, их могут унижить, ограбить, послать на войну-бойню. Объ-явить солдат, попавших в плен, изменниками, оставить помирать их там без всякой международной помощи, а выживших по возвращении домой заморить голодом в своём «родном» Гулаге и прочее, и прочее, от чего кровь стынет в жилах, словом, поступить с ними, как угодно власти.

Сильнейшим доводом, укрепившим это моё подозрение, стала судьба наших милых добрых Травиных. Все ужасы, унижения и прочий кошмар, которые претерпели Травины, они претерпели от роди-ны! Тогда все трогательные слова о родине выглядят абсурдно. Какая же это родина, если она так издевается над человеком?

Скажу без обиняков, не родина издевалась над Травиными, а власть. Если так, то утверждение «родина предала Николая дважды» по сути неверно, ибо не родина предала его, а государство, люди во власти. Да и сама родина в этом случае, по сути, находится под гнётом власти. Она не виновата и сама бывает несчастной. Следует только прекратить раз-говоры о родине в слезливом восторженном тоне, а покорно принять, взвалить на себя и нести её, как крест по просторам великой России. Так вот, возможен страх перед родиной, и этот страх может стать силь-нее её зова. Если человека там ждёт гибель, он не отправится туда. Зов родины, как внутреннее ощущение, остаётся при этом в человеке неизменно. Просто страх перед властью пересиливает тягу.

Многие устремились в сторону морского порта, полагая это самым верным направлением на пути домой.

У русских людей, как всегда, своя особая судьба. Ходили упорные слухи об опасности возвращения на родину. Будто, русских воинов,

находившихся в плену у Германии, российские власти противоестественно и беспощадно относятся к изменникам. Всех их власти пропускают через фильтр контрразведки и отправляют кого на виселицу, а кого в Сибирь.

Люди и верили, и не верили в такую жуткую несправедливость. Сколько же можно измываться над человеком?! Рассудок отказывался верить, и он же воспринимал такую перспективу, как вполне возможную реальность.

По этой причине среди русских людей существовало разномыслие о путях в дальнейшую жизнь. Немало из них, преодолевая зов родины, решили двигаться на Запад, полагая это более безопасным. Но подавляющее большинство не смогли поверить в возможную чудовищную несправедливость по отношению к человеку, невыносимую и противоестественную. Поверить, что власти, которые, собственно, и загнали их на эту бойню, способны поступить с ними так жестоко и подло.

Охваченные жадной встречи со своими близкими людьми, отбрасывая плохие мысли, как наваждение сна, и, в общем-то, положившись на русское «авось», люди двинулись домой. Николай, истинный сын русского народа, был в их числе. Он двинулся в порт.

По пути встретил девушку из людей, угнанных в Германию, и в порт они пошли вместе.

В Германии в это сокрушительное для неё время всё сильно смешалось. Фашиствующие немцы, занимавшие при Гитлере значительные властные должности, убегали, спасаясь от возмездия за свои злодеяния. Убегали организованно, с заранее подготовленными документами и деньгами. Чекисты занимались поисками именно таких немцев. Остальные фашисты спасались, как придётся.

В порту стояли корабли. Наша пара прокралась на большой теплоход в надежде найти хотя бы временный приют, передохнуть и определиться с дальнейшим. Молодые люди и понятия не имели, куда пойдёт этот корабль, какой власти он принадлежит. Ничего такого они не знали, да и не шибко интересовались этим. Они устроились в небольшой каюте, отыскали на камбузе кое-какую еду, перекусили и прилегали отдохнуть.

Рано утром Николай вышел на палубу, подошёл к борту и принялся с любопытством разглядывать окружение. Шагах в десяти от себя он увидел человека, мужчину. Желая общения и получения нужных сведений, Николай приблизился к нему и обратился. Однако, не успел он открыть рот и произнести хотя бы слово, как человек обернулся,

и Николай мгновенно узнал в нём немца, который во время неудачного побега Николая убивал его вилами.

Николай, естественно, надеялся встретить земляка, но понимал, что на этом корабле, да, впрочем, и на иных, могли оказаться люди самых различных национальностей и намерений. Но такую встречу он никак не предполагал.

Немец, в свою очередь, несомненно, вспомнил Николая и то, как он поступил с ним. Он побледнел и пошатнулся. Николай вытащил из кармана парабеллум и наставил ствол на немца.

— Николаус, — забормотал тот в полной растерянности и отчаянии, — прости меня, пощади.

Николай молчал. У него и в мыслях не было убивать немца. Он желал лишь одного, чтобы тот сам ощутил такой же смертельный ужас, которым был охвачен Николай, когда его пригвоздили к земле простыми крестьянскими вилами, чтобы ощутил то же.

Даже позже Николай не мог понять, как произошло то, чего он решительно не намеревался делать. Однако, случилось. То ли он неловко держал оружие, то ли невзначай зацепил за спусковой крючок, но раздался выстрел, и немец рухнул на палубу мёртвым. Единственно, что Николай знал твёрдо, повторим, — убийство немца не входило в его намерения.

Вот ведь какие дела. После того, что претерпел Николай в лагере, а ещё больше, чего он там насмотрелся, поведение его кажется решительно непонятым и нелогичным. Ну, убил он немца, что с того. Сколько они там наших поубивали. Однако не возникло в Николае подобное суждение, а напротив, ощутил он большую беду и опустошение оттого, что он, Николай, совершил с этим человеком. Что же это, тоже особенность русской души? Никакая не особенность это русской души, а особенность души Николая Травина, человека, добро-го к людям.

Николай стоял над телом в полной растерянности и не знал, что предпринять, когда возле него появилась Катерина, его попутчица. Он скорее жестами, чем словами, объяснил ей случившееся.

— Бери за ноги, — энергично скомандовала она, — тащи к борту!

Вдвоём они подволокли тело к борту и перевалили его через поручни. Море охотно выполнило свою работу, оно приняло немца и скрыло от людских глаз. За бездну времени своей жизни оно взяло себе столько человеческих тел, что об этом может знать только Господь. Море ведь тоже живёт, только оно не считает нужным говорить с человеком.

Николай долго стоял у борта, вглядываясь в глубину и пытаясь различить брошенное туда тело, потом вздохнул, кинул в море пистолет и подошёл к Катерине. Они спешно покинули корабль и пошагали в военную комендатуру, где и разошлись их пути.

Первое время после окончания войны военная комендатура была в Германии основным учреждением для поддержания порядка в населённых местах. В том числе она занималась делами русских людей, возвращающихся домой из фашистского плена.

Пехотный капитан равнодушно взглянул на Николая, подвигал на столе какие-то бумаги и выдал ему направление в команду, созданную для перегона немецких коров в Россию. Николай отправился в предписанное место, отыскал старшего команды, вручил ему бумагу от коменданта и свой документ-справку освобождения из концлагеря.

Тут же на пастбище вальяжно расположилось вверенное ему стадо. Это были великолепные элитные благородные коровы бело-чёрного окраса с истинно интеллектуальными мордами. Хотя по душевности они с российскими бурёнками ни в какое сравнение не шли (для Николая в его памяти, несомненно, многократно милее были российские бурёнки), но корова есть корова, она по сути самое близкое человеку, можно сказать, родное и чрезвычайно полезное ему животное. Разве что ещё собака.

И вот, чудом избежавший гибели в фашистском лагере смерти русский человек Николай Травин погнал пленённых германских коров к себе домой. Он шёл и не подозревал, что родина встретит его нутром жуткого большевистского режима, предаст его и сделает пребывание в родном краю шатким, сделает изгоем на родине, которую он, Николай, никогда не предавал.

Так и гнал он немецких коров из Германии через Польшу на Смоленщину, где их с распростёртыми объятиями ждали трудовые русские крестьяне.

Сдав коров, Николай остался тут же, на смоленской земле, в деревне, где женился, и в положенное время у него появилось первое в его жизни дитя, девочка Людмила.

Жена его, увы, вскоре умерла, и Николай решил отправиться вместе с малышкой в своё родное и последнее в жизни место — в Скуратово. Однако, теща и теща решительно воспротивились его намерению взять с собой Люсенку.

— Сам, Коля, если ты задумал, поезжай. Ведь ты едешь на родину, и это понятно, но Люсенку мы тебе не отдадим. Как нам без неё?

Она — это всё, что оставила нам дочь. Ты ещё совсем молодой и непременно найдёшь себе женщину, тебе нужна семья. Это по-человечески, и так должно быть. Мы видим, ты любишь свою Люсеньку, но как к ней станет относиться женщина, на которой ты женишься, неизвестно. К тому же, тебе одному будет легче устроить свою новую семью.

В общем, Коля, так будет лучше для всех. Только не забывай свою доченьку. Когда наступит время, а мы уже немолоды, возьми её к себе. Ближе тебя из старших у неё никого и никогда не будет.

Николай пытался было уговорить их, но безуспешно. Старики твёрдо стояли на своём.

На том и поладили.

ФРОНТОВАЯ ХРОНИКА СОЛДАТА КОНСТАНТИНА ТРАВИНА

В свои неполные семнадцать лет Константин уже соприкоснулся с войной и получил первое ранение от осколка, то ли немецкой бомбы, то ли российского зенитного снаряда.

В ноябре 1941 года недалеко от Таруты высадился немецкий десант. Раненый красноармеец дал Константину винтовку, и тот стрелял по парашютистам.

После уничтожения десанта его отругали и отпустили домой. Позже он поступил на курсы помощников паровозных машинистов, но немцы приближались, и его вместе с семьёй эвакуировали в Караганду. Там он работал на шахте в «печи», то есть, снизу пробивал вентиляционный штрек, устанавливал крепи и лестницу.

Как-то Костя предупредил маркшейдера — женщину, которая выдавала направление работам — что под тускло горящей лампочкой в штреке ненадёжная ступенька.

— Давно бы заменили, — проворчала та.

— Нечем, прораб не даёт горбыль.

— Но вы же сами можете упасть.

— А что ему. Хоть бы сам себе голову сломал, — сорвалось у Кости по его молодой неопытности.

Случилось то, что должно было случиться. Прораб Клибанюк сорвался с пятой, напрочь оторвавшейся ступени, и загремел вниз вплоть до пола первого уровня.

Прораба Клибанюка отвезли в больницу, а местная карательная власть в лице лейтенанта милиции Поротога, установив пророчество Кости и не испытывая ни малейшего сомнения в его причастности к



Константин

разрушению лестницы с целью покушения на прораба, направила его, бедного, как говорится, без суда и следствия, в Карагандинский лагерь.

Таковы были нравы того жестокого режима, созданного кормчим.

Мальчик пребывал в ужасно угнетенном состоянии духа. Не чувствуя за собой той вины, которую ему приписали, он вначале сильно растерялся, затем был просто убит свалившимся обвинением, наконец, впал в прострацию, похожую на безразличие.

Жизнь в лагере оказалась, однако, не такой уж страшной, как ему представлялось, а даже сносной и несомненно более сытной, чем на воле. Его приставили рабочим при кухне; он пилил и колол дрова, ел вволю и даже уносил с собой. Хлеб, впрочем, у него немедленно отнимал «барон», авторитет местного уголовного мирка. К счастью, Константин показался другому, более высокого ранга авторитету «Папаше», который стал опекать беднягу и оградил его от посягательств «барона».

В такой более или менее сносной обстановке прошло несколько дней, когда Костю вызвали с вещами к следователю.

— Ваше дело закончено. Вы признаны невиновным, и с сегодняшнего дня освобождаетесь из-под стражи. Подпишитесь на постановление об освобождении. Вы невиновны, но в Павлодар Вас не пустят; имейте это в виду.

— Но я хочу поступить в военное училище. Примут? — спросил Константин у следователя, ощущая его очевидное расположение и порядочность. И он не ошибся в человеке.

— А ты, чтобы не было волынки, забудь о лагере. Будто его и не было, — весело сказал следователь, — мало ли кого мы можем допрашивать.

— Но я же сидел в лагере!

— Считаю, это тебе приснилось.

— А что я скажу матери, как объясню братьям, которые на фронте?

— Дело твоё, — буркнул следователь и отвернулся, Костя с его непониманием происходящего стал ему откровенно надоедать.

«Пожалуй, надо пойти на обман, — подумал Костя, — а то не видать мне училища. Но не уличат ли, не проболтается ли кто?»

— Тогда я сразу в военкомат, — сказал он следователю.

— Ну нет, братец, сначала на шахту. Я обязан Вас доставить на место, а там куда знаешь!

Однако, проезжая мимо военкомата, он остановил лошадь, привязал её к дереву и вместе с Костей вошёл в здание. Поговорил там с офицером и вышел с бланком анкеты.

В графе «находился ли под следствием», Костя решительно начертил «не находился». Следователь посоветовал ему проситься в Ташкентское военное пулемётно-миномётное училище. Костя, хотя и мечтал об артиллерии, но последовал доброму совету.

— В артиллерийское пока набора нет, а миномётчик это тот же артиллерист, — очень убедительно добавил следователь.

Денег под расчёт шахта выдала так мало, что не то, что послать матери, но и на дорогу до Ташкента не оставалось. Однако поехал. Трое суток в переполненном вагоне он всё больше лежал и алкал еды. Сухари он съел ещё до посадки в поезд, а денег оставалось разве что на кусочек хлеба не более ста граммов.

В вагоне ехали аборигены, казахи и узбеки. На Костино мучение, они то и дело вытаскивали из мешков бурсаки и иные вкусные продукты и, не переставая, жевали.

Костя в какой-то момент не выдержал, подавил в себе стыд и нарочито развязно попросил попробовать бурсака. Однако, вместо

бурсака, он получил возмущение, брань и оскорбления на местном языке. Аборигены так обозлились, что перешли в другое отделение, бранясь и отплёвываясь.

Оставалось лечь спать, что он и сделал.

ТАШКЕНТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

После откровенной голодухи, кормёжка в училище показалась Константину хорошей.

Курсантов сходу стали тренировать по программе подготовки одиночного бойца. На соседнем поле Константин лазал по-пластунски, преодолевал разнообразные припятствия, изготовленные из колючей проволоки.

Ротные занятия строевой подготовки проходили на плацу под барабан. Бум, бум, бум...

Под громкий удар следовало выбросить прямую ногу под прямым углом вверх и вытянуть носок, чтобы он оказывался на одной линии с ногой.

Под второй, уже тихий удар ногу следовало опустить, а под третий перенести центр тяжести на другую ногу и повторить с ней всё то же под очередной сильный удар барабана. Бум, бум, бум...

Командир роты лейтенант Бекичев, коренастый карел, то и дело оказывался рядом и заставлял тянуть носок. Константин, дрожа от усердия и усталости, неизменно сбивался с ритма, чем вызывал досаду ротного. При отработке приёмов рукопашного боя лейтенант ставил Константина перед собой и показывал на нём, как надо проткнуть врага.

После занятий болели руки, ноги, шумело в голове, а усталость не проходила и к утру, даже если не было ночной тревоги и подъёма.

Любимые Константином теоретические занятия проходили в дремоте. Ротный командир неизменно обнаруживал спящего курсанта и тут же отсылал его на километровую пробежку с последующим разрешением занять место в классе до очередной дрёмы.

Неугомонный Бекичев вместо положенного часа самоподготовки часто отправлял Константина за арык, метров за двести от казармы, для отработки командирского голоса.

— Равняйся! Смирно! Шагом марш! — орал за арыком Константин до самой вечерней поверки.

Бекичев не ленился сидеть в это время в канцелярии и слушать вопли курсанта. Словом, полюбился Константин Бекичеву.

От сложившегося образа жизни желание стать командиром у Константина постепенно пропадало; хотелось удрать на фронт, на передовую.

Однажды попросил он у курсанта Сидоркина закурить, но тот зажадничал.

— Я сам выпросил у Сергея, ему целый мешок махорки прислали из дома.

Костя попросил у Сергея, которого считал своим другом, и тот без сожаления разрешил ему взять табак. Костя сбегал в казарму, отсыпал махорки и возвратился в класс.

После занятий он вошёл в казарму и обнаружил сильный шум и перебранку.

— Отдай тёплые носки и перчатки! — закричал Сидоркин на Костю.

— Какие? — удивился тот.

— Какие стащил у Сергея.

— Не брал я ничего, да и не видел их.

— Махорку отсыпал? Носки и перчатки лежали рядом. На орехи променял? Вор! У друга украл! — орал Сидоркин, не давая Константину открыть рот. — Тёмную ему! Ворюга!

Стыд и обида сдавили горло.

Его мгновенно накрыли солдатским одеялом; Костя не сопротивлялся и лишь плакал да закрывал голову руками. Он ждал побоев, но их не последовало. «Чего ждут, отчего не бьют?»

— В чём дело? — отчётливо прозвучал голос ротного.

Послышалось невнятное бормотание Сидоркина. «Сейчас ротный прикажет избить меня до полусмерти, госпиталем не отделаюсь», — в отчаянии думал Костя.

— Снимите с него одеяло, — приказал ротный, — занятия продолжим прямо здесь.

Костя смутно помнил конец этого дня и следующего утра. Пришли на стрельбище. По команде Костя лёг в заранее открытую мелкую ячейку с чуть приподнятым бруствером из дёрна, получил пять патронов, зарядил винтовку, рассмотрел свою мишень, доложил о готовности и получил разрешение на стрельбу.

Подвёл прицел под «яблоко», выстрелил и услышал команду, произнесённую раздражённым голосом:

— Встать!

— Пуляете государственные деньги в молоко! Только вред приносите. Фронтовиков оставляете без патронов! — бушевал ротный.

До Кости, однако, не доходил смысл командирского недовольства. Он выстрелил вторично и быстро, один за другим выпустил оставшиеся три патрона. Упрямое непослушание Константина вывело Бекичева из себя вконец; он рванул строптивного стрелка за руку и потащил его к мишени, проклиная на ходу маменькиных сынков и горе-вояк.

Со страхом приближался Костя к мишени. Что будет, что будет? Теперь всё равно. На фронт убежать уже не хотел, ибо в этом случае у курсантов не останется сомнений в том, что он, Костя, вор.

Ещё не дойдя до мишени, Бекичев внезапно остановился в очевидном восхищении и произнёс:

— А ты, Травин, молодец!

Подошёл и Костя. Четыре отверстия в десятке. Посмотрев внимательнее, он обнаружил, что одно отверстие шире остальных. Это, несомненно, означало одно — пуля попала в пулю.

Такого результата ни Бекичев, ни сам Константин не ожидали.

— Молодец, раньше стрелял?

— Отец охотник, иногда брал меня с собой, но стрелял я мало. Разве что в школе из мелкокалиберки. Да вот ещё, на фронте по фрицевскому десанту.

— Попадал?

— Не знаю.

— Молодец, — повторил ротный.

Но Костя ещё не забыл его ругань.

— У папы с мамой нас было восемь «маменькиных сынков».

— Почему было?

— От троих старших нет известий с фронта... я четвёртый.

То ли последние события повлияли, то ли какой надлом произошёл в Косте, но только вечерами за арыком он иступлённо принялся учиться рукопашному бою. Он выкрикивал командирские команды, нещадно колот деревянной винтовкой со штыком чучело, норовил быстро уколоть и быстрее увернуться от воображаемого ответного укола.

Кроме того, вместе с Виктором, курсантом, который не отшатнулся от него в беде, они отрабатывали и новые приёмы штыкового боя. Со стороны курсантов видел отчуждение; он замкнулся, ушёл в себя. Обида душила, и прежде всего оттого, что он, Константин, по понятиям семьи с детства приучен не брать чужого.

И так Костя упорно тренировался и вскоре ощутил, что становится похожим на настоящего командира Красной Армии. Появилась

выправка, уверенный строевой шаг, зычный командирский голос. Вместе с этим крепла уверенность в себе. Не все курсанты занимались столь успешно. За недисциплинированность и неуспеваемость отчислили из училища и послали на фронт Сидоркина и Йорыша. Курсант Сабитов стал симулировать болезнь. Многочисленная родня его подсуетилась, заплатила кому надо, и курсанта Сабитова демобилизовали по болезни.

Слухи об окончании учёбы становились всё явственнее, а вскоре пришёл приказ о присвоении курсантам звания младшего командира и отправке на фронт. Это судьбоносное событие опечалило Костю; ему теперь казалось, что все труды его пропадут даром, ибо на фронт он пойдёт, увы, не лейтенантом, как мечтал и хотел появиться перед девушкой Валентиной.

Ах, это юношеское увлечение Валентина!

Утром после завтрака курсантам приказали собраться в полном боевом снаряжении.

Начальник училища полковник Мешечкин произнёс перед строем последнее напутственное слово, и колонны одна за другой двинулись на станцию Чирчик для погрузки в эшелон. Окрестное население высыпало на улицу, провожая курсанов.

Курсанты шагали молча. Хотелось просто пройти и посмотреть вокруг. Было грустно, но вот кто-то затянул песню.

*Провожала мать сыночка.
Крепко-крепко обняла.
Не отёрла глаз платочком,
Горьких слёз не пролила.*

К курсантам бросились женщины. Они плакали и обнимали их, как собственных сыновей, и сильно нарушали строй колонны. Командиры быстро восстановили порядок, подравняли войско и передали по цепи: «Опаздываем. Шире шаг!»

Погрузились в эшелон. Семьдесят два курсанта в каждую теплушку, трёхэтажные нары по двенадцать человек в ряду.

Ближе к фронту стали попадаться станции, разбитые бомбёжкой, с огромными воронками от авиационных бомб, сожжёнными вокзалами и деревьями с вывороченными корнями. Типовой прифронтовой ландшафт.

В полдень в открытом поле тревожно прерывисто загудел паровоз; эшелон остановился. Из теплушек стремительно выпрыгивали кур-

санты и бежали к ближайшим кустарникам, что укрыться от глаз вражеских лётчиков.

Одиночный германский аэроплан, вероятно, разведчик, пролетел очень низко, едва не задевая крыш вагонов, и, не сбросив бомбы и даже не обстреляв эшелон, исчез так же мгновенно, как и появился.

Курсанты, было, направились к эшелону, но по цепи прошла команда:

«В вагоны не заходить, ждать команды! Пятерых добровольцев в голову эшелона!»

И снова тишина. Но вот паровоз вместе с автоматчиками по бокам запыхтел, заикал цилиндрами, выпустил белоснежный пар и умчался.

После непродолжительной тишины курсанты увидели в той стороне, куда ушёл паровоз, тёмную тучу, стремительно разрастающуюся ширирь и вверх. Раздался грохот. И вновь тишина. Нервы курсантов напряжены.

— Вот как налетит, как даст!

Было, однако, всё спокойно, и многие уснули.

Проснулся Костя от гудка вернувшегося локомотива. Курсанты потянулись к вагонам, повторяя команду, не столько для себя, сколько для тех, кто ещё не проснулся:

— По вагонам!

Вскоре эшелон подошёл к станции Лиски. Разрушений не видно. На перроне военные и железнодорожники.

Одни говорят, что немцы бомбят почему-то лишь на подъезде к станции. Другие, что у начальника станции нашли на чердаке радиопередатчик, по которому этот гад сообщал врагу о подходящих и уходящих воинских эшелонах.

Вскоре после Лисок на одной из станций эшелон выгрузили, и курсанты в походном строю двинулись в сторону фронта, на встречу со своей судьбой.

Курсанты шагали уже порядочное время и усталость брала своё, шли молча.

В стороне от дороги завиделись танки Т-34 и КВ. Танкисты осматривали свои боевые машины, не обращая внимания на колонну курсантов. Дескать, что на них смотреть — новички.

Один танкист, однако, стоял у шоссе и внимательно всматривался в идущих. Костя посмотрел в его сторону и узнал солдата.

— Ребята, смотрите, Сидоркин нас встречает, — брезгливо произнёс он.

И в самом деле, перед ними натурально стоял именно тот отчисленный из училища Сидоркин.

— Здравствуйте, хлопцы. Подождите чуток, мне надо кое-что сказать, — вид у Сидоркина виноватый, голос дрожащий. Константину отчего-то стало его жалко.

— Товарищ лейтенант, хлопцы, — тихо и с трудом произнёс Сидоркин, — это я тогда стащил носки и перчатки у Сергея, а обвинил ещё и Костю в этом. Это моя подлость. Такая подлость, что мне невозможно смотреть вам в глаза. Вы должны презирать меня.

Знаете, хлопцы, пока вы учились, я успел кое-что повидать. Потерял немало боевых товарищей. Сам чудом остался жив. Здесь моя совесть чиста, но моя подлость по отношению к Косте не даёт мне покоя. Если можете, простите.

Он говорил это с хрипотцой в голосе, шагая рядом с колонной и не отставая от Кости.

— Завтра мы идём в бой. Ребята ждут меня. Хочу идти в бой с чистой душой.

— Да что уж там. Я давно забыл, — успокоил его Костя, хотя в душе его не было у него прощения. Ещё свежа была обида за унижение.

— Шагай с очищенной совестью, забудь о своём скверном поступке. Ребята понимают, — сказал лейтенант Бекичев, пожимая ему руку; он впустил Сидоркина в строй роты.

Курсанты пожимали руку Сидоркину; тот оттаивал и преображался на глазах. Когда же он неуверенно протянул руку Константину, тот неожиданно для себя притянул Сидоркина к себе и обнял.

— Ничего, мы ещё повоюем вместе, ещё увидимся.

— Спасибо, хлопцы! — крикнул Сидоркин, убегая и на ходу торопливо натягивая танковый шлем.

Тут же танки один за другим рванулись и пошли полным ходом, перегоняя колонну курсантов. Они ушли в бой, из которого многие из них не вернутся.

— Друзей следует прощать, если они осознали и пережили свою вину, — тихо сказал лейтенант Бекичев, ротный командир, и этим будто проник в душу Кости. Костя действительно ощущал горечь и разочарование. Признание Сидоркина разрядило тяжесть отношений с товарищами, растопило лёд недоверия, но это всего за день до боёв, до неизбежных расставаний и потерь... а недели душевных страданий, горечи и стыда? Разве можно их забыть? Они ещё сидят в душе, как занозы.

Тем не менее, слова ротного проникли в душу Кости, и ему стало легче.

Подкрепившись и отдохнув, колонна двинулась дальше, однако вскоре свернула влево и пошла как бы вдоль линии фронта. С рассветом объявили привал в ложине. Невдалеке виднелся танк Т-34, подбитый и сильно обгоревший.

Подошёл командир батальона и предложил бойцам с противотанковыми ружьями потренироваться в стрельбе по танку.

Костя приготовил ружьё, залёг, но... не то, что стрелять, а и прицеливаться не стал.

— Не могу, — выдавил он из себя, — там могут быть наши танкисты.

— Кто там может остаться, ты посмотри!

— Не могу, — он встал и прижался к ружью, — у меня брат танкист. Как по его могиле стрелять?

Комбат не настаивал. Солдаты сбегали к танку, открыли люк и увидели танкистов, весь экипаж, сгоревших. Прикрыли люк и отошли в надежде, что местные жители похоронят солдат без спешки и лучше. Курсанты приутихли. Не сегодня-завтра в бой, а в этой войне надежды уцелеть мало. Вот напишут про этих танкистов: «пропали без вести», и сойдут с ума от горя родители, но с надеждой, что «а может быть...» Сами ребята не скажут: «Мы похоронены здесь».

*Провожала мать сыночка
Крепко-крепко обняла.
Не отёрла глаз платочком,
Горьких слёз не пролила.*

ПЕРЕД БОЯМИ

Формирование части на фронт завершилось, а Костя находился в состоянии сержанта без взвода, без отделения или, хотя бы, одного солдата.

Где-то на складе лежали противотанковые ружья, патроны к ним, противотанковые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, а у Константина в наличии автомат ППШ с двумя дисками, полная коробка патронов, да ещё благословенная сапёрная лопата, которую он часто точил и пробовал в деле.

Костя, несомненно, хотел жить. Поэтому он неустанно трудился. Выбирал огневую позицию, скрытно выдвигался к ней, окапывался

как можно быстрее и незаметнее. Затем он находил цель, стрелял и проверял результат.

Стрелял Константин отменно, единственно, он был недоволен своей стрельбой очередями. Не получалось хорошо.

Кое-кто из солдат ухмылялся, глядя на его усилия, советовали отдыхать, пока возможно, но Константин чутьём, на генном уровне будто знал то необходимое, чтобы выжить. Как заболевшее животное инстинктивно ищет, находит и ест лечебные травы, так Константин в целях самосохранения тренировался воевать.

«Милые мои родные, — размышлял он, — знайте, вам не придётся краснеть за меня. Я воюю за Родину, а Родина для меня это мама, братья и сёстры. Вот за них я и воюю. И ещё, за милую Валентину».

Ах, эта Валентина! Но какое, однако, воздействие!

Костю вызвали в штаб принимать пополнение. Собрался он мгновенно, протёр сапоги, поправил гимнастёрку, пилютку и отправился.

Не дослушав до конца его доклад, командир батальона сказал:

— Вот тебе бронебойщики! Времени мало. Научи их стрелять, потренируй. Командира взвода дадим. Догонит в походе, но и в походе ты не теряй времени, учи... Всё. Иди.

Костя глянул на пополнение. Перед ним стояли не старые, но какие-то унылые люди, одетые в солдатское обмундирование. Некоторые показались ему знакомыми. Где-то он, несомненно, видел их, то ли на Карагандинском или Чирчикском рынке, то ли среди знакомых курсанта Сабитова.

«Ах, как не похожи они на солдат», — подумал Костя и приступил.

— Давайте знакомиться. Я сержант Травин, пехотинец. Был в боях. Сюда прибыл из Ташкентского училища. Командую взводом противотанковых ружей. Будем с вами уничтожать немецкие танки, а теперь я запишу ваши фамилии и откуда вы, — он указал на одного из восьми, стоявших перед ним.

Солдаты заговорили между собой на непонятном для Константина языке. Затем один выступил вперёд и произнёс:

— Мен русчр бельмес.

Проходивший солдат захохотал и пояснил:

— Да они не бельмеса не понимают... Им бы барашка, быстро бы поняли! — солдат снова засмеялся и прошёл своей дорогой.

Костя стоял в растерянности. Что делать-то?

С помощью жестов и междометий он записал фамилии, а адресов, как ни пытался, не разобрал. Огорчённый и стыдясь насмешек солдата, наблюдавшего представление, Константин скомандовал: «Шагом

марш!», для надёжности показал жестом направление и увёл своё войско к землянке.

Здесь он вспомнил, что наступило время обедать, и добавил, не надеясь, что его поймут:

— Достать котелки, вещмешки оставить, следовать на обед!

К удивлению Константина, команду они поняли и отправились на обед, выполнив все его указания.

Вскоре его вызвал старшина и огорошил:

— Твои орлы получили хлеб, а от первого отказались.

— Почему?

— Увидели суп со свиной, загалдели: «чушка, чушка». А тут ещё один умник показал им из-под полы шинели свиное ухо. Не хотят кушать. Ты хоть сам всё получи, а я обязан паёк выдать.

— Тут свой-то в горло не лезет.

— Видно, тебе с ними не сладить. Иди к комбату, откажись от них. Иди. Сегодня снимаемся. Это я тебе по секрету. Никому. Иди. Он мужик хороший, поймёт.

Константин послушался совета и отправился к комбату.

— А куда я их дену? Да понимают они по-русски, не хотят только. Ладно, дам я тебе человека, не горюй, обойдётся, — душевно сказал комбат.

Не далее, как через пару часов к землянке подошёл молодой красивый черноволосый сержант.

— Сержант Безгин Николай Ефимович, 1925 года рождения, из Элисты. Жил с ними по соседству, понимаю мало-мало. Да и они нас понимают, — представился бравый воин. — Так говоришь, ПТР? ПТР так ПТР. Ни разу не стрелял. Из карабина стреляю неплохо, из этого не приходилось. Сам-то стрелял? Бьёт точно? Точнее карабина? Это хорошо. Слышал я, плечо сильно отбивает и звук, как из пушки.

Обрадованный Константин, опасаясь, как бы тот не передумал и не ушёл, хотя приказ есть приказ, но кто знает... сообщил, что оружие ПТР отличное, так как у него длинная прицельная линия, звук же, так это только если сбоку, а в общем ничего, терпимо.

— Вот сегодня же надо получить ружья и пристрелять как следует. В училище били по толстому стальному листу, пробивает за милую душу.

В тот же день они получили четыре ружья ПТР, патроны к ним, бутылки с горючей смесью в брезентовых мешочках, гранаты, автоматы ППШ и карабины. Кроме того, они с Николаем составили малень-

кий словарь из команд и иных слов, необходимых для общения со своим войском в походе и в бою.

В лощине недалеко от расположения полка выбрали место для стрельбы. Подняли подбитую пушку, нарисовали на броневом щите квадрат и кружок, имитирующие бензобак танка и ствол его орудия. Шагах в шестистах от пушки отрыли ячейку для стрельбы лёжа и установили два ПТР.

— Объясни солдатам, как вести себя в бою и как стрелять, а не поймут, я переведу, — предложил Николай.

Костя рассказал, насколько смог, и главное, постарался внушить, что смелому и умелому бойцу-бронбойщику танк не страшен. Он показал самые уязвимые места танка и, прежде всего, бензобак. Затем он донёс до солдат сведения, почерпнутые из агитационного листка о том, как лихо били герои-петеэровцы немецкие танки, а один взвод ПТР уничтожил целую танковую колонну.

Следует сказать, что Костя и сам верил в надёжность и эффективность ПТР даже в сравнении с сорокапятимиллиметровой противотанковой пушкой. «С ружьём можно незаметно выйти на любую самую удобную позицию и долго оставаться скрытым от врага. Пушку так не выкатишь», — рассуждал он.

— А теперь, — заключил он, — мы с сержантом Безгиным покажем стрельбу.

Пока Костя вёл беседу со своим войском, к ним подошёл командир полка с офицерами и внимательно слушал. Константин вытянулся и доложил:

— Товарищ полковник, краткий обзор закончен. Разрешите приступить к пристрелке ружей и практическим стрельбам.

Тот разрешающе махнул рукой.

Что греха таить, Косте хотелось отличиться, блеснуть, так сказать. Он залёг, зарядил ружьё и со словами «Бью в ствол» плавно надавил на спусковой крючок.

Все пошли к мишеням. Пробоина оказалась в пределах кружка, изображающего ствол танковой пушки. Пуля пробила броневой щит насквозь.

После пристрелки ружей начали учебные стрельбы. Солдаты взвода стреляли откровенно плохо; они ворчали, обижались, что болит плечо и поэтому стрелять не могут. Безгин ругал их и пытался научить стрелять правильно, но, как говорится, «не в коня корм». Солдаты явно не желали учиться воевать и всё ссылались на непонимание языка.

Тем временем на позицию выкатили противотанковую пушку, и сержант Бабенко, её хозяин, практиковался до тех пор, пока от мишен не остались лишь мелкие обломки.

Бабенко пренебрежительно глянул на ПТР и укатил, весьма довольный своим аппаратом.

— Не то, что ваши хлопущки, — бросил он Косте, — грому много, а толку мало. Комариные укусы.

Петеэровцы хмуро посмотрели на Бабенко, но промолчали. Похвастаться стрельбой взвода они не могли.

Команда выступать. Шли день за днём, в сутки по семьдесят километров. Уставали изрядно. Костя, как, впрочем, и другие солдаты, тащил на себе автомат, вещевой мешок, набитый патронами, двадцатикилограммовое ружьё, сапёрную лопату, бутылки с зажигательной смесью, противотанковые и обычные гранаты.

Никогда Константин не поверил бы, что возможно уснуть на ходу, а тут он натурально засыпал при ходьбе, спотыкался, осматривался, входил в строй и снова засыпал.

На пятые сутки появился духовой оркестр. Под его музыку усталые ноги несли легче, солдаты просыпались и даже пытались идти в ногу. Легче переносились жара и пыль, хрустевшая, однако, на зубах. Незадолго до местечка Скородное оркестр исчез, и снова навалилась тяжесть и усталость. Болели руки и ноги, а к плечам было больно прикоснуться. Ружьё притом норовило лечь на самое наболевшее место.

Ощущалось приближение фронта. Погромыхивало. Орудийные взрывы и иной грохот сражения теперь казался близким. Слева по ходу колонны показались позиции «катюш». Солдаты трудились над их устройством, энергично выбрасывали землю. Решетчатые установки стояли пока без ракет.

Колонна свернула круто влево, в ложину, поросшую лесом, и остановилась. Жители Скородного подошли к солдатам, чтобы узнать, остаться ли им в домах или уходить в лес.

Войско расположилось, подождали отставших солдат, привели оружие в порядок, пообедали и легли спать. Усталость взяла своё.

— Ну и спишь ты, — сказал Николай после третьей попытки разбудить Костю. Тот, наконец, встал, но расклеить веки и открыть глаза не мог.

— Поднять нас подняли, да разбудить забыли, — хохотал Николай, глядя на него, — ты умойся!

ПЕРВЫЙ БОЙ

— Командирам рот и взводов к командиру полка! — донеслась команда.

Костя передал ружьё Николаю и отправился налегке, с одним карабином.

— Мы вошли в состав Степного фронта. Перед нами лучшие танковые и пехотные подразделения врага, отборные части немецкой армии, готовые к наступлению. Мы имеем свою задачу, и мы её выполним. Стоять насмерть и ни шагу назад. Довольно отступить. Хватит.

Нашему полку поручена тяжёлая, но почётная задача — стать на пути главного удара, уничтожить врага. Мы займём готовые, отрытые окопы. Разрушенные окопы восстановить, подготовить новые, запасные. Работать тщательно, помня, что от этого зависит выживаемость воинов.

В бою отсекай пехоту от танков. Уничтожай танки гранатами и бутылками с горючей смесью. Стоять насмерть. На позиции проходить скрытно. Зря головы не подставляйте. У нас и так командиров не хватает. Всё. Выполнять!

Костя пошёл осмотреть те готовые отрытые окопы, о которых говорил командир полка. Он подошёл к траншее и осмотрелся.

Немецкий самолёт-разведчик по прозвищу «рама» появился неожиданно. Он покружил над местностью и исчез в небе. Костя прыгнул в углубление разрушенной траншеи мимо присыпанных землёй убитых солдат, услышал пощёлкивание разрывных пуль, рванулся дальше и свалился в глубокую траншею, едва не сбив с ног солдата. Высунувшись из траншеи, заметил цепь немецких автоматчиков и хотел было их обстрелять, но воздержался из опасения обнаружить себя.

Обычно он представлял себе пехотинца непременно с винтовкой, а у немцев всё автоматчики да пулемётчики.

Костя хотел возвратиться в часть, но тут налетели «мессершмитты». Они устроили колесо над позицией, непрерывно обстреливая и швыряя бомбы, не давали передышки. Косте казалось, что бомбы и пули направлены именно в него.

Но вот истребители исчезли, и он поднял голову.

— Улетели за следующим гостинцем, — сказал солдат, — кажется, жив, — в сомнении добавил он, поднимая и отряхивая винтовку. — А вот и наши соколы, как всегда, с небольшим опозданием, — солдат проводил осуждающим взглядом эскадрилью русских штурмовиков.

Штурмовики открыли огонь из пушек по местности впереди. Встревоженные воины выглянули из траншеи.

— Танки! И автоматчики! — закричал солдат и стал стрелять из винтовки. Константин быстро зарядил свой карабин, залёг и, стараясь разглядеть немцев, прицельно выстрелил.

Штурмовики скрылись за горизонтом, как бы выполнив свою задачу.

— Немцы в траншее! — прокричал офицер, на ходу отстёгивая гранату, в правой руке пистолет.

Костя закрепил штык и бросился следом. Едва он миновал траншейный поворот, как наткнулся на здорового, рыжего немца, отбил в сторону от себя ствол его автомата и, оперев ногу о тело убитого офицера, всей тяжестью, падая вперёд, воткнул рыжему солдату штык в грудь. Искажённое в ужасе лицо, и нутряной вскрик. Костя отпрянул и упал.

Поднимаясь, он услышал выстрел и увидел падающего в траншею, словно ныряющего вниз головой, второго автоматчика, а в стрелке узнал своего знакомого солдата.

Костя схватил автомат «шмайссер» заколотого им немца, выдернул кольцо из гранаты и швырнул её за поворот, дождался взрыва. На дне траншеи лежали немцы. Он поднял автомат, но стрелять не стал, немцы были мертвы.

Побежал дальше и едва не нарвался на выстрелы русских солдат, бегущих по траншее навстречу. Отбив атаку, воины передохнули.

«Шмайссер» Константин отдал солдату, оставив себе свой карабин, пристрелянный и надёжный, которому он доверял.

— Кто это его? — спросил подошедший старший лейтенант, показывая на немца.

— Он, — кивнул солдат в сторону Кости, — я и выстрелить не успел.

— К награде. Какой роты?

Костя назвал номер части.

— Не наш, — огорчился офицер, — а как ты сюда попал?

— Наша часть должна занять этот участок.

— Нет, уже переиграли. Теперь здесь мы. Может, с нами останешься?

— Нет, у нас два отделения ПТР, скоро подойдут.

— Не подойдут. Они получили другой участок, а ПТР и у нас есть.

Костя отказался, а солдат молча пошёл за ним. Но едва они подошли к месту своей первой встречи, как разрывы снарядов, свист и

щёлканье пуль заставили их снова нырнуть в ближайшую траншею. Здесь Костя обнаружил подкоп, далее нишу, а в ней ПТР, новёхонький ручной пулемёт с тремя пустыми дисками и четыре бутылки смеси.

— Ого, это уже кое-что! — обрадовался солдат. — Жаль, патронов только нет.

— В мешке, — кратко бросил Костя, кивая на свой вещевой мешок. При этом он выглянул из-за бруствера. — Набивай диски быстрее, — добавил он, увидев впереди, пока ещё далеко, танки и между ними автоматчиков. — Тебя как зовут?

— Никита.

— А меня Костей. Что станем делать, Никита? Вроде соседи редко, но есть... ещё никто не драпает.

— Мне драпать нельзя.

— За тобой кто следит?

— Сам за собой слежу.

— Ну, это каждый сам за собой следит. Но иногда ни к чему оставаться одному, пользы мало.

— Не важно. Отступить могу только по приказу.

— Ну хорошо, если нужно, я прикажу. А сейчас... кажется, предстоит работа.

В пехоте иногда происходит спонтанное отступление. Далеко не все способны сохранить твёрдость боевого духа. Двух, трёх отступающих вполне достаточно, чтобы дрогнули и побежали остальные. Каждого пугает мысль остаться последним и одному. Даже в заслоне нет такого страха, хотя остаёшься один, чтобы дать драгоценное время отступить в порядке всей части. В заслоне тебе поставлена задача отойти тогда-то. И хотя ты понимаешь, что шансов остаться живым очень мало, а такого страха нет, держишься. Такого страха нет даже в наступлении, когда один перегоняет другого и вырывается вперёд.

На этот раз опасение не оправдалось, панического отступления не происходило, а было лишь необходимое перемещение, которое вскоре и прекратилось.

Из-за возвышенности, медленно двигаясь, показались мотоциклисты-автоматчики. После первых выстрелов танковых пушек они открыли сильный автоматный и пулемётный огонь, резко ускорили движение.

— Приготовиться! — крикнул Константин больше для себя, чтобы взбодриться, ибо воины уже залегли и не нуждались в команде. Этой командой, по выучке от опытных воинов, Константин призывал всех

к спокойствию. «Видите, как я спокоен, ничего не случилось, держимся вместе и подбадриваем взаимно стойкостью и умением».

Падали мотоциклисты, рикошетили снаряды, а танки шли, и за ними, то вырываясь на простор, то вновь ища прикрытие, двигались мотоциклы с пулемётами и автоматчиками.

В этом первом для него бою Костя быстро становился воином, будто только этим и занимался давно. Он стрелял из ПТР не торопясь и тщательно прицеливаясь, остро замечал, как спотыкается и летит в сторону сражённый им мотоциклист. Тут же выбирал новую цель. Страх улетучился и не давил на него. Он придёт позже и в иной обстановке.

Воин Костя работал. Один из предков, натуру которого унаследовал Константин, несомненно, был выдающимся воином. Кто знает, кем бы стал Константин, если бы не война. Возможно, бухгалтером или врачом, а может быть, инженером. Во всяком случае, таланты предка тогда не проявились бы, но уже в первом бою они проснулись в нём и выказали воинскую доблесть.

Он бросил ружьё, взялся за карабин и стрелял так же сосредоточенно и умело. Бруствер прикрывал воина; пули свистели и хлопали, но вреда не наносили.

Танки, однако, надвигались, но вот ударила артиллерийская батарея; загорелся один танк, закрутился на месте другой, но танков было много, и они упорно приближались к траншее.

Костя вдруг увидел танк у самого своего бруствера; он бросился на дно траншеи; танк навис над ним и проутюжил. Обвалом посыпались комья земли. Утихло. Он поднялся, раскопал сумку с бутылками.

— Жив? — спросил Никита.

— Вроде того.

Костя глянул в сторону уходящего танка; бутылку до него не добросить. Зато, где-то совсем близко, не далее, как пара десятков шагов, грохотал пушкой ещё один, вот он. Костя швырнул бутылку, целясь на моторное отделение. Танк мгновенно обратился в пылающий костёр. Поверженная боевая машина содрогнулась от взрывов внутри и продолжала гореть.

Никита стрелял по выскочившим танкистам. В полукилометре справа четыре танка пытались зайти в тыл обороняющимся, но ушли недалеко. Один за другим они загорелись и встали.

— Закурить бы, — проговорил Никита, набивая диски.

— Опять вы? — подполз к ним старший лейтенант. Воткнув в ухо палец, он стал им трясти, словно выливал из него попавшую воду.

— Что ты сказал? Не слышу, оглох я немного. Шумно тут у вас, — усмехнулся он, — контузило меня. Вот вам блокнот, запишите свои фамилии. По звёздочке вам обеспечено. Может, останетесь? Вы у меня героев заслужите.

— Танки! — крикнул Никита. Старший лейтенант спрятал блокнот в планшет и побежал к своим.

Никита схватил бутылку и рванулся по траншее в сторону, откуда грохотал танк, а Костя, почувствовав кожей опасность, оглянулся и, не раздумывая, времени для этого не было, аккуратно набросил бутылку на решётку двигательного отделения грозной машины.

— Справился? — спросил запалённый Никита после поединка с танком, но сказать больше не успел ни слова, так как в этот миг в соседнюю траншею ударила огненная струя.

До этого Костя никогда не видел огнёмётов в действии, и впоследствии, в войне тоже не наблюдал, чтобы немцы их применяли. То, что он увидел теперь, невозможно воспринять разумом; картина эта долго ещё преследовала Константина во снах, пока иные, ещё более страшные образы войны не заглушили первоначальный ужас.

Облитый струёй огнёмёта бежал по полю русский солдат; он пылал ярким пламенем. Горела одежда, волосы, руки; несчастный падал на землю, катался всем телом, пытаясь загасить огонь, прижимал руки к лицу, вскакивал и снова бежал.

Не догоняя, но и не отставая от него, грохотал танк. Солдат упал, и танк тут же прибавил ход. Солдат сквозь свои муки увидел его, вскочил и рванулся в сторону, однако снова упал, и тут же исчез под гусеницами. Долго Константин будет слышать ужасный безумный крик человека и хруст под гусеницами танка, видеть, как из-под днища танка брызнуло кровью, а затем кровавое месиво с ещё содрогающимися человеческими останками.

Сражение переменялось, когда подошли русские танки КВ. Оставив в поле около двадцати боевых машин, немцы отошли.

По траншее цепью подошли русские солдаты. словно ничего не произошло, они деловито расчищали развороченные траншеи, обустроивались и занимали огневые точки.

Костя с Никитой отыскивали старшего лейтенанта, попрощались с ним, да и отправились искать свою родную часть. Старший лейтенант остался доволен боем, хотя и потерял несколько человек убитыми и ранеными. Он также видел горящего солдата и решил, это кто-то из них, его новых знакомых.

Воины, почти не прячась, прошагали в тыл и вскоре встретились с Николаем. Не имея сил для разговора, Костя уснул глубоким сном, Николай дал ему хорошенько поспать и не тревожил расспросами.

Молодость великая сила. Костя выспался; встал, как огурчик.

Взвод построен, пулемёты, ружья на плечах, автоматы в руках, скатка через плечо, лопата, противогаз, вещевой мешок на месте.

— Ну, пошли. Где передовая? — Костя вспомнил сказанное старшим лейтенантом.

— Мы передовая. Где встретим немца, там и передовая. Я получил задачу о наступлении. Тебя пожалел; спал ты сладко. Задача — дуй вперёд, пока немцы не остановят.

Развернулись в цепь. Поступил приказ: скатки и противогазы оставить. Позднее их соберёт старшина.

Костя с удовольствием снял скатанную в толстую колбасу шинель и оглядел цепь хорошо вооружённых солдат. Ни единого выстрела не прозвучало с немецкой стороны. Однако ощущение близкого противника, который затаился и вот-вот откроет убийственный огонь, не из приятных. Но солдаты шли дальше, и пока ничего, всё тихо.

Значит, отсюда вдарит, из нескошенной ржи... Но вот рожь позади, всё тихо. Словом, всякий раз в мыслях возникал новый противник, новая угроза, и не хотелось, чтобы он оказался в реалии. Вот и лощина, широкая и пологая. Группа солдат уже спустилась в неё, когда один за другим раздались взрывы.

— Мины! — передали по цепи.

Спустившись в лощину, Константин остановил взвод.

— Ждать меня здесь! — бросил Костя солдатам и, внимательно разглядывая перед собой почву, медленно двинулся вместе с Николаем. Они прошли не более трёхсот шагов, когда раздались выстрелы, и сержанты увидели впереди, на противоположном склоне лощины немцев.

Немцы стреляли с колена куда-то поверх кустарника, где, однако, стояли Костя с Николаем. Следует возвращаться. Они подползли к месту остановки взвода и обнаружили ручные пулемёты с дисками, четыре противотанковых ружья ПТР и полный комплект боеприпасов к ним. Всё брошено.

— Убежали, сволочи! — вырвалось у Николая.

Огонь противника усилился; их, очевидно, заметили.

Костя подтянул к себе пулемёт, прицелился в немца и выстрелил. Тот исчез в траве и больше не появился. Всмотрелся ещё, выстрелил и, кажется, уложил.

Ещё одна цепь немецких солдат спускалась со склона. Костя врубил пулемёт на сошки и открыл огонь очередями, поворачивая ствол влево, вправо, стараясь захватить сектор пошире. Он стрелял, но не видел результата, ибо немцы продолжали своё движение без видимых потерь.

«Может, пулемёт не пристрелян?» — нервно подумал он, холодок пробежал по телу. Ударил ниже; пули взрыли землю перед цепью. Чуть приподнял ствол и выдал длиннейшую очередь. Пулемёт смолк. Он бросил его и взялся за автомат, но немцев не увидел. «Куда они подевались? Залегли, ушли? Когда успели?»

До той поры, пока наши воины вели перестрелку с автоматчиками, это был бой с равным оружием, но вот впереди, на холме перед ложиной показались танки с чёрными крестами на броне. Двигаясь уступом, они беспощадно и неукротимо спускались в ложину, туда, где окопались и залегли в своих нехитрых огневых точках легковооружённые российские солдаты.

Костя видел перед собой с лязгом наползающую на него смерть, и обессиливающий ужас пополз к животу и ниже; всё существо его призывало и вопило: беги прочь. Таково было его мгновенное ощущение. Но вот в нём проснулся великий инстинкт жизни. Он и не заметил, как сковывающий и обессиливающий страх исчез; им овладела ярость первобытного охотника на опасного зверя, посягнувшего на бесценную жизнь человека. Тысячелетний опыт борьбы за существование возвёл способность Константина сражаться на высшую ступень. Зрение обострилось, дрожь ушла, мышцы легко держали послушное оружие.

Танк лязгал, крутил башню, ствол пушки метался вверх, вниз, в стороны от движения в поисках противника. Вот он плюнул из пушки, снаряд прошипел и рванул землю позади Константина.

Быстро, но без лихорадки Константин вглядывался в танк в поиске уязвимого места. «Бить в лоб бесполезно. Хорошо бы в ствол врубить», — подумал он. Он припал к ружью, нацелил его на пушку и с бесконечным терпением отслеживал её движение. Он ждал.

И такой момент наступил. При наклоне танк замедлил ход и опустил пушку. Пушка на мгновенье уставилась прямо в Костю, таким образом, что из всего орудия ему виделся только кружок жерла. Он надавил на спусковой крючок.

Бронебойная пуля его ПТР попала точно в ствол, в котором находился готовый к выстрелу снаряд. Снаряд сдетонировал внутри ствола. Башню и пушку разворотило, сорвало с танка и швырнуло в сторону.

Костя не поверил своим глазам, что он смог совершить такое. Это чудо! Но когда он таким же образом поразил ещё один танк, Николай в полном восторге шлёпнул его по спине. Костя испустил торжествующий крик победителя; ему захотелось вскочить и исполнить танец первобытного предка возле убитого им мамонта.

Остальные танки между тем продолжали движение в лощину; они приняли влево, и на этом роковом для себя повороте подставили борта. Костя с благодарностью вспомнил казавшиеся тогда нудными уроки в училище о местах наибольшей уязвимости танков, изображённых на плакате. Теперь эти теоретические навыки пригодились, как никогда.

В центре, чуть позади, под верхними траками гусениц он нащупал зрением место бензобака, выждал и выстрелил. Танк вспыхнул. Из люков выскочили танкисты. Охваченные пламенем, они горели и катались по земле в попытках погасить пламя; Костя и Николай поливали их из пулемётов огнём милосердия.

Танки ушли. Воины тогда не думали, что они участвуют в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой, которое вошло в анналы истории Отечественной войны. Они просто сражались за Родину и за свою жизнь. И они не хотели умирать.

Танки ушли. Воины повалились в окопчиках возле своего оружия и отдыхали, отходили от колоссального напряжения смертельного боя.

— Коля! Ты жив?

— Даже не ранен. А как ты? Тоже? Это хорошо.

В небе, как из ничего, возникла немецкая «рама». Костя мгновенно схватил ружьё, прицелился и выстрелил. «Рама», однако, резко ушла из видимости.

Теперь они могли осмотреться как следует.

Впереди за лощиной среди больших деревьев виднелись несколько крестьянских домов. Дома как дома. Но вот из-за угла одного дома показался ствол пушки, гусеницы, убегающие солдаты в форме российской армии, а через секунду и весь танк с крестом на броне.

— Коля, танк! — крикнул Костя, — смотри, ещё один. Третий!

Быстро зарядив ружьё, он, не раздумывая, прицелился и выстрелил, норовя попасть в щель первого танка. Танк дёрнулся и остановился. Следующим выстрелом Костя ударил в ствол второго танка. Остальные машины отползли.

Сержанты не успели, однако, перевести дух, как перед ними, словно в кино, снова появились танки, на этот раз сбоку, у шоссе. Они не

торопясь, как и прежде, уступом спускались в лощину. Воины решили выждать, пока танки пройдут дальше в лощину и из логики движения подставят под выстрелы свои борта. Они сложили весь запас патронов между ружьями и замерли в ожидании.

— И никто не узнает, где могилка моя, — пропел Костя, но получилось это не к месту и очень нервно.

— Давай зароем документы, — предложил Николай.

Рядом с собой они сделали ямку, сложили в неё бумаги, засыпали землёй, а сверху воткнули свои финские ножи. «Кстати сказать, весьма, скверного качества. Они гнутся и тупятся при малейшем употреблении», — подумал Костя.

— Прогонят немцев, кто-нибудь найдёт. Сообщит, — задумчиво сказал Николай.

Они не надеялись выйти из этого боя живыми. Немцы наверняка займут лощину, а отступить невозможно, ибо они ещё живы только до тех пор, пока их не видят.

— Выпить хочешь? Во фляжке есть, — предложил Николай.

— К чему туманить башку, и так всё в дыму, — отказался Костя. Он изо всех сил старался держаться, чтобы его страх не перешёл в трусость, ибо был убеждён, что только при этом условии он выживет в военном аду. Судя по всему, их в лощине осталось человек десять, не более. Слева бил станковый пулемёт, слышалась характерная стрельба ручных пулемётов да треск автоматов.

«Долго ли мы продержимся такими жалкими силами?» — в отчаянии размышлял Костя.

Между тем, танки уже глубоко спустились в лощину.

«Пора!» — мысленно определили воины.

— Давай по бензобакам бронезажигательными... я в первый, ты в тот, что правее.

Николай кивнул в согласии.

В мирное время смерть приходит к людям не торопясь. Человек побелеет, туда-сюда... а тут — шлёп пуля, и жизни нет, прервала её пуля.

Выстрелили они, как договорились, одновременно, как на полигоне, даже заметили искорку на танке... и ничего. Костя ощутил некоторую растерянность и неприятный холодок, но вот на первом танке показалась струя черного дыма, а через мгновение и на втором, и затем пламя.

— Хорошо горят, хорошее ружьё, — удовлетворённо произнёс Николай.

После следующих выстрелов задымили ещё две немецкие машины. Воины подбили ещё по одному, после чего танки попятились.

— Давай я задний, ты второй! — в боевом азарте закричал Костя, но сильнейший взрыв заглушил его. Немцы наконец их обнаружили и открыли ураганный огонь. Взрывы обратились в сплошной грохот; сыпало землёй, осколки резали всё вокруг.

«Так и убить могут, — промелькнула у Кости нелепая мысль, — хорошо бы вырыть ячейку от осколков».

Понимая, что времени им отпущено мало, они продолжали торопливо, но по возможности точно стрелять.

— Мы не одни, Коля! — закричал Константин, услышав, что по танкам бьёт российская «сорокапятка», возможно, пушка Бабенко. Но он тут же с ужасом увидел, как место расположения этой пушки заволочло дымом и взрывами.

На этом, однако, славный бой сержанта Константина Травина закончился. Разорвавшийся вблизи снаряд оглушил и ударил дикой болью по перепонкам, ногам, спине, бросил не то в полёт, не то в падение и, наконец, обратил в небытие.

А в сражении произошла следующая диспозиция. Солдаты, не желая подорваться на минах, отошли, но вместо того, чтобы занять оборону и окопаться, отступили дальше. И вот, из лишённой логики военных действий обстановки, произошло отступление из ложины, а тут ещё немецкие танки. Молодцы бронебойщики, да ещё сержант Бабенко, который занял оборону у дороги, а затем выдвинул свою «сорокапятку» на прямую наводку.

Они-то и спасли дезорганизованное войско от полного разгрома. Немецкие автоматчики попытались потеснить российских солдат ещё дальше, но без активной танковой поддержки их натиск захлебнулся.

ПЛЕН

Костя открыл глаза и лежал, не понимая, что с ним и где он. Тело болело, накатывалась тошнота. Невдалеке стоял немецкий солдат. Константин попытался встать, но руки ощутили носилки. Значит, он ранен и он в плену.

Что делать?

«А, притворюсь дурачком», — подумал он и немного успокоился.

Изложение дальнейших событий, связанных с пребыванием Константина в немецком плену, представляло для меня немалые трудности

сти и требовало особого понимания, не только размышлений и поступков героя повествования, но также времени и обстановки, в которых они происходили.

Дай Бог здоровья майору Тимочкину из подмосковного архива военного ведомства, который проявил участие и понимание моего интереса, долго рылся в своих пыльных архивных анналах и недели через три вручил мне подлинник Костиных показаний следователю особого отдела СМЕРШ. Бумагу майор дал лишь прочитать и тут же отобрал. Я, однако, успел сделать с него список, чего для меня было достаточно с лихвой. Одно то, что он сохранился, уже огромная удача.

Костя пребывал в плену не только вражеском, но и в плену представлений того времени о линии поведения пленённого советского воина, поэтому логика его истинного поведения требует не только правды, но и немалой деликатности. Сгоряча можно приписать ему такое, за что станет стыдно перед ним. Мне-то что, пишу в комфортной обстановке, в комнате за чистым столом.

Костя же боролся за свою жизнь в крови и грязи, страдая и не зная порою, как поступить, будучи в плену большевистских законов поведения, жестоких, двуличных, лживых. Трудно понять, кого больше боялся он, немцев или своих «особистов».

В связи с этим я решил вначале рассказать всё со слов самого Константина, а уж затем разложить всё по полочкам и посильно докопаться до истины. Главная истина состояла в том, что он, сержант Травин, попал в плен, и ему очень хотелось выжить и по возможности достойно.

Вот содержание допроса Константина в немецком плену по версии самого Константина, рассказанной им после плена в Особом отделе дивизии. Здесь присутствует правда вышеуказанного документа.

Из архива Особого отдела дивизии.

«— Аус вахт, — услышал Константин и сделал попытку встать с носилок, но не смог, и тогда два солдата подхватили его под руки, вволокли в землянку и посадили на табурет. Землянка просторная, с двумя столами и десятком стульев.

За столом сидят генерал и офицеры. Один офицер стоял у окна, выделяясь тёмными волосами и длинным шрамом через всё лицо, от брови до подбородка.

— Фамилия, имя, отчество, год рождения, — обратился к Константину офицер со шрамом на чистом, без малейшего акцента, русском языке.

— Пичков Фёдор Иванович, — ответил Константин и подумал «не забыть бы», — родился в Тульской области Чернского района в деревне Дешовка. Мне восемнадцать лет.

— Зачем ты врёшь? Ты понимаешь, где находишься? Вместо того, чтобы помогать армии-освободителю, ты врёшь.

— Освободителю? От кого?

— От коммунистов и евреев. Ты должен говорить только правду. Зачем выдумал деревню Дешовка?

— Не верите? Вот письмо из дома, — Константин стал шарить по карманам, как бы в поисках письма. — Нету, — в растерянности сказал он. — Письма у вас. Отдайте, прошу вас.

«Что, съели?!» — злорадно подумал он и постарался придать лицу простодушное и даже глупое выражение.

— Номер войсковой части!

— Нам не успели сообщить. Мы с похода в бой.

— Это ваша колонна подходила в полдень позавчера?

«Значит, я только ночь пролежал», — подумал Константин.

— Зачем в лощину побежали?

— Начали рваться мины ... — он осёкся.

— Рваться? Где? Покажи, — офицер поднёс к нему карту.

Константин ткнул пальцем правее того места, где находилась их с Николаем позиция.

Офицер понял, что пленный темнит и путается, а Константин сообщил, что полк не разбит, иначе немцы не задавали бы ему эти вопросы.

— Вы ещё совсем молодой человек, и Вам нужно жить. Вы правдиво ответите на мои вопросы и останетесь жить. Вы будете хорошо жить. Германия не забывает тех, кто помогает ей, а Вы не желаете помочь нашей освободительной армии, — офицер укоризненно покачал головой.

— От кого хотите нас освободить? От нас самих? Мы и есть русские, евреи, татары, украинцы... Мы все до единого коммунисты, от мала до велика, кроме малой своры предателей, которых мы ненавидим больше, чем самих фашистов. Слышишь? Наши идут. Прислушайся и дрожи. Ты не человек, а предатель. Теперь нас до Берлина не остановишь. Если тебя не повесят раньше, то уж в Берлине обязательно. Не удерёшь, найдём. Всю Землю перероем, но найдём. Всю жизнь будешь дрожать.

— Фанатик и дурак, — сказал генерал своим офицерам, поднялся и ушёл.

Офицер со шрамом, красный с вытаращенными глазами, брызгая слюной, что-то ещё спрашивал, кричал, а затем в ярости сильно ударил строптивного пленного выше правого виска, отчего у того поплыло в глазах, и он перестал ощущать происходящее».

Я сильно сомневаюсь в достоверности героического поведения Кости в эпизоде с допросом у врага. Да и немецкий генерал вряд ли присутствовал на этом допросе.

Дело в том, что свои показания следователю он изобразил в эпоху тотального господства партийной олигархии. Поэтому, чтобы не подвергнуться остракизму власти, он вынужденно применял к себе пропагандистский стереотип поведения советского человека, случайно попавшего в плен.

Вот он, этот стереотип, многократно пропечатанный в пропагандистских агитационных листовках, которыми политические органы снабжали все войсковые подразделения армии и флота, для неукоснительного исполнения.

Советский солдат может попасть в плен исключительно только в бессознательном состоянии, то есть, тяжело раненым или контуженым. Сами по себе тяжёлое ранение или контузия не служат основанием для попадания в плен, ибо солдат, будучи в сознании, имеет возможность и обязан застрелиться.

На допросе он должен держаться бесстрашно и гордо. Проявлять откровенное презрение к врагу. На все вопросы отвечать презрительным молчанием. Сообщать врагу даже заведомую ложь не рекомендуется ввиду того, что в этом как бы содержится элемент слабодушия, и вообще, разберись потом, врал он или всё же выбалтывал правду в целях спасения своей шкуры.

Затем он обязан выкрикнуть патриотические слова, славящие родную партию, и плюнуть палачам в морду. Ещё лучше — броситься на них (если не связаны ноги) с намерением ударить и придушить.

Самый лояльный вариант, глубоко одобряемый пропагандой, это получить пулю и героически умереть.

Я с негодованием на политический режим и с болью за Костю, тем не менее, отбрасываю его версию героического поведения, воспринимая её не более, чем защитный приём от вероятных репрессий.

Действительность проще и ужаснее.

Костя лежал в сарае, раны нестерпимо, до умопомрачения болели, мучительно хотелось пить. Чувства отчаяния и безысходности волна-

ми окатывали его силы и волю. Он находился во власти врага, который в любую минуту мог его убить.

Нельзя сказать, что он трясся в страхе, но страдал и мучился ужасно. Да что, собственно говоря, позорного в том, что человек, попавший в такое отчаянное положение, испытывает страх перед предстоящим? Страх за свою жизнь. Надежда на более или менее благополучный исход не оставляет его, но заставляет держаться осторожно, чтобы не спровоцировать худший вариант.

Разве Христос, идущий на Голгофу, не испытывал страх и душевные страдания, муки? Христос, Сын человеческий, в муках и страданиях взял на себя грехи людей, принял мученическую смерть и Богом ушёл к Отцу своему небесному. Но и Он страдал и страшился!

Контузия дала о себе знать, Костя впал в обморочное состояние.

Очнулся он в конной фурманке. Лошадь неслась по бездорожью, а фурманка неистово тряслась на кочках. Он лежал на спине и видел над собой небесный океан. И ещё увидел он три российских штурмовика, устроивших в небе боевое колесо; чёрный дым и взрывы закрыли цель. Вот проревели реактивные снаряды, загрохотала авиационная пушка.

Боль навалилась такая нестерпимая, что он молил лётчиков пустить снаряд и в него, чтобы прекратить мучения. Но вот, находясь почти в бессознательном состоянии, он ощутил, что тряска прекратилась. Фурманка выбралась на твёрдую гладкую дорогу.

Штурмовики улетели.

Сбоку дороги открыто стояла батарея шестиствольных миномётов «Ванюша»; возле неё суетились немецкие солдаты. Раздался скрежет или скрип, напоминающий крик ишака. Это батарея произвела залп. Ещё увидел он во множестве танки, готовые идти в бой, и немецких танкистов, спокойно расхаживающих возле своих панцер-машин.

Теперь Костя сильно жалел, что нет штурмовиков. Он бы из последних сил показал им эти цели. Однако, вздохнуть с сожалением — вот всё, что мог сделать Костя в его теперешнем положении.

Фурманка остановилась возле посёлка неподалёку от нескольких повозок. Стояла тишина. Метрах в двадцати дымилась полевая кухня; немецкие солдаты неторопливо подходили, получали еду и отходили.

Разительно отличалась группа людей в российском обмундировании, в пилотках, надетых поперёк черноволосых голов. Они покрутились возле кухни, получили своё в котелки, расположились тут же, на земле, и заработали ложками, прямо-таки набросились на еду. Съев, подошли за добавкой. Повар-немец поворчал на них, но еду выдал.

«Это же солдаты из моего взвода, — определил Костя. — Вон Юсупов и довольная, сытая рожа Юлдашева. Как они оказались здесь? Ходят свободно, без охраны, как у своих. Вот ведь, гады, ложки и котелки сохранили, а ружья и боеприпасы бросили. Как же так?»

Солдаты также узнали Костю. Поев, они подошли к фурманке и усталились на контуженного сержанта; все пятеро из его взвода.

— А, командир! Нами командовал. Теперь мы командовать будем! — злобно закричал Юлдашев и резко ударил Костю в лицо. Остальные закричали, загалдели, притом на русском языке, который они ранее якобы не понимали.

«Вот гады, — с досадой думал Костя, а ведь он даже жалел их, полагая, что при всей своей неграмотности и необученности воинскому делу они всё же братья, готовые помочь родине в трудный час. — Ну, погодите, сволочи, дайте мне живым выбраться из плена. Найду вас, из под земли достану. Жаль, Коля погиб. Он их знает по фамилиям. Впрочем, списки, возможно, сохранились. Сколько хороших жизней отдано напрасно из-за таких подонков, как эти!»

От обиды и несправедливости, что существуют такие люди, от контузии Костя ослабел и как-то обмяк; даже плюнуть на них не было сил. Подошёл довольный немец; он видел и слышал разговор. Брезгливо, как паршивую скотину, растолкал солдат и отогнал их от фурманки.

— Ну как, уважили они своего командира, твои солдаты? — насмешливо спросил он Костю.

День прошёл в странном состоянии. Сознание то покидало Костю, то он вновь ощущал свою реальность. Боли и шумы в голове прекратились сами собой, остались прежняя тошнота и чувство неопределённости времени. Вроде, солнце едва встало, и тут же зашло, без всякой связи с событиями. День и ночь, так, сплошная тягомотина.

Однажды он увидел впереди себя другого ездового, но не придал этому значения; все они для Кости были одинаковые. Хотелось есть. Пожалел, что отказался от еды перед наступлением. Когда это было? Вчера, позавчера?

— Слушай, фашист, дадут мне поесть?

— Я не фашист. Я поляк.

— Вот, ещё один предатель.

— Я не предатель, я поляк.

— Как же не предатель, если ваши ребята воюют против немцев, а ты немцам служишь?

— А что, есть у вас поляки?

— Да, несколько дивизий; одна имени Тадеуша Костюшки. Вот возьмут тебя в плен, да и повесят тут, вдали от твоей Польши.

— Не воюют у вас наши. Это русская агитация.

— Дурак ты, я сам видел, — соврал Константин.

— Как же они одеты, в русское?

— Нет, в довоенную польскую форму.

— А, это ваши польские коммунисты.

— Коммунисты, не коммунисты, а тебя повесят.

— За что же? Я же не сам, а немцы заставили.

— Они тебя заставят стрелять, а ты трус и станешь стрелять. Вот ты везёшь меня и помогаешь немцам.

— Какая помощь! Ездовой, фи... — он хмыкнул, однако надолго замолчал. Задумался.

Придя в себя в очередной раз, Костя обнаружил прежнего ездового, немца.

«Что же мне поляк, привиделся?» — подумал он. Его не покидала мысль о побеге, пока ещё слабая, ибо слаб телом. Слабая, но навязчивая.

— Фриц, дал бы хлеба.

После долгого молчания немец произнёс речь, из которой явствовало, что он сам знает, когда пленному дать еды, и что он не Фриц, а Ганс.

— Что Ганс, что Фриц, один ... , — Костя выругался, — вот помру с голода, некому станет работать на твоей ферме. Придётся твоей жене просить соседа. Тот поможет и на дворе, и в кровати...

Он опустил ноги с фуры и сполз на землю. Ноги подкосились, и он едва не упал. Сделал шаг, другой... но, увидев бешеное выражение обернувшегося немца, испугался. «Сейчас начнётся».

— Цурюк! — заорал тот. Затем он остановил лошадей, не торопясь подошёл к Константину и крепко избил его, что-то при этом приговаривая.

Костя молчал и не защищался; он понял, что зарвался. Так нельзя, следует держать себя в руках, если хочешь жить. Ездовой бросил его на фуру и погнал лошадей, догоняя передние повозки.

Костя с трудом приоткрыл глаза, правый совершенно заплыл от побоев, и в небе, красном на фоне заходящего солнца, увидел два российских бомбардировщика.

— Русь фанер, — закричал ездовой и побежал к кустам.

Аэропланы шли медленно, почему-то с запада и без сопровождения истребителей. Небо чистое и они видны, как на ладони. Возле них появились клубочки взрывов зенитных снарядов.

«Ребята, быстрее, что же вы тащитесь. Ведь собьют», — мысленно умолял их Костя.

Один бомбардировщик пошёл на резкое снижение, за ним потянулся шлейф чёрного дыма. Он сбросил свой запас бомб и уходил на восток.

«Подбили, гады!» — стиснул зубы Костя. Он надеялся, что лётчики спасутся.

Второй бомбардировщик почти завис в воздухе, представляя собой отличную мишень. Вот его резко рвануло в сторону, и он, всё ускоряя свой последний смертельный бег, упал на землю. Костя заплакал.

Сильный взрыв означил место падения аэроплана, завиднелся парашют спрыгнувшего лётчика. Всего одного! Но и по нему стреляли. Много раз за время войны Косте, увы, приходилось наблюдать, как неточно стреляют российские зенитчики по немецким самолётам, а тут...

Фура остановилась в кустах у бревенчатой стены дома; ни его ездового, ни иных повозок не было. Неподалёку спешила по своим делам крепенькая старушка.

— Бабушка, что за деревня?

— Уды, — ответила женщина, а рассмотрев Костю, она удивлённо вскрикнула и подбежала к нему.

— Ты кто, как сюда попал?

— Немцы есть?

— Кругом полно их, внучек, — сказала она, плача и глядя его голову.

— В плен вот я попал... раненый, — добавил он, стыдясь за свой плен. — Туляк я. Куда-то везут... есть не дают. Да я и не прошу. Ждут, когда я им в ножки поклонюсь.

Женщина проворно сбегала в дом, вынесла ломоть хлеба и кружку молока. Костя жадно набросился на еду, обильно орошая её слезами. Он расчувствовался; старушка олицетворяла собой истинно русскую душу, открытую к добру, жалости и состраданию.

Он ел, а женщина жалостливо смотрела на него и сокрушалась, что не доживёт до прихода российских солдат. Теперь уж Костя утешал её.

— Как же мать твоя убивается за тебя, не зная, где ты и жив ли.

— Убегу я, бабушка, не горюй, — уверял он её.

— Я тебя спрячу в подполе, там тебе будет хорошо, — уговаривала она его, словно опасалась, что ему не подойдут предложенные условия.

Он, однако, отказался, понимая, что если немцы узнают, её дом сожгут.

Подошёл ездовой, он вытолкал женщину прочь, вышиб из рук Кости остатки еды и порядочно избил. И снова езда и невыносимая тряска. Контузия получилась сильная и всё не отпускала; в теле слабость и разбитость.

Повозка свернула с дороги и остановилась в огородах. Ездовые слезли со своих экипажей, занялись едой. Костя лежал на спине, смотрел на звёзды, вдыхал аромат сада и слушал, как шелестят листья. Он уснул, но ездовой пустил лошадей в рысь и тряской прервал его сон. Светало.

Они проехали улицу, забитую повозками от забора до забора, и двигались в плотном окружении фур, движение которых только и нарушало тишину.

Костя осторожно развернулся, сполз с фуры, сделал несколько шагов, но в великой слабости опустился на колени, затем перелез через кювет. И тут он различил силуэт танка, затем ещё одного, третьего. Танки без лязга гусениц, с приглушёнными моторами, как бы не желая нарушать тишину, медленно двигались таким образом, словно их тянули на лебёдке, будто они крались.

Но вот раздался треск сломленного дерева и истерический вопль:
— Русишь панцер!

Тут же взвыли моторы и ударили танковые пушки и пулемёты. Гвалт на немецком языке, ржание испуганных лошадей.

Костя надеялся, что повозки тронутся, и его не хватятся. Не упустить бы благоприятный момент; ноги, однако, не держали, и он посильно двигался, почти полз на коленях. Послышались взрывы, и около Константина пробежал танкист, стреляя из автомата. Он увидел его и остановился. Подошли ещё два танкиста.

— Ребята, возьмите меня с собой, ранен я под Прохоровкой, контужен. Ноги не идут.

— Наш, возьмём?

— Куда там, самим бы выбраться!

— Ты вот что, солдат, спрячься. Подползи под крыльцо, наши близко. Держись, прощай,

— Прощайте, ребята, — сквозь слёзы проговорил Костя. Танкисты скрылись в саду.

Костя заметил стоявший поблизости деревянный дом и пополз к нему. До крыльца оставалось не более десятка шагов, когда он потерял сознание, а пришёл в себя от удара сапогом. Избивал его эсесовец.

Прячась от ударов, Константин пытался врасти в землю, укрыть живот, голову. И снова темнота.

Очнулся, когда солнце находилось в зените, припекало. Он корил себя за слабость; надо же свалиться, когда до спасительного крыльца оставалось несколько шагов! Не мог уползти!

Поодаль стояли чёрные обгоревшие танки; солдаты очищали место от последствий нападения, носилками таскали раненых к врачам в белых халатах, убитых в другое место, за садом.

У ног Кости, как ни в чем не бывало, мирно пощипывала травку лошадёнка, впряжённая в водовозку. Рядом стояли ездовые, немец и поляк, и о чем-то договаривались.

«Живы, гады», — с сожалением подумал Костя. Он с трудом встал и, шатаясь, подошёл к водовозке. Опёрся о неё.

— Вот на ней и поедешь. Усидишь? — сказал поляк, — да побыстрей уедем, а то хватятся. Ваши тут такое натворили...

Он рассказал, что никуда он не бежал, а ехал в санитарной повозке.

— Теперь вот наскребли остатки солдат. Ужас, много погибло. Его друг погиб, — указал поляк на эсесовца.

Тот, словно почувствовал, что пленный может ускользнуть, глянул и направился к нему, на ходу доставая парабеллум.

— Убьёт, — понял Костя и отвернулся.

Эсесовец ухватил его за ворот гимнастёрки, развернул к себе и приставил к груди пистолет. Вмешался, однако, немец-ездовой. Он подошёл, отстранил его от пленного и что-то сказал. Вероятно, вроде того, что пленного убивать нельзя, ибо он за него отвечает перед командованием.

И на этот раз Константин остался жив. Не слишком ли везёт? Он опасался, как бы такая трогательная забота о нём со стороны судьбы не предвещала испытания пострашнее. Лучше об этом не думать. Он уселся на сиденье в виде широкой, уложенной поперёк доски и прислонился спиной к бочке. Едва он взялся за вожжи, как лошади сами пошли вслед за повозкой ездового-поляка. За водовозкой, вроде охраны, двигалась фурманка ездового-немца, далее другие повозки; всего экипажей в обозе получалось не менее двух десятков. Все фурманки крыты брезентом на цыганский манер.

Поехали улицей. Возле домов, около калиток стояли люди и заинтересованно смотрели на обоз. Увидев Костю, спросили, как он попал к немцам.

— Ранили в бою, попал в плен, под Прохоровкой контузило снарядом. Вот теперь везут.

— Дали вы им там прикурить. Немцы сами признали. Чего не сбежишь?

— Ночью бежал, поймали. До сих пор всё болит. Вот посадили.

— Плохо бежал.

— Сил не хватило. Очень сильная контузия.

— Ладно, держись, солдат. Скоро будут наши.

Проехали деревеньку. Женщина равнодушно поглядела на Костю, сказала, что есть нечего, а бумагу и карандаш вынесла.

Пристроившись у водовозки, он написал письмо матери, сообщил, что в плену, но непременно сбежит и снова станет воевать. «Вам не должно быть стыдно за меня. Воюю хорошо». Женщина, однако, письма не взяла, как он ни просил.

Остановка оказалась краткой и еды снова не дали. Стемнело. В лунном свете хорошо выделась передняя фура. Чёрная туча загрозила луну и обрушила на путников тропический ливень. Промок до нитки. По хлюпанью копыт в грязи определил, что передняя фура близка, а вот задние сильно отстали, и Костя решился. Он осторожно направил лошадь влево, и водовозка покатила по бездорожью, к счастью, довольно ровному. По бочке защёлкали ветки кустарника. Дождь утихал. Засеребрились края облаков, выглянула луна.

Определил, что отъехал порядочно. Не заметят, если не выдаст лошадь. Бросить её и бежать, но далеко ли он убежит в его теперешнем состоянии, сил не хватит.

«Стой, замри, милая лошадка, не выдай». Ах, как хотелось жить в эти минуты Косте, и какой страх, глубокий до дрожи, охватил его, когда он вдруг услышал голос поляка:

— Это ты?

Костя различил силуэты лошадей и повозки. «Бежал, называется!» — обругал он себя.

— Где ты проехал, а я не видел. Здесь дорога поворачивает, я решил, что ты заблудился. Как ты проехал?

— Бежать хотел, — откровенно признался Костя, — значит, опять не удалось, — уныло заключил он.

Поляк помолчал, обдумывая положение, а затем произнёс:

— Слушай меня внимательно. Тебе ещё повезло. Да ведь тут рядом комендатура. Не проедешь и километра, как тебя схватят. Ты вот, пристраивайся сзади и забудь про свой побег. Вокруг всё открыто, спрятаться негде. Словом, молчок. На, поешь, — и он сунул ему кусок хлеба.

Удручённый неудачей, Костя послушно уселся позади поляка и съел хлеб. Стало легче, но мокрая одежда облепила тело, вовсе не грела, а напротив, вызывала мелкое дрожание, унять которое не получалось.

Вскоре подъехали патрули, внимательно оглядели обоз, остановились около водовозки, о чем-то спросили поляка, тот ответил, показывая на поворот, объяснил. Немцы удалились. Ездовые ушли спать в дома, а поляк решил спать в фурманке, устроив себе постель из сухих дерюжек, по счастью, не попавших под дождь. Одну дерюжку он бросил пленному. Костя уселся на лавку, закутался в дерюжку и мгновенно заснул.

Под вечер, на одной из остановок, поляк как бы мимоходом сказал:
— Завтра к вечеру Харьков. Там концлагерь. Тебя туда. Ходить можешь? Можно ночью сойти с дороги.

— Ползком, а уйду!

Погода, однако, стояла для побега неблагоприятная. Ни единой тучки, тишина, светло. К водовозке подошёл ездовой-немец и приказал привезти воды, при этом он указал назад, то есть, в сторону, откуда они только что приехали.

«Действительно, мы проезжали мимо колодца», — вспомнил Костя. Он кивнул в знак понимания и послушания, повернул водовозку обратно и пустил лошадь в рысь, наслаждаясь грохотом пустой бочки, ибо теперь он ехал к свободе. Подъезжая к дому с колодцем, он увидел женщин, беседующих у входа, доверился им и быстро проговорил:

— Помогите бежать! Нет ли чего поесть, да ещё переодеться.

Вынесли старые ботинки, грязную рубаху и добрый ломоть хлеба. Подсказали, как бежать, а одна женщина вручила ему лист бумаги и посоветовала найти её хорошую знакомую.

— Она тебе поможет, — сказала женщина. Иди в Двуречный Кут, это под Харьковом, там она живёт.

Костя поблагодарил женщину за заботу и совет, доехал до кустов, укрепил вожжи и ударил лошадёнку. Сам свернул на кукурузное поле и ещё долго слушал грохот водовозки. Сел на землю, съел весь хлеб, обломал початок кукурузы и с наслаждением сгрыз его. Почувствовав слабость, свернулся калачиком и уснул.

Проснулся ранним утром в предчувствии тревоги, обругал себя за легкомыслие. «Обрадовался свободе, наелся и спать! Это под носом у немцев. Сколько времени потерял!»

Через пару дней опасного пути он встретил женщин и после некоторого колебания решил подойти; спросил, что за деревня впереди.

— Двуречный Кут, — ответила одна.

— А не знаете ли дом Терещенко?

Указали. Пришёл. У Галины Фёдоровны Костя отоспался и утолил голод.

Добрая женщина вручила ему удостоверение личности на имя Терещенко Владимира, своего сына, с текстом на немецком и русском языке. Такого сына у неё реально не существовало, а удостоверение она добыла своим путём.

— Теперь это твой документ, — сказала она, — запомни, ты жил у тётки и приехал недавно. Будь осторожен, поздно не возвращайся, старайся не попадаться на глаза немцам.

Константин вышел из дома, чтобы запомнить дорогу, прошёл ого-роженный участок мимо фруктового сада. Тут же красовался помидо-рами огород, а дальше плотные ряды кукурузы. Увидел шалаш и ока-зался на виду у людей, которые подбирали яблоки. Тут же, под ябло-ней сидел немецкий офицер.

— Спроси у пана офицера закурить для себя и меня, твоего папы, — быстро, не поднимая головы, проговорил мужчина из тех, что собирали фрукты. Костя сообразил, что так нужно, и подошёл к немцу.

— Господин лейтенант, мы с папой просим у Вас закурить, — обра-тился он к офицеру на немецком языке, из всех сил скрывая своё вол-нение.

Немец широко открыл глаза, некоторое время рассматривал парня, а затем, мешая русскую и немецкую речь, одобрительно сказал:

— О, хороший юноша. Ты хорошо умеешь говорить на немецком языке, хорошо учишь немецкий, это правильно. Немецкий язык самый красивый язык, — затем он вспомнил просьбу и стал поучать, что курить для молодого человека очень вредно.

— Господин лейтенант, когда хочется кушать, да нечего, а заку-ришь, кушать так не хочется.

— О, какой умный юноша. Вот тебе сигареты... и скажи своему фатер, я разрешаю ему сорвать тебе помидоры на завтраки, обеды и ужины. Только немного.

Поклонившись и поблагодарив, Костя отошёл и отдал сигареты мужчине. Тот предложил сесть и спросил, где он попал в плен и где научился немецкому языку. Костя ответил. Он понял, что мужчина из тех, кого Галина Фёдоровна назвала «наши».

— А теперь слушай. Да, зови меня Иван Васильевичем, а ты Влади-мир, я знаю, — усмехнулся он. — Слушай, ты до прихода своих отвое-

вал, теперь наш черёд. Считай, что ты в госпитале. Немцев не трогай, только вреда наделаешь. Пусть пока жрут наши помидоры.

Жить станешь в этом шалаше. Попроси у Галины что-нибудь тёплое. В дождь ночуй у неё. Кушать к ней. Ещё раз запомни: тебе только собирать и грузить помидоры и яблоки, и ещё что придётся. Делай вид, что ты благодарен им. Пусть думают, что они осчастливили нас своим присутствием, своей культурой. Не вздумай показывать им своё отношение к ним. Предположим, ты и я убьём по одному немцу. Больше не получится, но это станет провалом. Они сожгут село, убьют женщин, детей и стариков. Платить такую цену за убитого фашиста никак нельзя. Мы хотим, чтобы все наши дожили до победы. Жители и так помогают нам, сообщают о складах, эшелонах, воинских частях. Словом, передают всякую ценную для нашей армии информацию.

Вот когда фашисты начнут отступать, тогда и посчитаемся с ними, — и он исчез, естественно, не сказав куда.

Костя не мог согласиться с Иваном Васильевичем лишь в одном вопросе: «Как это, не убить фашиста!» Впрочем, он понимал, что один в поле не воин, и принял указания к исполнению. Предметным уроком для Константина о пользе сбора информации жителями стал рассказ о событии на станции Пересечная. Немецкая воинская часть расположилась в пристанционных зданиях. Получив сведения об этом, наши воины произвели несколько залпов из «катюш» и уничтожили всех фашистов подчистую.

На следующее утро к шалашу подошли женщины; они принесли еду и одеяло для ночлега. Они смотрели Косте в рот, как мать ребёнку, и радовались каждому куску, съеденному им. Наевшись, он свернул папиросу и закурил.

Нафаршированные фашистской пропагандой, они наперебой стали задавать Константину вопросы, изумляющие его до крайности.

— Правда ли, что вы воюете лопатами и косами? — искренне спрашивали они. — Что советские солдаты летом одеты в валенки и зимние шапки, а зимой в ботинки и пилотки; солдаты голодают и питаются лишь тем, что они отобьют у немцев; американцы и англичане пока вам помогают, а затем заберут Россию в свои руки; немцы каждый день сбивают более двухсот советских аэропланов и сжигают сотни танков. Немцы скоро возьмут всю Россию, и жителям, пока не поздно, следует заслужить их доверие; в бой гонят солдат насильно, и даже стариков и детей; сын Сталина Яков сам сдался в плен. Воюют одни штрафники и заключённые; Сталин уничтожает семьи тех, кто отступил или сдался в плен.

Правда ли всё это?

Костя отвечал, что всё это враки, в чём они сами скоро убедятся, встретившись с нашими солдатами. Так он ответил женщинам, хотя сам был свидетелем того, что порою солдаты шли в бой даже без винтовок, что нередко отсутствуют боеприпасы, а полевые кухни не доставляют еду. Почему он не сказал этого женщинам? Так было тогда принято.

Через четыре дня Костя основательно окреп и стал забывать о контузии. Мог ли он тогда предположить, что пройдут годы, и контузия даст о себе знать самым скверным оборотом?

Женщины пригласили Костю на вечеринку; он согласился и пришёл. Молодёжь танцевала под патефон немецкие танцы. Среди танцующих были и немецкие солдаты. К Косте подошёл парнишка и смущённо, как бы оправдываясь, заговорил.

— Вот, люди воюют, а мы с немцами танцуем, — и совсем тихо добавил, — вон у той девушки Тани жених лётчик, воюет за неё, а она вон с немцами отплясывает.

Танец кончился. Татьяна подошла к Косте и пригласила его на вальс.

— Пойдёмте, потанцуем.

— Таня, скоро придут наши, как ответишь жениху?

— Ганс, здесь партизан! — пронзительно закричала девушка.

Костя выскочил вон, шмыгнул в кусты и быстро пошёл к своему саду.

— Хальт! Хенде хох!

— Их арбайтен хир, — ответил Константин, не поднимая рук. Луч фонаря осветил его.

— Хенде хох! — он поднял руки. — Аусвайс!

Солдат сноровисто обыскал его и достал удостоверение.

— Где живёшь? В шалаше? Почему ночью ходишь?

Костя ответил, что сторожит сад и ходил смотреть какой-то шум.

— Иди спать в свой шалаш.

Они привели его на место и тщательно обыскали. Немцы посветили ещё и, не найдя ничего подозрительного, ушли. Один, уходя, сказал:

— Гут абент, малыш.

— И вам спокойной хорошей ночи, пан офицер, — ответил Костя, а про себя подумал: «Будьте вы прокляты. Не дожить вам до утра».

Несмотря на то, что всё обошлось благополучно, он долго не мог успокоиться; его порядочно трясло. Ему казалось, что солдаты вер-

нутя и возьмут его, особенно если узнают о случае на вечеринке. Он спрашивал у сторожей и женщин, как найти партизан. Ему не отвечали, а одна женщина посоветовала ему спросить у власовца Шпака.

— Посоветоваться с власовцем! — возмутился Костя.

— А что, он вреда не делает, не воюет. Их одели, обули и кормят.

Костя, однако, поёжился от такого совета. «Довериться власовцу!»

Кто-то сказал, что наши войска подходят со стороны Ольшанки. Не раздумывая, Костя решил пробраться им навстречу и двинулся в Ольшанку.

Осторожно пройдя к крайнему дому, он завернул за угол и тут же увидел немца. Раздетый до пояса, тот кричал от удовольствия под струёй воды, которую услужливо лила ему из кувшина на спину женщина.

— Ты откуда? — спросила женщина.

Костя растерянно объяснил, что он сын Галины Фёдоровны Терещенко.

— Что ты врешь! Нет у неё сына. Генрих! Это партизан! — закричала женщина.

Немец рванулся в дом за автоматом. Костя резко оттолкнул женщину и побежал в сторону своего шалаша. Позади прозвучали выстрелы.

СМЕРШ. ОСОБЫЙ ОТДЕЛ

Добежав до сада, Костя изменил направление и, вспомнив замеченное им однажды убежище, устремился к нему. Он пробежал по полю, заросшему бурьяном, и на совершенно не видном издали месте обнаружил убежище. Небольшая траншея с лёгким перекрытием, которое вряд ли спасёт от близкого взрыва, была хороша тем, что располагалась в исключительно укромной впадинке, так что обнаружить её, даже стоя рядом, человеку было затруднительно. Он спрыгнул в траншею и нашёл устланное сухой травой ложе. Здесь он решил отдохнуть и дожидаться российских войск.

Прошёл день. На другой день, выйдя подышать, Константин неожиданно увидел российского солдата с автоматом навскидку, идущего в сторону сада.

«Наши», — едва не закричал он от распирившей его радости. Увидел ещё несколько российских солдат, идущих в том же направлении. Глубоко вздохнул, как человек, достигший своей желанной цели, и уже не скрываясь двинулся в теперь своё село.

По улице разгуливали солдаты, звучал патефон. Лейтенант в бинокль всматривался куда-то в поле.

— Немец, — определил он.

— Ну-ка, дай по нему очередь, — приказал он пулемётчику. Тот расположился тут же, на дороге, прицелился и дал короткую очередь. Немец, однако, продолжал уходить.

— Далеко. Не достаёт, — оправдывая свою неудачную стрельбу, проворчал пулемётчик.

— Разрешите мне, — обратился Костя к солдату, показывая на его винтовку. Тот с неохотой протянул ему оружие.

Константин установил прицел на полтора километра, положил ствол на сук дерева, тщательно прицелился и выстрелил. Немец дёрнулся и, очевидно захромав, быстро пошёл короткими зигзагами.

— Вот видишь, а говоришь, не достаёт, — с усмешкой сказал солдат пулемётчику.

— Возьмите меня в свою часть, — попросил Константин, обращаясь ко всем.

— Нам что, воюй.

— Откуда ты? — спросил подошедший старший лейтенант.

— Сержант Травин из пятой гвардейской стрелковой дивизии. Под Прохоровкой попал в плен, сбежал и здесь прятался.

— Мы-то возьмём, но тебя необходимо записать в штабе полка. Вот он проводит тебя, — указал офицер на одного из солдат. Солдат повесил автомат через плечо, закурил, дал закурить Косте, и они пошагали к штабу.

Из штаба полка в сопровождении уже двух конвойных Костю сопроводили по инстанции, обещая накормить на месте. Его поместили в полутёмный амбар, застеленный толстым слоем пахнущего сена.

«Кто же я теперь? — растерянно думал он. — Русский сержант или солдат или преступник? Не нравится мне это».

Двери амбара закрылись со скрежетом, напоминающим вылет мин из немецкого шестиствольного миномёта, засов громыхнул, послышались шаги удаляющихся солдат.

— Откуда? — прозвучал голос из угла амбара.

Костя всмотрелся, приспособился к темноте и вскоре различил людей, лежащих на сене в разных позах; они с любопытством рассматривали новичка.

Молодой парень в эсесовском мундире непрестанно шагал от стены к стене и вёл напряжённую, можно сказать, отчаянную беседу с самим собой.

— Что со мной станет? Я людей убивал, — бормотал он, лихорадочно, но безнадежно ища оправдание для себя. — Ведь я сам сдался в плен, добровольно, — взвешивал он мысленно за и против. — Что со мной будет?

— Если всё честно расскажешь, то ничего, — высказал своё видение ситуации Костя.

— Правда?! Меня не расстреляют?

— Наслушался немецких сказок! А кто работать будет? Изволь честно рассказать и отработать за свои проделки! — зло сказал Костя, а про себя подумал: «Не слишком ли я на себя взял, осуждая этого парня?»

— Это я с удовольствием, — обрадовано затараторил тот. — Работать, работать.

Костя сел в угол; человек прошептал ему в ухо:

— Не разговаривай с ним, он подсадная утка.

— Так откуда ты? — произнёс тот же голос.

— Месяц назад, без памяти я очутился в плену, через неделю бежал, затем скрывался, пока не пришли славяне, — ответил Костя.

— Все так говорят — «ранен, контужен, без памяти». А кто докажет? Кто поверит? Я вот тоже контужен, а мне не верят! — со злой безнадежностью сказал человек.

Косте этот унылый разговор показался тягостным, он отошел к стене и сел на сено, едва не на чью-то ногу.

— Извините, — сказал он. Сосед кивнул головой и тихо спросил:

— Это правда, то, что Вы сказали?

— Кому?

— Ну, тому эстонцу-эсесовцу, что не расстреляют. Ведь он воевал против вас, убивал ваших.

— А разве и не против ваших... Вы кто? — спросил Константин.

— Никто, — немного подумав, ответил тот. — Не обижайтесь, это действительно так. Я уехал из России в революцию, совсем юношей. Уехал не потому, что какой состоятельный и тем паче богачей, а из-за любви. Уезжала девушка, моя необыкновенная любовь, и бежал я не от революции. Бежал за своей любовью.

Дальше, однако, его рассказ прервал солдат. Он приказал Косте встать и следовать за ним.

Костя был настолько уверен в своей невинности перед родиной, до такой степени верил в честность и порядочность органов родной Советской власти, что оказался в полной растерянности перед таким валом недоверия, который обрушил на него следователь. Как всегда в

жизни, Костю утешала мысль, что «не все такие, как этот следователь». Нельзя же терять доверие к родной власти из-за «отдельных нехороших людей, а возможно, и пробравшихся в органы врагов». Так он рассуждал. Так рассуждали многие люди многострадальной России в период Советской власти.

— Почему ты хорошо знаешь немецкий язык? Ты что, заранее готовился? К чему? Кто твои родители?

Чтобы ответить на эти простые вопросы следователя, необходимо было рассказать о своей мечте стать интеллигентным светским человеком высокой культуры, разбираться в музыке, живописи, литературе, знать иностранные языки. Но, увы, в деревенской школе был только один учитель немецкого языка, и этот язык Костя выучил весьма основательно.

Однако, высказаться ему не дали, ибо для следователя всё это выглядело совершенной чепухой, ничего общего не имеющей с очевидным предательством бывшего пленного. Следователь приказал ему замолчать и отвечать исключительно по существу дела. Он был искренне возмущен изощрённостью попыток пленного уйти от ответственности.

— Родине нет дела до твоих мечтаний, — веско сказал он.

Костя озлился на недоверие и замкнулся.

— Ты гвардеец и знал, что по законам гвардии в плен сдаваться не должен.

— Я был без памяти.

— Без памяти и на носилках? За что же такой почёт? Чем заслужил?

— Спросите у немцев, им видней. — дерзил тот.

— Спросим. До Берлина дойдём и спросим.

— Вы не дойдёте!

— Это почему же? Угроза?

— За нашими спинами.

— Тебе эту честь еще заслужить предстоит.

— Видно, Вы заслужили, если отираетесь в тылу!

— Вон отсюда! — закричал следователь. — Увести его.

На третий день следователь спросил Костю:

— Ты знал Рылкова, соседа по деревне?

— Знал.

— Что можешь сказать о нём?

— Нормальный порядочный человек, у него трое ребятишек. Семья осталась без кормильца. Делился охотничьими трофеями с соседями, хлебом делился.

- Враг народа твой Рылков, — сказал следователь.
- Что он сделал?
- На немцев работал.
- Предал он кого?
- Он работал на немцев, тебе этого мало? Ты что, не понимаешь?
- Дети же с ним, да без него они бы умерли с голода.

На пятый день Константина допрашивал другой следователь. Он внимательно выслушал исповедь пленного, сверил с имеющимися у него данными да и выпустил из-под стражи.

- Через несколько дней Костю направили в запасной полк.
- В запасном полку он представился майору Сачину и доложил.
- Назначен в ваше подразделение командиром взвода.

Сачин скорчил гримасу:

- Дают разный сброд... вот и воюй тут, а он опять в плен попадёт.
- Не смейте, — с обидой выдал Константин, — вам бы так.
- Ну уж, я не попаду.
- Не зарекайтесь! — не выдержал Константин. — Конечно, сидя в тылу, в плен не попадёшь, — добавил он.

— Предатель, ты ещё учить меня? — Сачин ударил его по лицу.

— Бить? — не сдержавшись, Константин сжал зубы и нанёс сильнейший ответный удар кулаком. Сачин свалился на пол, встал и вытер кровь.

— Пристрелю! Скрутить его! — прошипел он. — Руку на командира поднимать? Ну, я укуе тебя, ты мне заплатишься. Пойдёшь под трибунал.

Костя стоял, опустив голову. «Что я наделал? — в смятении думал он. — Сделанного не вернёшь. Сачин не прав, но ещё больше виноват я сам, не сдержался. Стерпеть бы, промолчать».

«Три месяца штрафных рот», — объявил трибунал своё решение.

И пошла военная кривая сержанта Константина Травина в новом направлении.

ШТРАФНОЙ БАТАЛЬОН

На пути к указанному месту службы он мысленно казнил и представлял реакцию командира штрафного батальона. «Что, вражина, натворил? Теперь искупи свою вину собственной кровью», — скажет тот.

В расположении штрафбата сержант-конвоир равнодушно сдал Константина, лейтенант так же безразлично расписался о получении такого, будто речь шла о чем-то малоценном, но обязательном,

и занёс Травина в списки батальона. Лейтенант привёл Константина к батальону и испросил разрешение поставить его в строй.

В это время комбат проводил с личным составом батальона доверительную беседу.

— Ну что, мои дорогие трусы, изменники и предатели. Вы пришли воевать или с передовой в тыл бегать? Это же надо, от первого Фрица драпанули на пять вёрст. На первый, но последний раз трибунал вас простил, но высотку всё равно вам брать придётся. Вчера это было проще, был элемент внезапности. Теперь взять её станет вдвойне труднее.

Учтите, негодяи, назад дороги для вас нет, забудьте о ней, там теперь пулемёты. Только вперёд, там ваше спасение и прощение.

Фронтная жизнь продолжалась, и Костя ещё посильно жил. Прошла неделя.

На этот раз он устроился в небольшом окопе, не столько предохраняющем от обстрела, сколько позволяющем сохранить тепло жизни, хотя бы скорчившись.

На дне окопа холодная ноябрьская вода, а он спал, положив на бруствер под голову гладкий камень вместо подушки и раскинув ноги по стенкам окопа повыше, над водой. Ботинки и обмотки пропитаны сыростью, хоть выжимай. Он весь насквозь пропитан холодной водой; дрожь давно стала его обычным состоянием. Неистово грызут вши; уж они-то чувствовали себя в этом аду превосходно: с ужасающей скоростью размножались и крупнели.

Сатанея от укусов, он нащупывал их через гимнастёрку и, сжав двумя пальцами, раздавливал с отвратительным хрустом. Эта нескончаемая охота на мерзких отвратительных насекомых, утомительная неестественная поза в окопе над водой делали его равнодушным к опасностям, и даже смерть не казалась ему ужасной.

В войну Константину редко доводилось спать в приличных условиях, скажем, на полу в домах, в тепле; истинный отдых он испытывал лишь в госпиталях, куда попадал по ранению.

В сражении, особенно в наступлении, важно быстро засечь огневые позиции противника, чтобы решительно подавить их и тем избежать больших потерь. В этих целях практикуют разведку боем. Небольшое подразделение гонят в атаку на противника, тот открывает всякую стрельбу и тем самым обнаруживает себя. Корректировщики наблюдают и засекают обнаруженные места. То есть, подразделение «вызывает огонь на себя». Вот такую разведку боем поручили штрафному батальону, в котором с указанных выше пор воевал Костя.

Солдаты-штрафники обязаны продвигаться только вперёд, даже раненые. Залечь нельзя. Сзади на них направлены пулемёты, готовые скосить всякого, кто вздумает отступить или отсидеться. Для штрафников выбор ограничен смертью или ранением.

Итак, вооружённые до зубов штрафники пошли вперёд. Их встретил огонь из стрелкового оружия, но по мере их продвижения загрохотали пушки и миномёты.

— Вперёд! ... мать-перемать, ура! — поливая огнём траншею, они рванулись к ней.

Тут же, вслед за штрафниками, в траншею ворвалась пехота. Начался страшный, неистовый ближний бой. Рукопашная. Взрывы ручных гранат, автоматные очереди, наставленные и поражающие штыки, ужасные крики, стоны поверженных...

В рукопашном бою «ура» не закричишь. Здесь единоборство, каждый сражается за свою жизнь.

Костя стал частью этого безумия. Он стрелял из автомата, швырял гранаты, бил прикладом. Всё человеческое из него ушло, им овладело зверство и жажда убийства. Он убивал, чтобы не убили его самого.

Струсивший или зазевавшийся солдат находил немедленную смерть от ножевого немецкого штыка. Предсмертные стоны терзали воздух. Напряжение боя росло, тела мешали продвижению солдат. Ещё немного, и не выдержат люди, и побегут они от ужаса, душераздирающих криков, изуродованных и ещё содрогающихся тел, корчащихся в предсмертных судорогах раненых.

Что за состояние духа! Что творится с людьми, кто довёл их до этого?

Первыми дрогнули немцы: в подобных боях русскому человеку по ожесточённости нет равных. Русский солдат в таком бою не задумывается, а в мирной жизни не любит вспоминать и говорить об этом.

Немцы повернули и побежали; штрафники их преследовали и приканчивали.

Костя отошёл от горячки боя и стоял задумавшись, когда к нему подошёл солдат и тронул за плечо.

— Не горюй, дойдёт и до тебя очередь, — он улыбнулся, — а у меня завтра последний день. Три месяца, как тридцать лет. Всё позади, и вроде бы мне радоваться, но душа рвётся на части, какое-то скверное предчувствие. Весь день не нахожу покоя. А воевать везде можно.

В штрафбате ребята на подбор. Ругаются в атаке, но без этого нельзя, в атаке весь напряжён до крайности, а руганью подбадриваешь и себя, и других.

— Тебе сегодня было страшно? — спросил Костя.

— Война всегда страшна, ведь нас посылают на верную погибель. Мы не должны уцелеть. Нас посылают туда, куда других не пошлют.

— А раньше трёх месяцев не оправдают?

— Если совершишь геройское задание или получишь ранение.

— Какое геройское задание?

— Нужен ценный «язык», а взять не получается. Объявят добровольцев. Возьмёшь «языка», оправдан.

— Без срока?

— Сразу же. Только я за все три месяца про такое геройское задание не слышал, а ведь я самый старый из вас, многих пережил. Не брала меня ни пуля, ни штык. Видно, для следующего раза берегут. Ну, я пойду, — он повернулся и зашагал к траншее.

Утром в наступлении на последний день штрафного срока пуля его нашла.

Менялся состав, одних убивало, других ранило. Прошло двадцать восемь дней, и самым старым в батальоне остался Костя. Шли тяжёлые бои, и не было покоя штрафникам. Однажды наступающим преградили продвижение три закопанных в землю «Фердинанда»; русские несли большие потери. Обойти не удавалось, мешали автоматчики. К тому же, не получалось обнаружить точного местонахождения злополучных самоходных орудий. Лес хорошо скрывал их позицию от наблюдателей.

Объявили добровольцев, по три солдата на орудие. Вызвался Костя, вместе с ним солдаты Осипенко и Лебедевский.

Ночью, по возможности скрытно, солдаты двинулись к «Фердинандам». Шли лесом, лес молчал. Пролезая заросли, солдаты руками провозжали ветки, чтобы не шуметь. В глубине леса время от времени ухало орудие, затем тишина, и снова выстрел. Мерещились засевшие немцы.

Но вот послышалась немецкая речь и показались четыре автоматчика. Трогать их нельзя, «не для этого мы здесь», соображал Костя.

Немцы поставили аппаратуру связи и полезли на дерево вешать провода, другие волочили катушки. Выждав, когда немцы ушли, солдаты двинулись дальше.

Осипенко поднял руку, призывая ко вниманию и показал направление.

Прямо перед ними, не далее, как в тридцати метрах торчал длинный ствол самоходки!

— Ползём ближе, быстрее! Пошёл!

Одна за другой полетели противотанковые гранаты.

— Готов, бежим, — солдаты бросились в гущу леса. Отдышавшись, они осмотрелись.

— Как думаешь, подбили?

— Наверняка, пушку так и развернуло!

Автоматная очередь ударила возле солдат, щепя деревья и выбивая комья земли.

Подгадав момент, Константин бросился за пень. И вовремя, в пень застучали пули.

Недалеко за деревом лежал Лебедовский; он старался не шевелиться, но немец угадал его присутствие и не давал высунуться.

«Надо отвлечь внимание Фрица», — решил Костя. Он насадил на лопату свою пилотку и слегка выставил её из-за пня. Автоматная очередь тут же посекала лопату, а немец снова перевёл огонь на Лебедовского. Воспользовавшись удобным моментом, Костя выдал длинную очередь. Немец уронил оружие и ткнулся головой в землю.

— Спасибо, Костя.

— Не за что.

— За жизнь.

— Да будет тебе. Всё путём. Где Осипенко?

— Не знаю.

Выйдя к шоссе, они присели и закурили. Послышался нарастающий лязг гусениц.

— Танки, наши, — они уж собрались спуститься вниз, как передний танк вдруг окутался пламенем.

— Ах, сволочь, это его фаустпатроном.

Лебедовский бросился в сторону; оттуда прозвучала автоматная очередь. Подоспевший Костя увидел траншею, Лебедовского и убитого немца. Во множестве валялись фаустпатроны.

— Подбил гад, под носом сидел.

Издали слышались крики «Ура!». Из леса вышла неровная цепочка солдат-штрафников. С ними офицер.

— Товарищ подполковник, задание выполнили. «Фердинанд» подорван, — докладывает рядовой Лебедовский.

— Молодцы! Не ранены? Тогда вперёд. Кто был ещё с вами, Осипенко? — воины промолчали.

— Убит?

— Не знаем, сильно по нему стреляли. Немцы отвлеклись на него, а мы тем временем подползли к самоходке.

— Выходит, Осипенко помог вам.

— Да ещё как!

— Запишем за самоходку и Осипенко, а теперь вперёд!

Не встретив сопротивления, штрафники прошли значительное расстояние и очевидно оставили позади оборонительную линию немцев. Они залегли, окопались и организовали круговую оборону.

Стали оценивать обстановку и думать, что делать дальше.

— Нужно пробиваться к своим. Дождёмся темноты и двинемся, — предложил Лебедевский.

Последующие события, однако, нарушили этот план. Костя прислушался и услышал отдалённый, но быстро усиливающийся шум.

— Танки! — закричал он. — Быстро в окопы!

— Я наблюдаю, — сказал Лебедевский.

Из-за небольшой, поросшей мелким кустарником возвышенности показались три танка. Тёмные низкие корпуса танков с сильно вытянутыми пушками неотвратимо приближались.

«Может, не заметят, пройдут мимо?» — надеялись солдаты. Костя с тревогой всмотрелся и вздохнул с облегчением: кажется, танки в самом деле удаляются. Внезапно сильно рвануло, и яркая вспышка осветила танк, он развернулся и застыл.

Две другие машины пошли на лежащих в окопах солдат, грохоча пулемётами и поливая из огнёмётов.

«Бросить всё и бежать», — возникло спонтанное желание у Константина... но воинский инстинкт возобладал; он остался и потянулся за гранатами.

Несколько солдат, охваченных страхом, безрассудно вскочили и побежали прочь, но едва сделав несколько шагов, они упали, изрешечённые пулями. Другие, охваченные огнём, бежали с ужасным воем, пока не сгорели до смерти.

Заглушая жуть происходящего, Константин неистово стрелял по смотровым щелям танка и даже находил в этом некий азарт. Танк надвигался. Переваливаясь через бруствер, он резко наклонил свою бронированную морду, так что длинный ствол пушки нырнул вниз и едва не коснулся головы Константина. Далее произошло то, что решительно противоречит науке о поведении человека и чему поверить весьма затруднительно, однако, произошло.

Движимый единственно инстинктом жизни, без малейшего участия разума, Костя обхватил ствол руками мёртвой хваткой и повис на нём. Перевалив бруствер, танк столь же резко выпрямился с намерением проутюжить окоп вместе с этим русским солдатом; Константина

рвануло вверх и отшвырнуло в сторону. Танк, без пользы для себя, поелезил над окопом и с злобным урчанием удалился.

Костя лежал, приходя в себя.

«Чудеса, — подумал он, — расскажу ребятам, не поверят. Да и я бы не поверил в подобное. Так не бывает». Он поднялся и пошёл к своим. Светало. Во множестве лежали обгоревшие или раздавленные тела русских солдат.

Стонали раненые и полураздавленные люди.

— Костя, — послышался голос Лебедовского, — жив?

— Жив, Вася, кто ещё из наших остался?

— С тобой семь человек, но без оружия.

Они стояли, даже не ощущая радости от того, что сами остались живы; смотрели на ужасные следы побоища и клялись отомстить врагу. Затем молча пошли к одинокому дому на возвышенности. Дом пуст, в печи тёплые угли, на сковороде блины, на столе блинное тесто и кусок сала. К стене приставлены винтовки, заряженные патронами.

Солдаты стояли, когда в окно хлопнуло, и Константин застонал, держась за левую руку.

— Рука-то работает? — спросил Лебедовский.

— Работает, но только сверху.

Лебедовский оторвал занавеску и перевязал ему раненую руку. Костя, сморенный усталостью и раной, рухнул на пол и крепко уснул. Проснулся от стрельбы, выскочил из дома и увидел своих солдат. Один воин стаскивал с убитого немца сапоги.

Здесь уместна выдержка из сочинения генерала вермахта Н.

«... Житель Востока, русский, во многом отличается от жителя Запада. Он лучше переносит лишения, и эта покорность к обстоятельствам порождает одинаково невозмутимое отношение как к жизни, так и к смерти.

Просто удивительно, как долго они могут существовать на том, что для европейца означало бы голодную смерть. Русский человек близок к природе. Жара и холод почти не действуют на него. Зимой он защищает себя всем, что попадает под руку. Он мастер на выдумки, чтобы согреться, он не нуждается в сложных сооружениях и оборудовании.

Крепкие и здоровые русские женщины работают наравне с мужчинами.

Русские солдаты показали большое умение воевать ночью и в лесу. Они предпочитают рукопашную схватку. Их физические потребности невелики, а способность выносить лишения вызывает удивление.

Средний и младший командный состав русских слабо обучен и не имеет боевого опыта. Мы посадили на машины не только пехоту, но и всё остальное. Русские не сделали этого и платят за свою беспечность.

Но сам русский человек твёрд. Психологическое влияние полулюдей этой дикой страны на среднего немца очень сильное.

Победив русских, мы легко победим остальных, так как оставшиеся после встречи с русским солдатом и русским климатом по-настоящему узнают, что такое война».

К бугру, за которым окопались семеро русских солдат без единого патрона в карабинах, не спеша двигалась немецкая цепь.

— Хоть бы ранило, наши подберут, — мечтает солдат.

— Прежде немцы пристрелят, — успокоили его.

Но вот немецкая цепь дрогнула и повернула назад. Донеслось русское «Ура!».

Неделя отдыха во втором эшелоне прошла в ненужных тренировках и рытье окопов по нормам времени. После таких напряжённых боёв — ни одной ночи спокойного сна. Бесконечные учебные тревоги. Солдаты при первой возможности засыпали тут же. Скоро снова в бой и снова война.

Привезли махорку и положенные порции спирта. Играли в карты на спирт и махорку, но проигрыш тут же возвращали. Надоело. Стали играть на жизнь и смерть.

Костя выиграл у Лебедовского и хотел в следующей партии податься, но тот отказался играть, сказав:

— У меня что, две жизни?

— Комбат приказал сниматься! — закричал подошедший связной. — Стройтесь, я поведу вас на новые позиции.

— А далеко идти?

— На другой фланг, в конец деревни.

— Хозяйка молока обещала. Надо бы подождать.

— Ещё чего, пошли.

— Костя, ты остаёшься.

— Ладно, я и сам хочу молока.

— Только не долго.

— Корову подою не раньше, чем через час, — уточнила хозяйка.

— Хорошо, оставьте фляжки. Мне-то не нужно, — произнёс Лебедовский с какой-то тоской.

В ожидании молока Костя уснул. Проснулся от взрывов. Наполнил фляжки молоком и пошагал к своим.

Встретившийся комбат выдал ему задачу на наступление и отвернулся.

— Почему я, а не Лебедевский? — спросил он.

Комбат промолчал и отошёл.

— Лебедевский тяжело ранен в голову, — сказал солдат.

— Когда?

— Стали мы выходить из дома... только построились, а тут без свиста и шума, один за другим два снаряда. Мы и лечь не успели, осколки прошли верхом. Никого не задело, только Лебедевского. Донесли ещё живого. Написать бы родным. Знаю только, что он из Сталинграда.

В воздух взвилась зелёная ракета, сигнализирующая начало наступления. Команда «вперёд» прервала их разговор.

ДНЕПР

После штрафного батальона Константина направили в полк, дислоцированный в густом лесу, в десяти километрах от передней линии фронта. Его зачислили в радиовзвод и стали учить на связиста. Взялся он с большим рвением, но вскоре убедился, что эта специальность ему не по зубам. Ничего у него не получалось; морзянка сливалась у него в некую абракадабру, опутывала мозги и засасывала, как тряпина.

Он прямо-таки дурел на занятиях. Словом, не выдержал и попросился на фронт в роту противотанковых ружей или на крайний случай в пулемётную.

— Может быть, передумаешь? — спросил взводный.

— Да нет, я решил. Ничего у меня не получается. Запутался в азбуке.

— Ладно. Ещё подумайте. Если передумаете, передайте командиру роты.

Не передумал.

В составе маршевой роты он пошёл к фронту. Впрочем, ротой это подразделение назвали с большой натяжкой: сержантов в нём столько же, сколько и солдат.

На вооружении роты находились и батальонные миномёты, и пулемёты, и ПТР, а боеприпасов в полном изобилии. Солдаты прежде всего набирают и берегут боеприпас: противогаз выкинут, а патронами набьют вещевой мешок, да ещё и карманы.

За сутки рота прошла пятьдесят километров, а фронт за это время продвинулся вперёд на тридцать. Солдаты смеялись: «Так мы и до Берлина доползём, а фронт не догоним».

Однако, догнали.

Армия готовилась к ночному наступлению с выходом на берег Днепра. Рота получила приказ — скрытно и по возможности бесшумно начать движение.

Костя выбрался из траншеи и пошёл в темноте, обходя воронки и окопы. Иногда он падал, поднимался и, различив солдат слева и справа, двигался дальше. На немецкой стороне взлетела ракета, и забили, зашлись в ярости пулемёты. Затем осветительные ракеты смахнули спасительную защиту темноты; наступающие солдаты стали отчётливо видны на местности и предстали перед противником, как беззащитные контрастные цели.

«Нельзя лежать, убьют, — пронеслось в голове у Кости. — Вперёд, только вперёд».

— Ура! — закричал он, вскочил и побежал.

Вот и немецкая траншея. Константин отбил винтовку немецкого солдата и ткнул его штыком. С усилием вытянул штык из груди человека и ринулся в траншею. Несколько солдат стояли с поднятыми руками, остальные бежали.

Рассвет застал Костю вблизи Днепра; лишь небольшая возвышенность закрывала вид на реку. А вот противоположный, очень крутой берег виднелся отчётливо. Там обильно вспыхивали выстрелы всякого оружия. Над головой фыркали, шипели снаряды и разрывались где-то позади. Константин, однако, чувствовал, что взрывы приближаются: противник переносил огонь к самому берегу.

Каждому солдату казалось, что снаряд ударит как раз в его окопчик. Это ощущение было всеобщим, и оно сильно подавляло сознание.

Взрыв и крики: Никонова убило, Селезнёв ранен.

Ещё взрыв, стоны и крики о помощи. И ещё, и ещё. Хочется зарыться поглубже, жалеешь, что не сделал этого раньше. Ужасно хочется курить: выкуришь одну, как начинаешь сворачивать другую. Земля сверху, со всех сторон падает, сыпется. Постепенно взрывы удалились. Напряжение ослабло, потянуло в сон, но спать нельзя. Во время артиллерийского обстрела немцы могут подойти, и быть беде.

Войско готовилось к форсированию Днепра, но налетели немецкие бомбардировщики и разметали всё вчистую. Боевые машины раз за разом, одна за другой заходили на разворот. Они разбили зенитные батареи, и отогнать их было нечем. Земля стонала под взрывами. Сообщение с тылом прервано.

Раздумывая о предстоящей переправе, Костя ёжился.

«Может, хоть плот будет? Плавать-то я не умею».

На следующий день к вечеру наладили связь с тылом. Соорудили переправы, плоты, подвезли боеприпасы, пищу.

Обнаружив движение, немцы открыли ураганный огонь из орудий; снова появились боевые аэропланы. Внезапно позади солдаты увидели широкую яркую полосу света, в виде зарева, за ней другая, третья, и одновременно вой и шелест снарядов.

— «Катюши»!

На немецкой стороне сплошной грохот разрывов и тучи земли в воздухе.

— Вперёд! К реке!

Костя влез на связанные в плот брёвна и присел, держась за сорокамиллиметровую пушку. После залпов «катюш» орудийный огонь противника ощутимо ослаб. Солдаты сталкивали в воду плоты, лодки, прыгали сами и гребли в сторону противоположного берега.

Не прошли они, однако, и четверти расстояния, как немцы перенесли стрельбу на воду. Вскоре многие плоты были разбиты. Всюду взлетали столбы воды и обломки плотов, лодок и прочих переправочных средств. Множество воинов оказались в воде. Одетые в тяжёлые сапоги, навьюченные оружием, они хватались за брёвна, за всякую деревяшку и боролись за жизнь.

Амуниция тянула на дно, а ливень снарядных осколков и пуль добивал их окончательно. Стоны и крики раненых. Костя лежал на своём плоту за пушкой вместе с несколькими солдатами. Осколки свистели вокруг, сбивая крайних.

Вдруг сильно ударило прямо в плот, и Костя оказался в воде. Его тут же потянуло на дно, и он отчаянно барахтался в попытке всплыть. Он всплыл, ибо ему очень хотелось жить. Высунул из воды голову, вдохнул и снова ушёл на дно. Автомат съехал на спину и тянул вниз.

«Всё», — прошла слабая мысль.

Скорее последним судорожным усилием тела, чем приказом разума он рванулся вверх и ударился головой о что-то твёрдое. Инстинктивно он схватился за это, оказавшееся бревном, и подтянулся. Крепко обнял бревно и перевёл дух. В горле першило от попавшей воды, подташнивало.

Постылый берег близок; лёгкое течение несло Костю с бревном к повороту. Снаряды по-прежнему рвались вокруг; взрывы сливались в общий невообразимый грохот и с человеческими криками. Стараясь спрятать голову за бревном, он подгрёбал к берегу. Совсем близко, над головой загрохотал тяжёлый пулемёт; немец стрелял по бли-

жайшему к берегу плоту, и тут же с плота упал в воду сражённый солдат.

Ярость охватила Костю; он энергично подогнал бревно к берегу, одолел небольшой, но крутой подъём, осторожно высунул голову и увидел совсем близко, не далее, чем в десяти шагах, чёрный, изрыгающий огонь ствол пулемёта и немцев, присевших возле него. Направил автомат и нажал на спусковой крючок... выстрела не последовало. Он вытащил из карманов две гранаты-лимонки и швырнул их одну за другой. Пулемёт смолк, но немец тоже бросил гранату. Та ударилась о землю, перелетела через Костю и взорвалась в воде. Он отвёл затвор и в упор просёк немца очередью. Отдышавшись, прополз вперёд к разбитому пулемёту и увидел невдалеке несколько пушек и немцев, ведущих стрельбу. Выдал по ним длинную очередь, пока автомат не заглох.

«Ладно, останусь, достреляю патроны, а там уползу», — самонадеянно решил он, но тут же услышал:

— Вперёд! Быстрее! — и он пополз вперёд, как приказано.

Цепь разделилась: часть солдат ушла вправо, остальные влево, обходя немцев. Немцы заметались: они попытались развернуть пушки, да поздно. Отбивались они отчаянно, но вскоре, кто уцелел, сдались.

Захваченные пушки солдаты повернули и открыли огонь по немецкой обороне. Пехота залегла.

Костя лежал не менее часа. Холод прохватил мокрое тело, зуб на зуб не попадал, окоченевшие руки едва держали автомат.

«Скорее бы наступать, — думал он, — всё согреешься». Он обрадовался, когда загремело «Ура!» и солдаты, стреляя на ходу, рванулись вперёд. Солдат, бегущий рядом с ним, упал, как споткнулся, и затих.

Боясь оказаться отрезанными, немцы бросили тяжёлое вооружение и бежали. После боя возбуждённый и вместе с тем опустошённый, Костя босиком брёл по изрытой воронками земле. Сапоги он сбросил ещё тогда, в реке, благо они у него были на два номера больше, а то бы утонул. Увидев лежащего немецкого солдата, Константин стащил с него сапоги и примерил. Жмут в подъёме. Он отбросил их и взял с другого немца. Эти кожаные, с широкими, по немецкой манере, голенищами, оказались хороши.

Произошёл этот бой у Днепра. Воины отдыхали, приходили в себя и пели про судьбу солдата в страшном сражении на Волге. Они переделали знаменитую песню «Раскинулось море широко» на свой, нехитрый, но трогательный и понятный солдату манер.

*Раскинулась Волга широко, сражение у самой реки.
Мы бьёмся с фашистом жестоко на краешке нашей земли.
За сизым туманом на том берегу, откуда лишь пушки стреляют,
Бойцы день и ночь Сталинград берегут и молча в бою умирают.*

*У берега Волги остался один, из роты один лишь комроты.
Волна набегаёт одна на одну, там движется немец пехота.
По радиации он комполка попросил, отца вы сюда позовите.
Прощайте, отец, мне сражаться нет сил, мамаше привет отнесите.*

*А Вы, комполка, из всех батарей стреляйте по мне, прикажите.
Отец от приказа стал снега белей. — К могиле цветы положите.
А утром наш полк на фашистов напал, отец был там в белом халате.
Он сына нашёл среди вражеских тел в трюмное у взорванной хаты.*

БИТВА ЗА ПАВЛЫШ

Тишина перед наступлением поражала своей несообразностью в связи с предстоящим адом. Изредка нестрашно ухал снаряд, и снова тишина. Лощина впереди раздваивалась: влево она круто сужалась, а вправо, напротив, она расширялась и переходила в хорошо обозримую возвышенность.

Цепь наступающих солдат миновала левый крутой поворот, рассредоточилась и пошла вправо. Без боя прошли половину дня, наступали сумерки. Солдаты поглядывали, не едет ли кухня. Некоторые жевали сухари, и все ждали команды на отдых.

Однако, вместо желанного отдыха ударили миномёты, слева забили тяжёлые немецкие станковые пулемёты. Не успевшие окопаться солдаты падали на землю: иные, чтобы залечь для обороны, но не в малом количестве пали поражённые смертоносным оружием, замерли навсегда. Раздались стоны раненых.

Костя залёг и, используя убитого солдата, как прикрытие, осмотрелся.

В той стороне, откуда били пулемёты, в полный рост стояли немцы. Среди них он различил несколько офицеров, по обмундированию отличающихся от солдат.

Костя удобно положил автомат на убитого солдата и дал прицельную очередь.

Немцы мгновенно залегли и открыли такую стрельбу, что не поднять головы. Затем они исчезли из видимости, но вот Константин раз-

личил на фоне светлого неба фигуру, склонившуюся к пулемёту. По ней стреляли, но огонь из пулемёта не смолкал; пулемёт поливал смертельным огнём русских солдат, лежавших на открытой местности и видных открыто, как на ладони.

Наступившая темнота спасла солдат.

— Вещмешок горит! — услышал Костя. — Немец бьёт по твоему огню!

«А, будь он неладен! Всю войну знал правило: не бери в бой вещь-мешок, а тут взял. Без него прижался к земле, тебя и не видно. Мешок же виден, тем более, если горит». Он отшвырнул злосчастное снаряжение как можно дальше, взял винтовку убитого солдата, тщательно прицелился и выстрелил. Немец ткнулся к земле; пулемёт смолк.

Обозлённые потерями, солдаты рванулись вперёд, оставляя раненых и убитых на попечение тыла.

Пробегая по возвышенности, Костя обнаружил траншеи немцев, а за ними, метрах в восьмистах, железнодорожную станцию Павлыш, которую немцы никак не собирались отдавать. Для них это означало бы оказаться в котле со всеми вытекающими отсюда бедами. Дрались они отчаянно. Вначале открыли ураганный огонь по наступающим, а затем перешли в наступление сами.

Подпустив поближе, Константин с солдатами расстреливали их в упор, затем поднялись в контратаку. Напряжение боя росло. Желание победить было обоюдное. Упорство немцев поражало. Атаки и контратаки чередовались, и сколько солдат полегло с обеих сторон, неизвестно. Восемь раз вставали русские солдаты и шли в штыковую схватку, а бой утих лишь ночью.

Выставив наблюдателей, утомлённые донельзя, солдаты уснули каждый где был.

Подожёл командир полка, собрал офицеров и приказал поднять всех в наступление.

— Немцы ушли. Проспали вы их.

Осторожно двинулись вперёд, прошли немецкие траншеи, всё тихо. Вот и станция. На путях неразгруженные вагоны. Навстречу бежит женщина.

— Там немцы!

— Где?

— В домах спят, меня выгнали. Усталые, мокрые, грязные.

«Немчура привыкла воевать культурно, с условиями. Питание, отдых, чистота. Повоевали бы, как мы», — философствовал Костя.

— Товарищ полковник, там на платформах машины с пушками.

— Со мной пять человек к машинам, остальные в дома. Тихо пошли.

Потерявшие бдительность немцы почти без сопротивления сдались и были отправлены в тыл.

На улицы вышли жители и предлагали солдатам еду. Старушка сунула Константину большой ломоть хлеба.

— Куда я его, бабушка, дену? — отказывался тот.

— Возьми в руки.

— А как воевать?

— А ты, внучек, если надо стрелять, положи хлеб рядом. Постреляешь, возьми его и иди, а там покушаешь.

Вторую ночь идут солдаты по маршруту, известному одному командованию, то подходя к немецкой обороне, то удаляясь от неё, так что и ракет не видно. С рассветом встали на привал, перекусили. Неожиданно пошёл снег. Первый снег, ещё слабый, он тут же таял, но всё падал и падал. Похолодало. Опустился плотный туман и полностью закрыл ноябрьское солнце. Заняли оборону и стали рыть окопы, замелькали большие и малые сапёрные лопаты.

— Командиры взводов к командиру полка! — прокричал связной.

— Мещерякову остаться за меня, — приказал Костя и направился вслед за связным.

— Наступать будем на Кировоград, — объявил командир полка, — немцы закрепились сильно. Мы заняли оборону вблизи передней линии противника, а на левом фланге, там, где расположен взвод старшего сержанта Травина, вообще всего в ста метрах.

— Так это немцы впереди нас шевелятся, — заметил Константин, — мы едва к ним в гости не попали.

— Да, это немцы. Дело в том, что мы выяснили их расположение только что.

Задача. Прорвать оборону противника и, не задерживаясь, двигаться на Кировоград, взять его и укрепиться. Батальонам, ротам, взводам общая задача: по сигналу зелёной ракетой начать наступление, обеспечив поддержку огнём батарей, миномётов и пулемётов. Поддерживающие средства продвигаются поочерёдно, не ослабляя огня.

Получив задачу, командиры побежали по оврагу к своим подразделениям.

Нарастающий свист мины заставил бегущего Костю упасть и прижаться к земле. Рвануло совсем рядом, но не задело. Он мгновенно вскочил и, согнувшись, бросился к своему взводу. Добежать осталось

не более пятнадцати шагов, когда рванула вторая мина; взрыв ударил его в грудь и в бок. Резкая боль перехватила дыхание, застлала глаза, навалилась мука.

«Как же трудно умирать, — подумал он сквозь полную дурноту, — мама, прощай». Но вот дыхание как бы прорвалось. Он глубоко вздохнул, но едва не потерял сознание. Приподнялся, опёрся на автомат, левой рукой невольно поддержал живот, встал на колени. Боль и тяжесть в животе и груди принудили его ещё крепче обхватить тело.

— Помочь или сам доползёшь? — подполз санитар.

— Сам, — неуверенно ответил Константин.

— Тогда иди, автомат оставь мне.

Отдав автомат и прикрыв раны руками, он, сильно согнувшись, пошёл в тыл. Вскоре он почувствовал, что силы его оставляют, а голову заволакивает туманом, однако он сжал зубы и упорно двигался вниз, к дому с красным крестом над крыльцом. Он услышал стон, оглянулся и увидел солдата, который полз, волоча окровавленную, странно укороченную ногу. Костя хотел помочь ему, но сил на это у него не осталось. Он с громадным усилием перевалил через порог дома, с трудом удержавшись на ногах.

— Перевяжите, я ранен.

— Какого полка?

— Сто десятого.

— О, Вы не наш. Идите через дом, там Ваш. У нас много своих, не успеваем.

Врачи в белых халатах совершали своё милосердное дело; они возились с ранеными. Стон стоял такой, что волосы становились дыбом.

Константин отнял от тела руки и впервые после ранения взглянул на свой живот. Запёкшаяся кровь, куски мяса, обрывки шинели и белья. На груди также обрывки одежды. На брезентовом ремешке, порванном, но ещё крепком, граната.

— Перевяжите. Я больше не могу.

Молчание.

— Перевяжете? Тогда я сам подорвусь и вас заодно! — закричал Константин в отчаянии и злости.

Он схватил гранату, поднёс её к животу и взялся за чеку. Девушки бросились врассыпную.

— Больной, не шути с гранатой. Выбрось её. Коля, возьми у него гранату, выбрось на огород.

Здоровенный старшина подошёл к Косте и протянул руку.

— На, держи аккуратнее. Чека выдернута, прижми ручку, — на этот инструктаж у Кости ушли последние силы, тело отяжелело, ноги подкосились.

— Ефремовна, ты что, с ума сошла, почему ему не оказали помощь? Большие ножницы резали шинель, бельё.

— У него в карманах ещё гранаты. Выбросьте их, и как они не взорвались? Разнесло бы парня в куски. Это просто его счастье.

— Какое счастье? Он не жилец. Ранение в живот, кишки порваны, грудь разбита. Куда осколки ещё пошли, что натворили. Вроде в лёгкие.

Костя чувствовал, как его кладут на стол, а он теряет сознание. Чёрная туча накрывает его всего с головой. Темнота и тишина. Нет никого, нет ничего, нет и его. Вот он стоит в окопе, но в руках у него не автомат, а топор. Позади мама и папа, зачем они здесь? Накатывается немецкий танк и хочет раздавить всех. Земля под его гусеницами сыпется и давит на грудь и живот. Надо скорее рубить землю, чтобы спасти родителей. И снова танк, и Костя снова рубит землю.

Всё это до мельчайших подробностей, до деталей повторяется и повторяется бессчётное количество раз.

— Небось, девушка у него есть. Совсем молоденький. Доктор сказал, что до утра не доживёт. Как он сам пришёл? Удивительно, с какими-то ранами. В книжке записано, он штрафник. Может быть, он из тюрьмы?

— Нет, у него два ранения и контузия.

— Тогда выжил, теперь умрёт.

— Жалко мне его, тётя Саша.

— А мне не жалко? Что поделаешь, всё равно умрёт.

«Кто умрёт?» — равнодушно подумал Костя и шевельнулся. И опять танк, и он, Константин, рубит землю.

Второй раз Евдокия получила известие о смерти Кости. Измученная горем, она выплакала все слёзы, но легче не стало. В свои сорок два года до войны она выглядела тридцатилетней, а три военных года состарили её до неузнаваемости.

Восемнадцать суток пролежал Костя в беспомощности. В нём схватились в ожесточённой борьбе жизнь и смерть. Весы судьбы склонялись то в одну, то в другую сторону.

В палате десять раненых солдат, безнадежно раненых. В том числе Константин.

Лечащий врач профессор, доктор медицинских наук Владимир Иванович.

Через день умирает один. Через три дня ещё двое. Через две недели остались двое, в том числе Костя. Умирили с хрипом, стонами и криками. На каждого, пока было сознание, наезжал и засыпал землёй его собственный танк.

Владимир Иванович делал всё, что мог.

Весы Константина всё качались. Доктор подолгу просиживал у его кровати в попытках переломить его положение к лучшему. Однако, всё, что он сделал, хорошего результата пока не принесло. Танк раз за разом надвигался в твёрдом намерении раздавить. Костя слабел, и вот, в который по счету сон, он ощутил, что сил у него не осталось вовсе, и он согласился умереть. Лежал и ждал.

— Сынок, ты что же это, — услышал он очень знакомый голос, и не просто знакомый, а истинно родной. Костя с усилием открыл глаза и различил в шаге от себя Евдокию, свою мать. Она с ласковым укором смотрела на него.

— Сил нету? Так мы же вдвоём-то справимся.

«Как это вдвоём, — подумалось Константину, — мать-то слабенькая, куда ей против танка».

— Вставай, вставай, — требовательно произнесла мать.

Костя приподнялся, упёр руку в танк и ощутил сопротивление. Мать встала рядом и едва приложила ладонь к броне, как танк остановился и через мгновение попятился назад.

— Видишь, есть у нас с тобой силы. Вставай.

Костя обернулся к матери, но лишь услышал: «Вставай, вставай, сынок!» и увидел берёзу. Танк же растворился в воздухе, как дым. С этих пор танк перестал на него наезжать.

— Тёмная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звёзды мерцают... — донеслось в палату.

«Хорошо сказано. Действительно фронтовая ночь, вот только провода на фронте не гудят, потому что их не вешают, а прокладывают по земле. На передовой провод не навесишь, враз получишь пулю».

Болезненный вздох вырвался из груди Кости, и он открыл глаза. На стуле возле кровати он различил доктора, который мирно спал. Но вот он проснулся, глянул на Костю и широко улыбнулся в великом изумлении.

— Наконец-то, — произнёс он с глубоким удовлетворением, — теперь, герой, всё станет хорошо.

Чаша весов жизни на этот раз уверенно перевесила.

— Пить, — попросил Костя, и ему подали в кружке жидкость, мало напоминающую воду. Он выпил, и уже от одного этого сильно устал,

впал в забытье. Очнулся от собственного кашля. Рядом с кроватью стоял человек с папирсой во рту.

Косте невыносимо захотелось курить, и он попросил папиросу.

— А Вы курили раньше?

— Курил. Три года.

— Тогда можно.

Костя взял зажжённую папиросу и с наслаждением вдохнул упоительно ароматный дым. Покурив, он принялся изучать своё состояние. Он оттянул широкий бинт на груди и обнаружил большую рану. При вдохе рана открывалась, и из неё с хлюпаньем выходил воздух.

Подошёл дежурный врач.

— Вы что, с ума сошли? Раны открыты, малейшее загрязнение, и Вы покойник. Вот зашьём, залечим, тогда и любуйтесь сколько угодно.

Костя стал решительно выздоравливать. Не то, что он уже здоров, до этого далеко, но уверенности у лекарей относительно его пребывания на земле в живом состоянии значительно прибавилось. Правда, временами на него находил болезненный сон, похожий на бред, но, во всяком случае, в теперешнем состоянии стало возможным отправить его в тыловой госпиталь. Вскоре его поместили в железнодорожный санитарный поезд-госпиталь, и он погромыхал в глубокий тыл, в далёкий уральский Свердловск.

Некоторые люди говорят, что чудес на свете не бывает. Да как же не чудо произошло в начале июня 1944 года на станции Кунгур великой транссибирской магистрали, когда здесь одновременно остановились три железнодорожных состава, в каждом из которых находились герои настоящей повести Травины.

В одной из теплушек товарняка возвращалась из Казахстана после эвакуации сильно усечённая войной семья Травиных. Мать Евдокия и отец Василий, подростки Алексей и Тоня да совершенные малолетки четырёхлетний Вася и трёхлетняя Лидия.

С запада подошёл госпитальный поезд, заполненный до краёв ранеными фронтовиками, и в нём в одном из вагонов на верхней полке лежал Костя. Он с большим интересом, высунув из окна голову, наблюдал за происходящим на станции и, в особенности, за людьми в товарняке, стоящем рядом.

— Слушай, парень, — обратился он к мальчику на путях, торгующему молоком, — забеги с той стороны вон того эшелона. Спроси, нет ли там Травиных.

Охотный помочь раненому фронтовику, мальчик побежал к эшелону, а в это время санитарный поезд Константина тихо тронулся и

пошёл, набирая ход. Двери теплушки раздвинулись, и Травины увидели мальчика с молоком.

— Нам не надо молока, — сказала Евдокия.

— Я не молоко... раненый просил спросить кого-нибудь из Травиных.

— Костя! — закричала Евдокия, — это Костя. Где он?

— Смотрит в окно в санитарном поезде с красными крестами.

Стоя в проёме, Тоня с любопытством смотрела на проплывающий мимо госпиталь, вагон Константина поравнялся с теплушкой, и взгляды брата и сестры встретились.

— Костя! — закричала Тоня, — мама, там Костя!

Евдокия рванулась к проёму, и успела, хотя бы и вслед, вдогон увидеть взволнованное улыбающееся родное лицо сына. Этого короткого отрезка времени, по сути, мига с лихвой хватило, чтобы доброй вестью заполнить брешь отчаянья, успокоить семью, снять тревогу относительно судьбы Кости.

А с крайнего пути в это же время уходил на запад и на фронт эшелон с Борисом Травиным, излеченным от раны в Свердловском госпитале.

Но встреча с ним, хотя бы взглядом, у родных не состоялась.

Несколько позже в одном из свердловских госпиталей медсестра спросила Костю, нет ли у него братьев.

— Есть, — ответил тот, — но он погиб, — и он показал его фотографию.

Девушка всмотрелась в фото и вскрикнула:

— Да как же погиб, когда ещё неделю назад я его видела!

— Борис жив! — Костя задохнулся от радости. — Где этот госпиталь, говори скорей, я побегу туда.

— Недалеко... в доме... да вон посмотри, — она подошла к окошку, раздвинула занавески. — Огоньки в нём, видишь?

— Вижу! Успею сбежать? Нужно одеться.

— Куда, чудак, здесь закрыто, там закрыто. Успокойся, завтра проси доктора, может, отпустит.

Ночь прошла без сна. Константин вставал, посматривал на часы, вглядывался в окно, пытался рассмотреть в темноте здание, где лежит его родной брат Борис.

Наутро, испросив разрешение доктора, он в сопровождении медсестры отправился к Борису. Госпиталь оказался закрытым для посетителей, но дежурный, выслушав Константина, впустил его и послал санитаров поискать Бориса Травина. Выяснилось, что Борис Травин

вот уже несколько дней как убыл к месту дальнейшего продолжения службы после выздоровления.

Огорчённый поплёлся Костя к себе, так и не повидав брата, но чрезвычайно довольный тем, что Борис жив.

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ

Часть, в которую после излечения направили Константина, располагалась в густом хвойном лесу и находилась в состоянии формирования. Для этого с передовой линии в качестве костяка будущего полка были отозваны только командиры, да и то лишь в самом малом необходимом количестве.

Костя принял своё подразделение далеко не полностью укомплектованным: ожидали новое пополнение, и оно вскоре подошло. Для встречи построили всю войсковую часть: пополнение из солдат, сержантов и офицеров напротив основного строя. Ждали прибытия нового командира.

Из подъехавшего «Виллиса» без сопровождения прыгнул с автоматом через плечо молодой подполковник.

Стоя в положении «смирно», Костя смотрел на командира и пытался вспомнить, где он встречал этого бравого офицера. Очевидно, знакомые черты. «Да ведь это подполковник Козлов, его командир ещё до Белгорода. Отличный мужик. В бой водил сам. Солдаты его любили».

Он в свою очередь вышел из строя, приложил руку к козырьку и в волнении, глядя на командира, представился:

— Командир первого пулемётного взвода, гвардии младший лейтенант Травин.

Подполковник внимательно посмотрел на офицера и вдруг, широко улыбнувшись, порывисто подошёл к нему и обнял. Они поцеловались.

— Травин! Жив! Герой-посмертник, — он обернулся к строю, — Вот, встретил однополчанина, за которого я ходатайствовал о присвоении ему звания Героя Советского Союза, — и тихо Константину, — присвоили?

— Нет.

Командир помолчал, затем оборотился к строю и сказал:

— Этот воин подбил не один танк и со своими товарищами-пулемётчиками долго держал немцев. Держали до тех пор, пока часть не укрепила оборону. По сути, они спасли часть от серьёзных потерь. Под ним взорвался снаряд, и солдаты сочли его убитым. Как всё случилось, надеюсь, мы узнаем от него самого.

— Так точно.

— Ну, а теперь укомплектуем наши подразделения новенькими, такими же, как я сам. Предоставляю право первому пополнить свой взвод гвардии младшему лейтенанту Травину. Пусть он отберёт солдат покрепче: носить пулемёт слабому не под силу. Идите, отбирайте.

Костя повернулся к строю пополнения, оглядел людей и скомандовал:

— Слушай мою команду. Кто воевал в штрафбате, выйти из строя! Вышло человек двадцать, а Константину полагалось двенадцать.

— Пулемётчики, шаг вперёд! — вышло одиннадцать.

— Ещё одного.

— Возьмите меня, — попросил солдат.

— Хорошо, встаньте в строй.

Константин собирался увести своих воинов, но услышал слова подполковника:

— Почему штрафников?

— Я сам бывший штрафник. Они поймут меня.

— Когда же ты успел, за что?

— За то, что остался жив под Белгородом.

— Да, дела, — задумчиво произнёс командир и добавил, — ладно, ведите людей. Не унывайте. Был Белгород, будет и Кёнигсберг.

Сопровождая Константина в его тяжких странствиях по войне с терпеливым служением Отечеству, я едва не забыл про Скуратово. Нет, конечно, не забыл, ибо оно, село это, есть корень и суть рода Травиных, куда их всегда тянет и куда они неизменно возвращаются независимо от того, страдали они в иных краях или благоденствовали.

Так как же жили люди села, а точнее женщины, которые в эти суровые годы войны стали основным его населением? Лишённые мужчин, тружеников и кормильцев, угнанных на войну и укладывающих свои головы на плаху бойни, они жили трудно, очень трудно, на грани выживания.

Правил селом всё тот же Ванька Корытов, что весьма удивительно, ведь он, как сказано выше, подвинулся разумом на почве страха за несправедно захваченный им дом. К тому же он совершенно непристойно таскал на ноге, не снимая, большой гремещий крысиный капкан.

Ну, мыслимо ли это для представителя власти?

Вышестоящие товарищи из Тарути действительно некоторое время находились в затруднении относительно Ваньки. Они долго

совещались в узком кругу и, учтя его прежние несомненные заслуги, решили оставить его правителем села Скуратово, как партийца с дореволюционным стажем, незаменимого опытного руководителя и крепкого хозяйственника. Что касается подвинутых мозгов, то товарищи из районного центра резонно и самокритично рассудили оставить этот деликатный вопрос в покое, будучи неуверенными в своих собственных.

Одновременно они провели с Ванькой определённую профилактическую работу, так сказать, подправили его. Поместили в закрытую партийную лечебницу, сняли, несмотря на его активное сопротивление, с ноги капкан, пожурили на партактиве, чтобы впредь не срамил своим видом власть и не порочил правильный облик члена партии, объявили выговор без занесения в учетную карточку и напоследок в узком кругу набили морду.

Ему дали броню, то есть, освободили от воинского призыва и от фронта, хотя, если поразмыслить, то лучше бы Ваньку прикончили на войне. Это печальное для Ваньки, но объективно гуманное событие, без сомнения, принесло бы большую пользу населению села.

Ванька после партийного воспитания малость оклемался и возобновил своё руководство селом.

На третьем году войны, когда фронт значительно отдалился в западном направлении, стали возвращаться уцелевшие в боине, но жестоко израненные и искалеченные мужчины. Возвратился и Василий; он потихоньку-полегоньку, несмотря на болезнь, принялся за хозяйство, и некоторое время думал, что этот труд ему по силам. Только сильно тосковал он по старшим сыновьям, от которых не было вестей с войны. Отозвался письмом лишь один Константин.

ДОНОС

Ванька правил селом. Он гонял людей на полевые работы и отбирал у них всё выращенное. Он обложил налогом каждое растение и живность во дворах, понуждая, таким образом, людей извести и то, и другое. Он сделал труд крестьянина бессмысленным. Поля захирели, а землю набили отравой. Животные день и ночь ревели от голода, надрывая ещё не очерстевшие сердца.

Люди побежали из села, но он запретил выезд; крестьянские дети, отбив солдатчину, не возвращались в родной дом. Крестьянское хозяйство умирало. Он порушил храм, а в развалины запустил животных. Он растоптал христианскую нравственность и насаж-

дал свою, спущенную сверху. Ложь, доносы и воровство стали дозволенными и поощряемыми признаками этой новой Ванькиной морали.

Ванька сидел в своей резиденции, сильно озабоченный нерадивостью людей.

«В селе-то они вот где у меня, — посмотрел он на свой кулачище, — а в поле какие они работники? Знаем, так и норовят домой. Назначу-ка я им полевого начальника», — решил он, отправился к Василию и предложил ему эту должность.

— Тебя, Вася, народ уважает. Ты грамотный, станут слушать, а кто не будет, шепни мне.

— Подумаю, — ответил Василий.

Что думать-то, такое доверие тебе оказываем.

Ванька ушёл, оставив Василия в размышлении. Первая мысль — отказаться. «Что толку, если люди работают из-под палки, задарма, — рассуждал он, — погонялы из меня не получится, а вести дело, как надо, как я это понимаю, мне не дадут, но с другой стороны... может, рискнуть?» Он согласился.

Собрал людей.

— Давайте устроим договор, — предложил он, — сезон хорошо поработаем, каждый получит достаточно. Я никогда не обманывал и не обману. Доверьтесь мне.

Люди хорошо знали Василия; они поверили ему и согласились.

Ванька не придавал значения этому устному договору, потому что обманывать людей ему не впервой. Обещали и другие, до Василия, но слова своего никогда не держали. «То же будет и теперь с Василием. Прижмём, куда он денется», — соображал Ванька.

Люди работали от души, как на себя, как никогда в последнее время; дети тянулись за взрослыми. Урожай вызрел хороший, и его не то, что убрали, но каждое зёрнышко, картофелину, свёклу подняли с земли и присовокупили. Государству на этот раз отвезли вдвое больше прежних лет, но и осталось всего довольно. Всё свезли в казённый амбар, откуда урожаю обычно одна дорога — тому же государству, но мимо крестьянина.

Василий сделал по-своему. Едва только привезли с поля последний мешок, как он объявил, чтобы, не мешкая, шли получать свою долю. И хотя дело шло к ночи, люди пришли с тарой и тележками и получили всего обильно, чтобы хватило до следующего урожая.

Выдавали всю ночь, и ещё до наступления утра каждый получил заработанное и не был обделён. С песнями, со светлыми лицами везли

люди домой плоды своего труда. Теперь не страшен им предстоящий год, еды хватит.

Василий совершенно счастлив; он облегчённо вздохнул и собрался домой, когда вошёл Ванька.

— Везите остатки государству, — распорядился он.

— Всё отвезено, — ответил Василий.

— Как отвезено, вчера ещё лежало.

— То роздано людям за работу, — объяснил Василий, — люди голодают.

Ванька бросился в амбар, но тот пуст. У Ваньки отвисла челюсть, настолько страшным выглядело в его глазах преступление, совершённое Василием. Дёргаясь от страха и ощущая слабость в животе, он снарядил таратайку и, не мешкая, поскакал в Таруту доносить на Василия.

— А ты где был? — спросили его. — За недогляд с тобой ещё будет разговор.

Сами сели на бричку и, прихватив для видимости прокурора и, ввиду серьёзности дела, двух вооружённых милиционеров, покатали в село. Ванька ехал рядом и всю дорогу бубнил о своём оправдании; от него отмахивались.

Василий дошёл до дома и свалился на кровать совершенно обессиленный. Тревоги, волнения и тяжкий труд совсем подкосили его. Последние дни он держался больше на своей устремлённости в задуманное дело, желании непременно сдержать обещание, данное людям. Теперь он почувствовал, что истратил все свои силы без остатка. Здоровье его резко ухудшилось; обострилась старая лёгочная болезнь, мучившая его всю жизнь, то отступая на время, то наваливаясь вновь.

ВАСИЛИЙ

Василий слёг, да уж больше не встал: дышать становилось всё труднее, и он задыхался в удущье. Да ещё знал он, что власть не простит ему последнее его дело для людей. Он знал беспощадность этой власти и теперь лежал в сильном беспокойстве, не столько за себя, сколько за семью.

Бричка прямоком подкатила к дому, и они спросили Василия.

Вышла Евдокия, глянула на них и сразу распознала цель их приезда, однако спросила, что им надобно. Они ответили, что нужен Василий Травин и было двинулись в дом, но Евдокия встала у порога и решительно их непустила. Обычно мягкая и деликатная, на этот раз она была непреклонна.

— Уходите, — твёрдо сказала она, — он умирает. Дайте человеку хотя бы умереть спокойно.

Они не привыкли к сопротивлению. Обычно придавленные властью люди безропотно подчинялись и шли, как бессловесный скот, куда скажут. Они потоптались у порога, посмотрели на Евдокию и поняли, что пройти в дом смогут лишь при одном условии, если затопчут её.

Евдокия стояла перед ними — крупная, величественная и почти спокойная по виду, но это внешнее спокойствие разъярённой тигрицы, вставшей на защиту своей семьи и готовой идти по этому пути, не останавливаясь ни перед чем.

Они долго мялись, не решаясь на действие, затем отошли в сторону и переговорили между собой. Вроде бы, надо арестовать, увезти, но если человек умирает, так что уж тут. Они сели на бречку и укатили прочь.

Евдокия вернулась в дом, подошла к мужу. Василий лежал бледный, готовый ко всему; он слышал разговор за окном.

— Уехали? — спросил он.

— Уехали, — выдохнула Евдокия и заплакала.

— Они приехали, чтобы арестовать меня, — уже спокойно сказал Василий, больше обращаясь к себе, чем к жене. Та кивнула.

— Да я это сразу поняла. Не простят они тебе того доброго, что ты сделал для людей.

— Не простят, — согласился Василий, — Да мне теперь их прощения, пожалуй, и не надобно, — добавил он после паузы.

— Душно мне, дай водички.

Евдокия пошла за водой и уже из кухни услышала короткий стон.

Она вбежала в комнату и склонилась над мужем.

Василий лежал совершенно бледный, неестественно крупные, как виноградины, капли пота покрывали его лицо; глаза широко открыты.

— Дуня, — прошептал он, — у меня оборвалось в груди, душно мне, — он взял её ладонь и крепко сжал.

— Позови детей, — попросил он едва слышно.

Все вошли. Дунина мать, тоже Евдокия, вложила ему в руки горящую свечу и истово молилась. Она любила своего зятя.

— Подойдите, — попросил Василий. Дети поочередно подходили к нему. Он трогал каждого, гладил.

Прощался.

Вдруг судорога волной прошла по его телу; он попытался вздохнуть, вытянулся и стал недвижим. Взгляд его широко открытых глаз устремился вверх, в небо, в вечность.

Василий скончался. Все зарыдали.

Евдокия послала Константину письмо, в котором подробно написала о кончине отца и последних минутах его жизни. Умолчала она лишь о последних его делах и о приезде власти из Таруты с намерением арестовать за благое дело, которое он исполнил перед своей кончиной для людей, и что, несомненно, ускорило его смерть. Не сообщила, зная, что письма просматриваются военной цензурой и писать о таких вещах опасно.

Наступил день, когда сформированный и прошедший обучение полк в составе фронта решительно пошёл на Кёнигсберг с задачей взять его.

Немецкое командование создало мощную оборону города и находилось в полной уверенности в его неприступности. Глубокие рвы и минные поля окружали оборонительные форты. Каждая точка подхода простреливалась даже ночью. Многочисленные подземные ходы обеспечивали оперативное передвижение войск.

Но и русские войска были уже не те, что в начале войны. Ударили многочисленные орудия, «катюши», «андрюши», поднялась авиация, двинулись танки. Пошла пехота.

Перед наступлением почтальон принёс Константину письмо. Первое за длительное время письмо от матери.

«Здравствуй, дорогой Костя, — читал Константин, лёжа с автоматом перед броском вперёд, — долго мы думали, сообщать ли тебе о тяжёлом горе, но, прочитав твоё письмо, где ты пишешь, что пока ты далеко от фронта, решили сообщить.

Десятого февраля скончался отец. Последние дни он очень хотел видеть тебя и всё ждал, что заедешь. «Из четырёх сыновей один Костя остался, неужели не заедет?» — надеялся он. Всякий раз, очнувшись, он спрашивал, не приехал ли Костя. Когда уж говорить не мог, всё искал тебя глазами. Десятого утром ему стало легче. Он приподнялся и сказал: «Раз вчера не приехал, значит, уж не приедет».

Прочитав твоё письмо, в котором ты писал, что проезжал Скура-тово, я поняла, что сердцем он это почувствовал.

Утром он как-то посвежел, и я подумала, что поживёт ещё, но он собрал нас вместе возле себя и не отпуская. Всё глядел на нас, а потом заплакал и сказал: «Будь хотя бы один из моих старших сыновей с вами, мне и умереть легче было. А теперь, как вы станете жить?»

Я успокаивала его, говорила, что ещё выздоровеет, но он снова заплакал: «Нет, Дуня, я умираю. Смерть уже отняла мои ноги». Я пощупала, а ноги у него холодные, как лёд, и совсем синие.

Он поцеловал ваши фотокарточки, прижал их к губам, поцеловал нас по очереди и откинулся на постели. Тут скрипнула дверь, и он повернул голову, думая, что это ты. Через минуту он скончался.

Костя, один ты у нас остался, береги себя, ради нас.

Твоя мама, братья, сёстры».

Рыдания вырвались у Кости, он уронил письмо, нагнулся, чтобы его поднять, и тут шквал огня забушевал вокруг него.

«Очередь за мной, — подумал он. — Не жди меня, мама». Костя хотел закричать: «Вперёд, ура, за мной!», но лишь прохрипел:

— Вперёд!

— Мать-перемать, ура! — узнал Костя голос своего солдата-штрафника.

— Ура! — прошло по цепи.

Воины поднялись и бегом устремились вперёд, навстречу победе и смерти.

Пошла пехота.

Пулемётчики быстро и сновисто меняли позицию и порою даже обгоняли пехоту.

«Молодцы, — одобрительно подумал Костя, — воюют, как в кино».

Подбежав к вражеской траншее, немцев он не увидел, а лишь одного солдата-власовца. Он лежал среди целого склада мин, фаустпатронов и прочего оружия.

— Вот гады, заставили нас развернуться в цепь против всего одного солдата.

Теперь только вперёд.

За траншеей километра через полтора завиднелось многоэтажное здание, на крыше которого колыхалось на ветру белое полотнище. В бинокль Константин различил красные кресты. Прошла команда:

— По госпиталю не стрелять!

Получившие этот приказ солдаты недоумённо качали головами. На чердаке здания и в окнах ясно различались вспышки выстрелов.

«Сволочи, прикрываются знаками госпиталя, — подумал Костя и передал по цепи:

— Доложить командиру полка, что из здания ведётся интенсивный огонь.

— Занять оборону, окопаться, — поступил тем временем приказ, — подойти к госпиталю, возможно близко, не стреляя.

Осторожно, перебежками солдаты приближались к зданию. Вечерние сумерки прикрыли землю, но вот взошла луна и ярко осветила местность. Госпиталь молчал.

«Видно, гады хотят подпустить поближе. Нам бы поосторожнее», — опасался Костя. И тут же, едва он подумал об этом, из здания обрушился на них огневой ливень. То там, то здесь падали сражённые пулями солдаты.

— Вперёд! — воины рванулись к госпиталю, ибо только там, где засел враг, находилось их спасение. Солдаты, разъярённые вероломностью немцев, ворвались в здание с решимостью уложить его защитников, но ни немецких солдат, ни раненых обнаружить не удалось. В пустых палатах лишь изобилие белья, простыней, бинтов, ваты и прочих предметов санитарной службы.

«Когда же они успели удрать?» — недоумевал Костя.

— Внизу тоннель, в подземный ход! — крикнул кто-то из солдат. Все бросились вниз.

И в самом деле, в центре здания за распахнутыми воротами виднелась пустота. Ракета, выстреленная в пустоту, ударилась о бетонированный пол, ярко освещая длинный туннель с подземными казематами.

— Пушку сюда! Снаряд вдогонку!

Вспышка, выстрел, многократно усиленный бетонным туннелем, и следом крик и ругань командира полка. Когда Константин ощутил возможность слышать, до него донеслось многоэтажное ругательство, смысловым содержанием которого было: «Разведчиков к командиру полка!» Через несколько минут перед командиром стоял начальник полковой разведки.

Пятеро разведчиков осторожно двинулись в туннель. Все замерли в ожидании. Командир полка ждал донесения разведчиков, а командир орудия стоял в ожидании наказания. Разведка доложила: в туннеле пусто.

Командир полка выслушал разведку и послал связного в штаб с докладом о выполнении задачи, о туннеле и дальнейшем продвижении. Проверив фланги соседей и убедившись в надёжной с ними связи, он подал сигнал к скрытному наступлению без шума.

Прошли рощу, вышли на полосу земли, с одной стороны залитой водой; небо чуть светлее, чем земля. Боевой дозор наткнулся на немцев. Завязался короткий бой, вновь тишина, нарушенная стоном раненого и его призывами о помощи.

— Надо помочь!

— С дороги не сходить, минировано.

— На mine он и подорвался.

— Надо помочь.

— Там сапёры, они разминируют, они и помогут.

— Куда его ранило? — тихо спросили солдаты, шагая навстречу носилкам с раненым.

— Ногу оторвало.

— Молчи неси, — оборвал его напарник.

Солдаты шли всю ночь и порядком устали, хотелось спать. Они уснули там, где их застала команда на отдых.

С чувством досады, что не дали вздремнуть, Константин брёл по траншее в штаб полка. Опять повторять давно заученную до мелочей задачу наступления. Штаб полка расположился в конце длиннющей траншеи. С первых же слов начальника штаба Константин понял, что ворчал он зря: за ночь полк прошёл большой путь, и многое изменилось.

Настало утро десятого апреля последнего года войны. Ярко засияло солнце, согревая уже свободную от снега землю. Окраина города будто вымерла. Проходя по траншее, отрытой у самого основания большого кирпичного здания, Костя проверял готовность своих пулемётчиков.

— Не беспокойтесь, товарищ лейтенант, всё будет хорошо. Вы нас знаете, мы гвардейцы, — сказал пулемётчик Шарафутдинов.

— О тебе не беспокоюсь, а вот как другие.

— Другие тоже. Все старые вояки, патронов хватит, техника подержит, возьмём город.

— Не скажи, немцы здесь здорово сопротивляются.

— Не могу понять, почему они так держатся, Германия-то почти вся наша.

— Возможно, верят, что Гитлер действительно даст им новое оружие. Кроме того, они солдаты, и хочешь — не хочешь, а воюй. Ещё они надеются, что им помогут наши союзники. Слышал, что говорят пленные немецкие солдаты?

— Да, так оно и получится.

— Здравствуй, Леус, — встретил Константин знакомого офицера, — давно я тебя не видел.

— Это верно, на фронте день не увидишься, считается давно.

— Что ты сегодня грустный? Дома, что ли, не в порядке?

— Нет, просто весь день я сегодня не в себе. Предчувствие какое-то скверное. Скука, тоска. Сердце разрывается, а причину не пойму. Всю войну провоевал, а тут без причины...

Знакомый звук шестиствольного немецкого миномёта заставил их замолчать. Сильнейший взрыв потряс воздух и землю, прижал к бру-

стверу. И тут же вой и шелест снарядов, направленных ответно в сторону немецкой обороны.

— Жив?

— В порядке, — ответил Леус, вставая.

В шести метрах от них коптила огромная воронка.

— Мощно, — произнёс Леус и вдруг замер. Константин проследил его взгляд и остолбенел. Резко заглохла спина и ниже. В полуметре над головой в стене дома торчал огромный стабилизатор застрявшей неразорвавшейся мины.

Офицеры мгновенно с ужасом смотрели на эту готовую взорваться в любую секунду мину и что было сил кинулись прочь от смертельного места. Взрыв застал их в полусотне шагов. Только теперь они остановились и отдышались.

— Да, поговорили, — с деланным смехом сказал Леус, — знаешь, Костя, я здорово испугался.

— Да мы оба прилипли от страха. Это от неожиданности. Когда идёт бой, всё гремит, где твоя смерть, где чужая, ты не слышишь и не видишь, не до того, чтобы разбираться. Даже когда приходилось схватываться в рукопашную, страшно только на подходе, пока не сойдёшься в штывы. Потом как во сне: колешь направо-налево. Или вот ещё, лежал я однажды, так снаряд прошёл подо мной. Почувствовал даже, как земля вспучилась, зашевелилась, а снаряд взорвался позади. Меня даже не задело, а тут...

— Я слышал от некоторых, что они провоевали четыре года, ни разу не ощутив страха. Ни за что не поверю, и никто из фронтовиков не поверит. Так трепаться можно только перед женщинами. Видимо, эти храбрецы вообще не видели фронта, — размышлял вслух Леус. — Ладно, Костя, пошли к своему войску. Ты всё проверил?

— До перестрелки было нормально.

Судя по всему, наши артиллеристы придавили батарее шестиствольных миномётов, однако продолжали долбить немцев, разбили форты вчистую, так что огонь со стороны противника значительно ослабел.

Фронтовики пишут обычно бодрые письма, чтобы отогнать тревогу у близких людей, а в действительности в душе солдата спокойствия не было.

Константина беспокоила нога: открылась старая рана. Нога покраснела, воспалилась и опухла. Он попросил помочь Шарафудинова.

— Идите к санитарам, — сказал тот, — рана серьёзная.

— Помоги лучше перевязать.

— Вы без ноги останетесь.

— Давай, давай, перевязывай.

— А вот и санитар. Эй, старшина, поди сюда, давай работай.

Старшина подошёл, осмотрел рану, покачал головой. Затем смазал и перевязал с условием, что Константин непременно пойдёт в медсанбат.

В назначенное время поднялись в воздух штурмовики, двинулись танки, и после серии зелёных ракет поднялась и пошла пехота. Ранее молчавшие, немецкие огневые точки открыли бешеный огонь по наступающим.

Взвод Константина ворвался в дом, из которого шла интенсивная стрельба. Солдаты рассыпались по этажам; осмотрели дом, подвал и чердак. Немцев они, однако, не обнаружили.

Бодрый старичок немец и молодая женщина, единственные, кого встретили солдаты, указали на соседний дом, куда, якобы, бежали обороняющиеся.

— Шарафутдинов, отведи их в подвал.

— Не идут, говорят, здесь жили, здесь и умрём.

Старик угодливо и согласно кивал головой.

«К тому дому не подойдёшь. Вон с того форта он отлично простреливается. Надо обойти форт», — соображал Костя. В то же время он понимал, что едва начнётся перестрелка, направление потеряется, и всё пойдёт по иному.

Подойдя к чёрному ходу дома, он обратил внимание, что двери хорошо завалены всяким хламом, очевидно, намеренно. Не могли же это сделать убегающие немцы. Значит... он развернулся и побежал к комнате, в которой остались старик и женщина.

Ногой выбил дверь; те с автоматами в руках стояли у окна. Они обернулись и направили оружие на Константина. Он нажал на спусковой крючок и скосил обоих.

Карманы убитых оказались набитыми патронами, а за диваном, брошенные в спешке, — офицерские мундиры, один из которых женский.

«Да, пролапушили мы с ними», — досадовал Костя на свою оплошность. «Надо было соображать, а не слушать сказки». Он приказал обыскать дом ещё раз, более внимательно, но понимал, что это уже излишне.

Константин взгляделся в соседний дом, обдумывая, как его брать. Приняв решение, он послал две группы к дому с разных сторон, а

оставшимся по его сигналу открыть отвлекающий огонь. Да чтобы шуму побольше, да фауспатронами долбить, не жалея. Вон их сколько валяется, но только чтобы своих не задеть, когда пойдут вперёд и ворвутся в дом.

Бой за дом, в шуме и грохоте взрывов, шёл уже более часа с переменным успехом. Но вот поднесли огнемёт и прошлись по этажам; пламя прижало немцев к чердаку, они выставили белый флаг и стали выходить со словами:

— Русь! Гитлер капут.

«Что мне с ними делать? — думал Костя. — Лучше, если бы они горели, гады. Тут самим ещё пробиваться надо».

Он послал солдата; тот неожиданно быстро вернулся и очень весёлый.

— Наши вперёд вышли, кухня стоит у дома. Хорошо, тихо, не стреляют, — доложил он.

Пленных вывели. Увидев офицера штаба дивизии, Константин доложил о своих затруднениях с пленными.

— Дом вы подожгли? — спросил тот.

— Пришлось, иначе не получалось.

— Хороший пожар, нужный, он отвлёт немцев, и наши прошли вперёд. Пленных сдайте, покушайте и догоняйте своих. Только не забредите к немцам. Тут не поймёшь, где немцы, где свои. Две наших кухни приехали к врагу.

— Немцы нашу пищу не едят, — заметил Костя, — им бы винцо, шоколад, супы, второе, кофе, а у нас в котле всё меню в раз.

— Скоро конец войне, для нас, вояк, найдётся местечко в мирном раю.

— Что-то нет этого уголка у тех, кто раненым вернулся домой. Кто отмазался от фронта, тот живет.

— Ничего, вернёмся, проверим каждого.

К вечеру бой немного стих, но утром возобновился с новой силой. Каждый дом приходилось штурмовать; немцы то и дело вывешивали белый флаг, но тут же открывали ураганный огонь по наступающим русским солдатам. Однако, огнемёты и бутылки с зажигательной смесью заставили их сложить оружие.

Город взят, хотя отдельные форты продолжают отстреливаться. К ним послали парламентёров с предложением сдаться. Одних немцы не подпустили, иных застрелили.

Звуд Константина задержался в одном месте: непонятно откуда немецкий автоматчик вёл прицельный огонь. Костя приказал солдату

стрелять в предполагаемом направлении, а сам зашёл за угол дома и посмотрелся.

Немец, занятый перестрелкой с солдатом, его не заметил, а Костя дал длинную очередь. Немец ткнулся лицом в землю, да уж больше и не поднялся.

«Отвоевался Фриц, — заключил воин, опуская автомат, — а может, ранен?» Они с солдатом осторожно подошли и увидели руки, безжизненно свисающие сквозь металлическую решетку ограждения. Они повернули обратно, догоняя ушедшее вперёд родное подразделение.

Еще издали Костя различил, как Шарафутдинов, устроившись в небольшом окопчике, вырытом прямо посреди городской площади, устанавливает пулемёт в сторону уцелевших домов.

— Где остальные?

— Все целы, дрыхнут... дорвались.

— Ты дежуришь, что ли?

— Да, мы вдвоём.

Только теперь Константин заметил второго солдата, дремлющего Ясикевичуса.

— Да ведь он спит.

— Не сплю, товарищ гвардии младший лейтенант, — отозвался солдат, потягиваясь... а спать хочется.

— Потерпи, через час нас сменят три Ивана, — сказал Шарафутдинов.

— Молодцы! Кто у вас командир? — спросил, улыбаясь Костя.

— Вы, — ответил Шарафутдинов, — а без Вас я, — и тут же добавил, — был комбат Каменев, ругался, что тебя нет. Где ты застрял?

— Да вот, с ним, — показал Константин на солдата, — разбирались с одним автоматчиком. Что это у вас пулемёты, кроме твоего, смотрят друг на друга?

— Так здесь война кончилась, кругом наши.

— Установите их порядком.

— А в какую сторону?

— В эту.

— Почему?

— Сзади в домах и около тех домов наши солдаты, а с этой стороны наших не видно, — объяснил Константин, — пока светло, установите пулемёты в этом направлении.

Он назначил каждому пулемёту сектор обстрела, но при этом подумал: «А может зря, нужно ли? Не лучше ли дать поспать солдатам? Нет, не зря, иначе нельзя». Он смотрел, как солдаты устанавли-

вают колышки ограничения сектора обстрела, соединяют коробки с металлическими лентами в одну сплошную непрерывную из четырёх—пяти коробок.

С помощью Шарафутдинова Костя перебинтовал ногу, забрался в блиндаж и мгновенно уснул. Проснулся он от голосов.

— Стой, кто идёт? — голос Шарафутдинова.

— Свои, — чуть слышно донеслось до Константина.

— Стой! Пропуск!

— Какой тебе здесь пропуск? — и крепкое российское слово. — Топай сюда, будет тебе пропуск.

— Пропуск! Стрелять буду! — угрожающе сказал Шарафутдинов, и тут же густой ливень трассирующих пуль полоснул по траншее.

— Огонь! — закричал Константин, и все девять пулемётов его взвода открыли уничтожающий огонь. Однако Константин уловил, что один пулемёт замолчал. Почему не стреляет?

— Стреляй! — бешено крикнул Константин.

— Не могу, ибо сказано, «не убий ближнего своего».

— Ближнего нашёл. Стреляй!

Константин оттолкнул Ясинкевичуса, лёг за пулемёт и нажал гашетку. Повёл стволом от колышка до колышка.

Ясинкевичус лёгким прикосновением отстранил его от пулемёта и лёг сам.

Стояли лёгкий туман и темнота; встречные вспышки выстрелов исчезли.

— Прекратить огонь! — прокричал Константин.

Не стройно, не вдруг пулемёты замолчали. Звон в ушах от их рёва прошёл, будто прорвало иное звучание. Стоны и крики множества людей впереди заполнили воздух.

Тихо, без единого слова, пулемётчики трясущимися руками и не глядя друг на друга сворачивали сигарки, курили, не поднимая головы, и вглядывались в занимающееся утро.

Ясинкевичус плакал. В его сторону не глядели.

Он родился и вырос в религиозной семье зажиточного литовца в усадьбе, затерянной среди непроходимых болот. Жили они отчуждённо и лишь изредка, по необходимости посещали ближайшее село, расположенное в двадцати километрах к югу. На фронт он попал по призыву и попал в запасной полк. Только под Кенигсбергом он ощутил войну, а теперь ещё и настоящий бой, от которого не уйти. Он считал себя клятвопреступником и безбожником, но самое страшное, душегубом, ибо не мог он не знать, что убивает людей из своего пулемёта.

— Не вой! Без тебя тошно.

— Довольно нюни распускать!

— Сколько людей я погубил! — рыдал Ясинкевичус.

— Людей? — прохрипел обычно молчаливый солдат, — где ты увидел людей? Этих Фрицев? Отца, мать, брата, трёхлетнюю сестрёнку сожгли лишь за то, что мать утаила хлеб для ребёнка. Звери они, а не люди. Хуже.

— Ну не все же, — упорствовал в своём отчаянии Ясинкевичус.

«Сколько злобы и ненависти к врагу, — думал Костя. — Всё терпел, молчал, в тут выговорился. А как осторожно и умело воюет. Бойтся, что убьют раньше, чем отомстит».

А оттуда, спереди, доносились крики о помощи, и всё на русском языке. Холодный пот выступил у солдат; от ужаса зашевелились волосы.

«Неужели... — думал каждый. — Неужели побили своих?» — как зубья пилы прошлись по сердцам солдат.

— Так нас же расстреляют за это, — ужаснулся Ясинкевичус.

— Не может быть, — лихорадочно думал Шарафутдинов, — они же первые открыли огонь.

«Свой? Как же всё началось?» — каждый старался вспомнить до подробностей, но стоны отвлекали и не давали думать.

«Как же так, — думал Костя, зажимая голову и боясь потерять рассудок, — Застрелюсь!» Он поднялся, взвёл автомат и, сгорбившись от навалившейся тяжести, направился в сторону криков и стонов. Пулемётчики последовали за ним.

— Не все! Пойдут я, Шарафутдинов и... Ясинкевичус, остальные к пулемётам и быть начеку.

Они прошли несколько шагов, шквал огня отбросил их в траншею.

— Немцы! — крикнул Шарафутдинов почти радостно, прыгая в траншею. — Офицеры СС и власовцы.

— Все целы? — огляделся Костя и увидел ползущего раненого Ясинкевичуса.

— Откуда взял, что власовцы? — спросил солдат Марценко, стаскивая Ясинкевичуса в траншею.

— Они в серой форме вермахта, у СС форма темнее.

Солдаты оттаяли душой от ужаса убийства своих людей. Даже раненый Ясинкевичус улыбнулся сквозь боль, глядя, как оживились солдаты после случившегося. Пулемётчики отвечали на огонь немцев, а подошедшее подкрепление двинулось вперёд с целью захвата близлежащих домов. В одних местах немцы сдавались сами, не ожидая

парламентёров, в других обговаривали условия сдачи, но отдельные форты ещё продолжали бой. Однажды ночью, имея связь между собой, немцы незаметно вышли из двух фортов, сняли российскую охрану, порезали спящих солдат и пробились в сторону своей армии.

Так или иначе, но к вечеру немцы полностью прекратили сопротивление, город пал. Опасности, однако, таились всюду: многие самые безобидные предметы быта заминированы. Только тронь, и солдат погиб. Оставалось несколько дней до окончания войны.

Двухдневный отдых после боёв закончился, полк готовился выйти из города, чтобы занять новые позиции и добивать, гасить ещё остающиеся очаги сопротивления.

Снова артиллерийский обстрел, снова бомбёжка. Константин увидел укрытие и побежал к нему; с ним старшина роты и солдат Марценко. Первым броском он прислонился к стене из красного кирпича и оценил промежуток, отделяющий его от укрытия. А дальше...

Дальше его вместе со стеной из красного кирпича взметнуло в воздух и лишило, в который раз за войну, сознания. Взрыва он не слышал. Он открыл глаза и увидел себя сплошь засыпанным землёй и битым красным кирпичом. Всё тело болело. Потянул автомат. Осознал, что лежит метрах в десяти от дороги в развалинах разбитого снарядам дома.

«Дёшево я отделался», — подумал Костя. Он лежал, а над ним сияло крупнозвёздное небо, и он, Костя, всё ещё жив. Он встал, стряхнул с себя мусор и, шатаясь, выбрел на дорогу. Он решительно не знал, куда ему идти. «Чертова дорога! Заведёт к немцам, а наши где? Может, отступили?» — и тут он услышал скрип телеги.

Константин, не скрываясь, вышел на дорогу.

— Кто? — услышал он тревожный голос и лязг затворов.

— Живы? — закричал другой, — а може, кто другой под тебе подвизался? Як же так, — добавил он, и Костя узнал старшину стрелковой роты Кирпиченко, — по голосу чую, що вы, но не вериться. Слыхав я, що Вас убило.

— Да вот только что выполз из-под кирпичей. Бросили меня, никому не нужен.

— Да ведь искали Вас. Нашли убитого Марценко, а Вас шукали, но не нашли. Подумали, в клочья. Як Вас, здорово?

— Нет, ран не видно, но руки-ноги, и особенно голова, болят.

— Залезайте в бричку. Ужин раздам и поедем обратно в часть.

— Долго. Может, сам потихоньку пойду?

— Не, не дойдёте, лучше влезайте.

Костя с трудом взобрался на телегу, голова кружилась до тошноты. Забылся.

Кто-то тормозит, полагая, что он спит. Костя разглядел Шарафутдинова.

— Жив? Слезай, довольно спать, — радостно тянул он руки, помогая слезть. — Искали мы Вас, думали, в дым.

— Искали, так нашли бы, — поддразнил его Костя.

— Искать-то особенно времени не было. Место это немцы сильно простреливали. Даже по одному человеку бил и пулей, и снарядом, и миной. Мы с трудом проскочили, а тебя далеко, видно, отбросило, засыпало.

— Да, засыпало крепко. Наши-то, все живы?

— Все.

Костю, едва не силой, покормили. Кирпиченко, раздав еду и боеприпасы, налегке отправился обратно. Будить его не стал.

— Может, отлежится к утру, — понадеялся Шарафутдинов.

Утром Косте действительно стало лучше, хотя голова по-прежнему не соображала, была наполнена дурнотой.

Получил задачу для наступления.

«Немцы заняли оборону в таком-то районе, такими-то силами. Наша часть здесь. Задача — занять район. Первый батальон... второй батальон. Пулемётная рота — один взвод второму батальону, один расчет из него первому батальону, два взвода третьему батальону...»

— Пойду-ка я в санчасть, — сказал Константин.

— Давно бы тебе.

— Ты мой заместитель.

— Понятно.

Вот и закончилась война для Константина, и вернулся он домой, четвёртый из четырёх старших сыновей Василия Травина, гвардеец, солдат переднего края пехоты, снайпер-пулемётчик и бронебойщик, поражавший танки в самые уязвимые их места — в бензобак, смотровые щели и ствол пушки. Весь израненный, и не счесть раз контуженный.

Вернулся в чине младшего лейтенанта с единственным орденом Отечественной войны первой степени, медалью «За отвагу», но многочисленными нашивками за ранения на выгоревшей гимнастёрке.

Сражался он за Родину, которая дважды предала его: отомстила за плен штрафным батальоном и всю войну не доверяла, отказав напо-

следок в праве победителя пройти по Красной площади на параде Победы.

Константин же, преданный и униженный, до конца оставался верен своему Отечеству, русскому человеку, идеям большевистского социализма и великому кормчему.

Его заслуги были всё же отмечены. Через сорок лет после войны, за год до смерти, ему выдали однокомнатную квартиру на первом этаже и автомобиль «Запорожец», которые — и квартиру, и «Запорожец» — сразу после его кончины отобрали. Не положено, оказалось, оставлять дарёное фронтовику имущество даже его детям.

Скончался он во время прогулки на берегу местного озера. Стоял, смотрел на зеркальную водную гладь, присел на травку, очень глубоко и облегчённо вздохнул, да и умер.

Послесловие

Константину Травину приходилось в ходе войны попадать в такие ситуации, когда он говорил себе: «Это последние минуты моей жизни».

В часы фронтового затишья солдаты прощались с жизнью: писали предсмертные записки и прятали их в маленький кармашек брюк. Кто постарше, молились, иные смахивали слёзы. Все они страшились смерти, и тем более, в неизвестности, ибо близкие не узнают, где и как родные их воины сложили головы. Умирать тяжело и старику, а тут крепкие молодые мужчины обречены на смерть и с трепетом ждут её, неминуемую. Солдаты проклинали войну, всех и вся, свою судьбу, и надеялись рассказать правду, если выживут.

Константин выжил, и он решил рассказать правду о войне.

Он воевал в пехоте и гордился этим самым опасным и самым неблагодарным родом войск. Пехотинец ведёт бой, питается, отдыхает, всё под огнём противника и без крыши над головой. Где залёг, там и жильё. Главный командир в пехоте на передовой линии — сержант. Офицеры выживают не более двух, трёх боёв. Говорят, командиры полков ходили в атаку вместе с солдатами. Константин такого не наблюдал. Приходилось видеть командиров рот, но редко, и то при незначительных перестрелках. Обычно солдаты остаются одни.

Ближе всех к противнику пехота. Позади миномётчики и артиллеристы, выбирающие себе скрытные позиции, ещё дальше от переднего

края находят место для войны связисты, управленцы, снабженцы, медицина и прочие тыловые службы.

Значительно дальше дислоцируются штабы дивизий и корпусов, и все они числятся действующими фронтовиками, с обязательным фронтовым бесперебойным, в отличие от пехоты, довольствием, многократно лучшим, даже в сравнении с госпитальным.

Словом, у каждого вида и калибра оружия своя передовая позиция, но все они позади пехоты. Из сказанного ясно, что понятие фронтовик ещё не определяет степень опасности, которой подвергался воин, а лишь ранения да похоронки.

В войне, особенно в её начале, постоянно ощущался недостаток боеприпасов, еды, махорки. Если были боеприпасы, ещё терпели: можно вести бой. Об остальном забывали. В наступлении нередко воевали трофейным оружием: в германской армии недостатка в нём не бывало.

Один врач, осматривая Константина, произнёс:

— Всё здоровье отдал войне, и в чём душа держится.

Костя не мог вспомнить, где происходили сражения, даты, фамилии солдат, номера войсковых частей, в которых воевал. Как же получилось, что стёрлось в памяти такое важное и отчаянно интересное? Видимо, всё дело в том, что после каждого ранения он попадал в иную войсковую часть, где и люди другие. После серьёзного боя убывает около трети солдат: одни уходят в вечность, другие в госпиталь. Поступает пополнение, и снова в бой. Где тут помнить: едва познакомишься с человеком, как его уж рядом нет. На встречах ветеранов-фронтовиков пехотинцы обычно тщетно ищут глазами знакомые лица, и их самих никто не узнаёт. Частые переформирования войска вконец запутывают дело.

Пехотинца отличают от воина иных родов войск многочисленные ранения и решительное нежелание рассказывать о войне. Практически нет пехотинца, солдата передовой линии, не имеющего ранения. В наступлении пехота обычно растягивается в глубину до километра. Противник ведёт стрельбу по всем наступающим, но в особенности по передним, а впереди только пехотинцы. Находились желающие отстать, всё же так безопаснее. Когда у Кости открылась старая рана на ноге, он иногда вынужденно отставал, и только тогда он однажды увидел фотокорреспондента. Конечно, и здесь опасность огромная: снайперы не дремлют и выбирают цели по вкусу.

Интересная особенность пехотинцев: чем больше у солдата нашивок за ранения, тем меньше орденов. Разве что медали «За отвагу» или

«За боевые заслуги». Командиров радовало, когда с пополнением приходили солдаты с нашивками за ранения; они опытные и надёжны в бою, но одновременно они олицетворяли собой солдатскую судьбу, передовая — госпиталь, передовая — госпиталь, если остался жив. Солдаты с боевыми наградами, но без нашивок за ранения причиняют в бою больше хлопот, чем пользы. Таких, скорее всего, за некую провинность изгнали из тыловой безопасной службы. Воины безошибочно определяли его биографию. Служил в тылу, кому-то был нужен, награждали, кому-то не угодил, направили на передовую.

Такие служаки дрожат за свою шкуру и непременно станут искать случай вернуться в тыловое подразделение, к которому привыкли. Обычно, если они оставались в живых, их вновь отзывали в тыл. Именно такие фронтовики после войны станут кричать, что это они спасли родину от фашизма, они проливали кровь за всех живущих и вставали из окопов в атаку с именем Сталина.

Для пехотинцев готовилось горячее питание, вот только доставить его под огнём противника было непросто. Вот и жевала пехота сухари. Самый надёжный источник боепитания — лопата, штык, да оружие противника. Костя свою сапёрную лопату сохранил даже в госпитале: сколько раз она спасала ему жизнь! Её обнаружили под матрацем его койки; врачи и раненые приходили смотреть. Он отстоял свою лопату и прослыл чудачком.

Жесткая, если не сказать, жестокая школа лейтенанта Бекичева в Ташкентском пулемётно-миномётном училище выковала из Константина хорошего воина. Он мог быстрее иных «закапываться» и надёжно знал приёмы рукопашного боя.

В фильмах и книгах показывают солдат в блиндажах, в бревенчатых о трёх накатах землянках, а Косте за всю войну пришлось только дощечки под головой. И зимой, и летом, во всякую погоду, а вернее сказать, непогоду, одна крыша над головой — небо. В обороне, прежде всего, отрывают ячейки для стрельбы лёжа. Они-то и оставались всю войну основным оборонительным полевым сооружением. Рыть хорошо оборудованные траншеи обычно нет времени, сил, да и желания.

Ячейки эти напоминали звериную нору: вход узкий, а дальше лежище на два—три человека. Вход прикрывали плащ-палаткой. В ячейках прятались не столько от обстрелов и бомбёжек, сколько для сна в относительном тепле. Духоте, но тепле. Любая палка использовалась для подпорки от обвалов.

Спали и в траншеях, согреваясь взаимно своими телами. Если в траншее стояла вода, а это было нередко, то вылезали за бруствер и

спали, положив голову на камень вместо подушки. При этом старались, однако, не представлять собою мишень для противника.

Насквозь пропитанная сыростью одежда была благодатна для вшей. Они размножались поколение за поколением, и не было им погибели, и не было от них пощады солдату. Ночные заморозки превращали одежду в ледяной панцирь, который ломался и трещал при движении, а жестокие укусы вшей, прощупывающихся даже через гимнастёрку и бельё, не давали покоя. И он, солдат Константин Травин, в окопе, скрючившись в безнадёжных попытках согреться. Порою хотелось расслабиться и покориться гибели, чем терпеть такие муки. Удерживал могучий инстинкт жизни и опасение опозорить себя перед родными.

Война пропитывает человека сильнеешим страхом; люди, утверждающие, что на фронте они не испытывали страха, лгут. На передовой линии в пехоте страшно вдвойне. Было ли страшно Константину? Ещё как! Особенно после госпитального рая ощущалось, как хороша жизнь. В свои двадцать лет Константин стал седым.

Страх и трусость, однако, не одно и то же. Солдат обычно старался скрыть свой страх, не дать ему овладеть тобой, после чего приходит трусость. В этом смысл. Проявить трусость означало обезоружить себя и наверняка погибнуть. Костю однополчане почитали храбрым, но знали бы они, чего стоило ему содержать себя в этом достойном геройском состоянии. До сих пор ему снятся кошмары войны. Опытный солдат рассуждает так: увидел или услышал опасность, мгновенно пойми, что это такое, обезопась себя, а уж затем бойся, сколько твоей душе угодно. Тем не менее, страх нередко охватывал Костю, к счастью, не надолго и не очевидно для других.

Как «пропадают без вести»? Похоронные команды, подбирая убитых, часто не обнаруживают их документов, или те могут остаться на вражеской территории, попасть в плен. Немало солдат остаются раскиданными по земле и на ветвях деревьев в виде фарша из человеческой плоти. Они тоже пропали без вести. Всех этих исчезнувших воинов заносят в списки «пропавших без вести».

Костя на войне не верил в победу, по крайней мере, в ближайшие пятнадцать лет. На передовых позициях пехоты постоянно не хватало солдат, военной техники, продовольствия, в то время, как германские аэропланы чуть ли не до конца войны ходили по головам; он изрядно ощутил это на себе в Восточной Пруссии в феврале сорок пятого, когда пришлось даже сильно отступить.

После ранений ему не раз предлагали остаться на военной, но более безопасной службе, однако он неизменно отказывался, и его возвращали на передовую. А как хотелось дать согласие! Если бы предложение прозвучало в виде приказа, тогда, возможно, и даже скорее всего, оно заглушило бы стыд и чувство солдатского долга. А так, нет.

После штрафбата сражался в штурмовых отрядах и в разведках боем. За войну Константин получил девять ран. Одна рана случилась особенно тяжелая; ему порвало кишки и отрубило часть лёгкого. Не единожды контужен; долго заикался. Наград мало. Пока соберутся составить наградной лист, он уже в госпитале. Награды нужно кому-то давать, вот и награждали тыловые службы. Те всегда на месте.

Костя, несомненно, воевал героически, но героизм его был совершенно российским и означал бесконечное терпеливое исполнение тягот и ужасов солдатской фронтовой службы, вплоть до самой гибели.

Когда отбирали воинов для парада на Красной площади, хотели и Костю, но особист подсказал командиру:

— За Травиным плен и штрафбат.

Это клеймо он так и не смыл своей кровью за всю войну. И парад победителей прошёл без Константина Травина.

Константин многожды пытался нанести на бумагу свои воспоминания о войне, но всё у него перепутывалось в один сплошной бой, и наваливалось, давило тогдашнее ощущение безнадёжности из-за отсутствия еды, патронов, курева. Много своих отпусков потратил он на поиски места боя под Прохоровкой. Надоел архивным службам своими просьбами и запросами; всё безрезультатно. Искал не для того, чтобы получить запоздалые награды, хотелось восстановить в памяти имена погибших солдат, спящих в безымянных и безвестных могилах. Успеет ли?

После боя с танками на Орловско-Курской дуге на него составили наградной лист для присвоения ему Героя Советского Союза посмертно; поверх текста красными чернилами наискосок начертано: «Находится в плену у немцев, как ведёт себя, неизвестно. От присвоения героя воздержаться».

Да и был ли этот великий бой Константина с танками под Прохоровкой? Не выдумал ли он его, не собрал ли по эпизодам из всех сражений? Из всех участников того боя в живых остался сержант Лопатин Николай, но где он? Бой был, несомненно, истинно был. Это проверял СМЕРШ, а эти ребята не ошибаются. Однако, он забыл название посёлка, с трудом и смутно припоминал зрительно лишь два деревянных дома. Забыл номер полевой почты, полка, дивизии, без чего архи-

вы бессильны помочь. Последняя надежда оставалась на память тамошних стариков.

Зато хорошо, крепко, на всю жизнь запомнил духоту летнего дня, избитые тысячами солдатских ботинок грунтовые дороги и тучи едкой горячей пыли. Отлично помнился райский отдых в госпитале после лёгкого ранения в руку. Отоспался. Врачи знали, если раненый спит подряд, не просыпаясь, трое, а то и четверо суток, значит, он из передовой позиции пехоты. Они берегли его целительный сон, не будили. Тепло, сухость и отсутствие вшей ощущались даже сквозь беспробудный сон, который пересиливал боль от раны. Срок лечения сокращали, однако, до предела, чтобы как можно скорее возвратить солдата туда, где его катастрофически не доставало, на передний край. Солдаты передовой позиции не верили, что выживут в таком аду, хотя... где-то пряталась и изредка проблескивала надежда, мечта о возможном чуде.

Вышел на пенсию, полагая располагать большим временем для поисков, как вдруг отказали ноги. Он с трудом ходил, и надежда на свои собственные силы растаяла, как дым. Фронтовики-пехотинцы умирают от ран чаще всего под светлое утро, пережив кошмар ночи. Чудом, ценой сверхпереносимого напряжения жили они в войну, и теперь мирная жизнь и сопутствующие ей расслабление и успокоение стали для них смертельным ядом; защитные механизмы исчерпали себя. О как хотелось в войну заболеть, хотя бы на недельку, вволю поесть свой фронтовой паёк, избавиться от вшей, отоспаться в тепле... но ни одна хворь не брала напряжённый в борьбе за жизнь организм. Но вот закончилась война, и открылись давно забытые раны.

Однажды из внезапно заболевшей ноги Константин извлёк тридцать два осколка, а когда, в каком бою они попали в него, вспомнить не мог. Вроде иногда ощущал тяжесть в ногах, но ходил, вроде, нормально.

Было бы непоправимым упущением с моей стороны промолчать о человеческой натуре Кости, её своеобразии и одновременно довольно распространённой среди людей, рождённых жить в период большевистской власти, о его жизненной философии. Она рельефно представляла тип большинства молодых людей того указанного выше периода. Показывала, как режим власти по своему усмотрению способен лепить человека.

Порою меня охватывало жгучее желание поправить его поведение, показать его иным, более естественным, по моему мнению, однако у

меня, к счастью, всегда хватало выдержки, и я вовремя удерживал себя от такого пагубного поступка. Сделай я так, и получился бы уже не Константин, а совсем иной человек, то есть вышла бы фальшь. Я же пишу быль и не вправе уклоняться от истины.

Он никогда не думал о карьере. Вернувшись с войны насковозь израненным инвалидом, он оказался ввергнутым в иную войну, с голодом. Пенсии едва хватало на буханку хлеба, а младшие братья, сёстры и мать пухли от недоедания. Он стрелял галок, воробьёв, копал мёрзлую картошку на колхозном поле, хотя сам еле таскал ноги. Весной пошла крапива, щавель и прочая зелень, вернулись с войны менее изуродованные братья, Борис и Николай, стало немного легче. Увы, Ивана и отца Травиных война унесла в небытие.

Тяжелейшая послевоенная жизнь показала Косте несправедливостью. Он полагал, что к фронтовикам следовало бы относиться лучше, но видя, какие лишения претерпевают люди вокруг него, он ощутил зов совести. Любая льгота одним, пусть даже заслуженным, фронтовикам возможна за счёт бедных людей. Как же можно принимать такие привилегии?

Он стал размышлять о своей жизни, оценивать своё поведение в войну.

Нет, воевал он по совести, в этом он не мог упрекнуть себя, но справедливо ли он оценивал поступки других людей по отношению к себе? Вот случай в Карагандинской шахте. Ведь сказал же он «хоть бы голову сломал», и человек сильно покалечился. И получается как бы диверсия. Можно ли винить следователя, обвиняющего Костю в преступлении? Конечно, нет.

Теперь плен. Попал он, будучи без памяти, но приходил в себя и на допросе назвал номер войсковой части, ничего другого он выдать не мог, потому что не знал. Но немцы могли его завербовать и отпустить. Кто кроме него самого мог утверждать, что он не предатель или шпион? Никто. То, что жители спрятали его, ещё не оправдание. Убеждён ли был следователь в его невиновности? Конечно, нет.

«Будь я на месте следователя, — размышлял Константин, — я бы врезал этому умнику как следует, а он, следователь, после проверки сам привёл меня в наградной отдел. Он поверил мне. А вот при отборе офицеров для парада на Красной площади со мной поступили несправедливо. Мне так хотелось попасть не столько на Красную площадь, сколько в Москву. Я никогда там не был».

А вот как он понимал происходящее в России.

«После гражданской войны и Антанты русский народ, проживающий в средней полосе европейской части России, а именно: в Тульской, Московской, Орловской, Курской, Рязанской, Калужской областях, на Украине и в Поволжье, оказался в полной разрухе. Нечего есть, нечем сеять. Виноват ли в этом несчастье сам народ? Нет и ещё раз нет. Русский народ трудолюбив и устойчив к несчастьям; он воевал, а тем временем его личное хозяйство приходило в запустение.

В семьях ждали кормильца, а тот если и возвращался, то израненный и неспособный к тяжёлому крестьянскому труду. Люди пухли и умирали с голода, в то время как в других краях страны на каждого жителя приходились десятки лошадей, овец, коров, верблюдов. Богачи не желали делиться с голодающими, и наоборот, наживались на их смертях, а ведь эти несчастные были более достойны нового общества, которое строила большевистская власть.

Богачей полунасилованно заставили помогать беднякам, и это привело к появлению ярых, средних и малых врагов большевистской власти, но зато приостановило голод. В 1932 русские области заполнили нищие из Украины, где случился неурожай, и русский человек делился с ними последним куском.

Жизнь в стране постепенно улучшалась, хотя и медленно, однако зашевелились внешние враги. Раньше они надеялись, что Россия сама помрёт с голода и разрухи. Она же, наоборот, росла и поднималась. Пришла необходимость вооружаться и обороняться от капиталистов, жадно глядящих на наши земли. Но страна бедна, и взять средства на оборону неоткуда, кроме как у народа.

Великий непревзойдённый теоретик и практик Ленин умер, не оставив после себя полноценной замены. Мы росли уже при Сталине. Наши отцы и деды, сравнивая жизнь в царской России и после революции, увидели перспективу социализма, поверили и пошли на строительство новой жизни. Они стали отдавать себя полностью для родины и не мирились с теми, кто сопротивлялся такому направлению жизни. Так родился народный режим, названный позже врагами и недругами как сталинский.

Враг был очень хитёр: он доносил на честных людей, а следственные органы, будучи ещё неопытными, допускали ошибки.

Жизнь была тяжела, хлеб ели по маленькому кусочку, а мясо лишь по большим праздникам. У нас в хозяйстве водилась корова, два—три поросёнка и до пятидесяти кур. Но продукт от этого мы отдавали в виде налогов. Можно вроде проявить протест, но люди

понимали, что это не чья-то прихоть или ошибка, а единственный капитал для укрепления мощи родины. К тому же, не всё уходило в налог: семье оставались потроха животных, ножки, головы, а это немало. Расхода на корм животным почти не было: шли в корм картофельные очистки, отходы свёклы, огурцов, капусты. Заготовка сена ложилась на детей.

Взрослые от темна до темна работали в поле, однако их труд не приносил семье удовлетворительного дохода. На прополке огородных культур записывали половину трудодня. При хорошем урожае выдавали на один трудодень сто граммов муки и немного картофеля, капусты и свёклы. Самый лучший работник за весь год мог заработать не более 300 трудодней и получить за этот труд 30 килограммов муки и двести килограммов картофеля, свёклы и капусты. Для одного человека мало, но ещё куда ни шло, а в семьях по десять—двенадцать ртов.

Можно иметь детей поменьше? Кто бы тогда защищал родину!

То было время выживания единственного в мире социалистического государства. Друзей, кроме Монголии, не было, и вокруг озлобленный вражеский мир капитализма.

Ни одна страна не устояла против сильнейшей в мире Гитлеровской коалиции. Мы были слабее по мощи вооружения, опытности солдат, но победили. У нас на вооружении был русский идейный патриотизм, без которого народ возможно сманить или перекупить. Наш патриотизм — это непоколебимая вера в социализм, как единственно верный путь человечества, вера в линию партии, правительство и самого Сталина.

Главную роль сыграла, прежде всего, вера именно в самого Сталина. Слухи о Сталине сводились к тому, что живёт он почти солдатской жизнью, без каких-либо излишеств. Народ полагал, раз он живёт не для своей наживы и не имеет средств в швейцарском банке на чёрный день, значит, он за народ и верит в долголетие социализма».

Далее Костя вспоминает, в каком восторге пребывал он и школьники в течение получаса встречи со Сталиным. В то время видные люди страны ездили отдыхать поездами, ездил и Сталин.

«Школа располагалась вблизи вокзала, и вот однажды один ученик провинился, и его выставили из класса. Мальчик вышел на платформу, увидел Сталина и подошёл к нему.

Ученики, увидев это, стихийно выбежали из школы и окружили Сталина. Учителя не решились остановить детей, и тем более приблизиться к Сталину.

Встреча оказалась случайной, и это обстоятельство расслабило Кормчего до обыкновенной человечности.

Сталин спросил у провинившегося ученика:

— Ну, как ты учишься?

— Хорошо, — смущённо ответил мальчик и добавил, — а вот эта девочка отличница.

— Молодцы, — сказал Сталин и посмотрел на детей очень тёплым любящим взглядом.

Сталин говорил, шутил с учениками, а они смущённо бормотали «да» или «нет».

Сталин дал по апельсину отличнице и хорошему мальчику.

— Спасибо, — сказали те.

Сталин рассмеялся, извинился, что не захватил ещё апельсинов. Лицо его весёлое, добродушное, и он легко улыбался. Это было натурально, иначе дети подделку заметили бы.

— Нужно обязательно хорошо учиться, чтобы, когда подрастёте, могли нас, старых, заменить, — сказал Сталин.

Дети вразной обещали хорошо учиться. Сталин не казался им старым, а лишь немного старше их родителей. И они поняли, что Сталин любит детей.

Поезд стоял полчаса. Столько же Сталин беседовал с детьми. На лесенке школы стояла учительница с колокольчиком в руке, но не смея прозвонить начало урока. Удивляло, что находились дети, не потерявшие от волнения дар речи. Один из старших учеников задал вопрос, который волновал всех, даже малышей.

— Иосиф Виссарионович, вот есть герои революции и гражданской войны, герои труда, не осталось белых пятен на Земле, и нам ничего не остаётся. Куда нужно идти работать, или лучше стать военным?

Сталин, по-прежнему улыбаясь, удивлённо посмотрел на мальчика, затем оглянулся на свою свиту, словно прося поддержки, немного подумал и уже серьёзно ответил:

— Нет ни одной специальности, ненужной стране, но есть ещё плохие специалисты, дающие мало пользы. Мощь нашей страны или её слабость зависят от того, что даёт каждый из нас делу. Сколько колхозник или слесарь недодал сегодня стране, настолько беднее будет родина. А выбирать следует не ту специальность, где дела идут хорошо, а где дела идут пока ещё плохо, чтобы научиться самому делать лучше и затем учить других работать лучше.

Вам самим нужно решать, что достойно вас, что вы в силах сделать не в будущем, а сразу после школы. Отлично, если у вас есть мечта

стать гением, но нельзя сложа руки сидеть и ждать своей гениальности. Так не получится из вас даже посредственного работника.

Гении не рождаются, ими становятся те, кто не брезгает черновой работой и выполняет её только на отлично. Можно легко выучиться на учёного, но не стать полезным, если обходил трудности и ничего, кроме формул, не знал.

Будет ли война? И это зависит от всех нас вместе. Будет страна крепка — не будет войны. Так что, что вы не выберете, всем будет на пользу, и вам, и стране хорошо.

Не останавливайтесь на достигнутом, а улучшайте своё дело, учитесь и учите других. Но это не всё, особенно для будущих мужчин; закаляйте себя для службы в Красной армии. Сила нашей армии — охранная грамота от нападения врага.

Девочка смущённо пробормотала:

— Можно Вас потрогать?

— Это зачем? — удивился Сталин и расхохотался.

— Не верится, — сказала девочка.

— А щипаться не будете? А то не доеду до Юга, — смеясь, сказал Сталин.

— Нет, мы тихонько.

— Ладно, трогайте.

Десятки рук потянулись к одежде Сталина. Костя, преодолевая робость, двумя пальцами ухватил складку гимнастёрки у локтя и слегка сжал. Сталин погладил учеников по плечам и попрощался.

— До свидания.

Ученики громко вразнобой попрощались с ним и замахали руками, когда Сталин вошёл в вагон и встал у окна. Поезд тронулся. Тут же прозвучал школьный звонок, и ученики возвратились к занятиям».

Больше месяца органы НКВД допытывались у отца, почему его сын, плохой ученик, обманул Сталина.

«Единственно верная народу партия большевиков, — продолжал Костя, — руководимая Лениным, была малочисленна, но даже это число в большинстве было малограмотно, и неустанно требовались указания сверху, до самого Ленина. Указания Ленина из-за отсутствия связи намеренно застревали в многочисленных инстанциях.

Было принято решение привлечь старых специалистов для восстановления хозяйства, но они в своём большинстве происходили из зажиточных слоёв. Их не устраивало скатывание от обеспеченности к пайку из пары картошек да воблы за целый день; да ещё семью надо

кормить. Зато они были удовлетворены морально, что служат народу, России. Работать им было сложнее, чем руководителю из народа, ибо они не были избавлены от недоверия и подозрительности народа к себе. Среди них было немало затаившихся врагов, которые вредили везде, где только можно, и всякий раз подсовывали виновником честного работника, сами оставаясь в тени.

Вредители были везде — и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Народ из последних сил восстанавливал разрушенное хозяйство и радовался успехам, а вредители снова разрушали, и народ не мог не озлобиться на тех, кто мешал строить жизнь. Это озлобление народа против своих врагов и родило народный режим, который враги всех мастей и неумные люди называли «сталинским», хотя о происходящем в стране Сталин узнавал только в общих чертах, и не было его указаний о создании режима.

Из-за стремления принести родине больше пользы народ не мог мириться с теми, кто не работал с полной отдачей. «Кто не с нами, тот против нас», — гласил народный лозунг, и он справедлив во все времена. Только почувствовав себя хозяином страны, народ, несмотря на холод и голод, вывел страну из разрухи в очень короткий срок. Правители капиталистических стран вдруг обнаружили, что новая Россия не умерла, а живёт и даже развивается невиданными темпами. Они стали готовиться задуть её».

Так размышлял Константин.

Немцы сожгли деревянную школу, разбросало по стране оставшихся в живых тогдашних школьников. Они так и не собрались больше вместе, словно стыдясь и желая вычеркнуть из своей памяти самые дорогие годы своей жизни.

Неотправленное письмо писателю, Герою Советского Союза Владимиру Карпову, которое автор обнаружил в выдвижном ящике письменного стола в квартире Константина Травина через неделю после его кончины.

Я долго размышлял, стоит ли вводить это письмо в книгу, опасался отяжелить повесть, но всё же решился. Слишком уж убедительно письмо рисует натуру Константина, а это самое главное — показать истинного человека без слюней и мёда.

«Товарищу Карпову.

Прочитал Вашего «Полководца», и стало мне досадно. Изнеженность Вашего воспитания, само возвеличивание, полное непонимание

жизни нашей страны, страстное желание сделать карьеру, вот что видится в Вашей писанине.

Хотя Вы и называете себя писателем, но нет у Вас веры в партию, правительство и его вождей, в социализм, необходимой для воспитания молодёжи в духе честности, справедливости, добропорядочности.

Личная обида за прерванную карьеру застелила Вам глаза. Вместо того, чтобы проанализировать, понять свои ошибки, обстановку того времени, где «кто не с нами, тот против нас» и «каждый для всех, все для каждого», Вы задним числом мстите тому времени.

Когда Вы кричите, что «Ваше величество» обидели, это вначале настораживает, а затем вызывает сомнение в Вашей искренности и оценке самого себя.

В двадцать лет, изуродованный войной, я вернулся домой инвалидом войны второй группы и вынужден был с младшими братьями и сёстрами пухнуть с голода. И я обижался, что «моё величество» безвинно пострадало.

Тяжёлые работы я выполнять не мог, а на лёгкие не брали за плен и штрафной батальон.

«Как же так, я же советский человек, преданный родине», — задавал я себе вопрос.

Но другие этого во мне не видели. В чём же они виноваты? В том, что ещё не изобретён прибор для определения доверия человеку? Кто скажет, кому доверять, а кому нет?

Старший брат в начале войны попал в плен, за побег был заключён в лагерь для уничтожения, но мой полк спас его.

Второй брат сбит над Смоленщиной, воевал в партизанах.

Третий брат, танкист, сгорел в своём танке под Прохоровкой, где я попал в плен.

Отец, израненный, умер дома незадолго до победы.

В одном из боёв, в исключительно выгодной позиции в заслоне мы вдвоём с другом уничтожили из ПТР двадцать немецких танков. Сколько мы покосили немцев из пулемёта, не знаю, но много.

Я не считаю это подвигом, но меня посмертно определили к званию Героя Советского Союза. Однако, тел наших не нашли и от присвоения звания воздержались. Очнулся в плену. Бежал.

После допроса в СМЕРШ меня отпустили. Перед боем начальник штаба оскорбил меня пленом. Я назвал обидчика тыловиком. Он мне пощёчину, я ему в физиономию. Трибунал. Три месяца штрафного батальона.

После штыкового ранения в руку меня перевели в обычную часть.

Теперь смотрите.

Кто знал, что я в плену не продался немцам? Никто.

Я попал в штрафбат за гонор и драку, виноват я? Да.

После войны мне не доверяли за плен и штрафбат. Можно таким верить? Нет. Слишком много обиженных было тогда, чтобы верить.

Настоящий писатель, а не самозванец, должен и прошлое описывать на фоне будущего, видеть будущего умного, образованного человека, видеть, что из прошлого принесло вред, а что пользу для будущего.

Верить, как никто, в правильность нашего пути, видеть на шаг вперёд и знать, что только общественный взгляд на мысли и поступки каждого единственно научный и правильный.

Возможно, с Вами ошиблись, хотя лично я считаю болтунов вредными для нашего общества явлением; их чаще других шпионы используют для выведывания секретов, а вражеская пропаганда использует их как «голос» нашего общества.

Вряд ли когда для нашего общества будет полезно неверие в главу правительства. Это возможно только в сборище индивидуалистов, а в нашем, единой семье, вера в партию, в идею, правительство и его главу должна быть безграничной, и она была у нас: вера в товарища Сталина.

Вы воспитывались далеко от центра Советского Союза, а мы намного ближе, и видели, что вера в Сталина двигала всеми нами на трудовой подвиг и на сверхчеловеческий подвиг в войну, и мы знаем, что такая вера русского народа в Сталина дала нам силы для укрепления родины, а потом для победы.

Изо всех сил мы работали и воевали; малейшего недоверия хватило бы для того, чтобы мы работали и воевали вполсилы, и это стоило бы миру потерей социализма на долгие годы. Вы не поняли, что с самой революции готового социализма не было, а только борьба за его выживание.

Прочитавший Ваше произведение, но не принявший сердцем, Константин Травин».

От автора

Чудовищно.

Кормчий вогнал население в такой страх, убивая и гноя в тюрьмах и Гулагах, что многие люди от души возлюбили его, а остальные всё равно громко кричали о своей любви и преданности, да ещё и доносили на тех, кто не разделял их верноподданнические чувства, то есть, на

инакомыслящих. Которые, несомненно, враги народа потому, что они мешают кормчему строить социализм и совершать дела, угодные народу.

Кормчий организовал и создал режим экономических нелепостей и тотального ужаса.

Миллионы жертв его режима сгнили в безымянных могилах, а этот величайший циник и палач покоится на Красной площади под пристойным памятником.

И он воспитал, а по сути, создал людей с такой придавленной психологией, что они не видели за идеями о светлом будущем всего этого ужаса и не видели палача над собой, мучителя, который ради спасения своей шкуры и власти бросал людей в страдания и смерть.

Жизненная философия Кости хорошо иллюстрирует сказанное.

Сам из бедных, придавленных большевистской властью сельских жителей, брошенный в бойню, перенёсший нечеловеческие страдания в войне, он нашёл в своей душе оправдание всего этого ужаса, оправдание власти и несомненно сохранил величайшее уважение к кормчему. Возможно, он не столько верил в непорочность власти, сколько боялся потерять почву под ногами, которой был для него социализм. Это прекрасное, но, увы, утопичное общество.

По натуре очень сочувствующий людям, Костя, если с ним поступали несправедливо, неизменно находил оправдание своим обидчикам, даже очевидным злодеям. Врать, а тем более фантазировать он не умел, а если случалось, то выходило нелепо, неестественно и резало слух очевидной фальшью.

Если мне удалось изобразить хотя бы в малой доле судьбу добрых Травиных, то это в любом случае не больше, чем может уместиться на кончике пера, и я честно признаю свою ограниченность и бессилие в своих попытках выразить всю глубину изведанных ими мук и страданий.

В начале марта 1953 года я находился в Москве, когда население оповестили о кончине бессмертного Кормчего. Власти находились в сильнейшей растерянности: не знали как вести себя и что делать. Говорят, что прошло несколько дней после его смерти, а страна всё ещё пребывала в неведении об этом важном событии.

Неудержимое всеобщее восхваление Кормчего возвело его в сверхъестественный народный символ жизни — культ-идол. Неудивительно, что смерть его, этого идола, была воспринята задурённым народом как катастрофа для всех и каждого человека в отдельности. Исчезла опора в жизни, померк свет, стадо неминуемо погибнет.

— О горе нам! Горе всенародное!

Миллионы людей бросились ко гробу, дабы в последний раз взглянуть на Кормчего и проститься с ним. Взглянуть хотя бы на мёртвого, великого и непревзойдённого сверхчеловека, отца родного.

Седобородый старик стоял в толпе и шептал:

— Рано, рано ты ушёл от нас! Что теперь будет?!

Бедно одетая мать с двумя детьми стояла возле толпы и просила пропустить:

— Дайте взглянуть на нашего отца!

Седобородый старик и женщина с детьми погибли в чудовищной давке на Трубной улице.

— Всё кончено, — шептали другие. Они не сомневались, что жизнь прекратится, ибо жизнь без Кормчего невозможна. Все стонали и плакали, не стесняясь, даже мужчины.

Ещё люди следили, чтобы горе выражали все. Спокойное лицо выглядело кощунственным, безусловно подозрительным и вызывало всеобщее возмущение и осуждение.

Между тем, моё внимание привлекла молодая пара, своим поведением контрастно выделяющаяся на общем фоне. Юноша с гитарой и девушка стояли у чугунного ограждения сквера, при этом они были совершенно поглощены собой. Лица их светились нежностью и выражали взаимное чувство. Изредка они безразлично взглядывали на толпу и, скорее всего, даже не видели её. Юноша что-то сказал, близко наклонившись к её лицу. Та рассмеялась и ласково шлёпнула его по плечу. Он тоже рассмеялся и провёл по струнам.

«Не пробуждай воспоминаний минувших дней...» — тихонько запел юноша, и гитара зазвенела. Душевные звуки романса пролились освежающим ветерком в тяжёлой атмосфере всеобщего смятения, подобно тому, как чистый озонный воздух после дождя освежает предгрозовую духоту.

Девушка не отрывала от него восхищённых глаз.

— Бесстыжие, как вы можете! — услышали они, но не приняли это на свой счет.

— Замолчите сейчас же! — женщина кричала почти в истерике. — Как вы можете, в такой день, — повторила она.

— Тебе сказали, замолчи. Ты что, оглох? Так я тебе уши прочишу! — зарычал мужчина.

— Прибить этих гадёнышей, — пробасил мордастый в полувоенной фуражке, выражая общий настрой.

— Как твоя фамилия? — подступил к юноше жилистый, вёрткий экземпляр и уже приготовил записную книжку и авторучку.

До молодых людей, наконец, дошла серьёзность ситуации. Юноша подхватил подругу за руку, и они унеслись прочь, провожаемые негодующими криками.

Я почувствовал на себе взгляд, оглянулся и увидел мужчину лет сорока с лицом, выражающим доброжелательность и внимание. «Хорошее лицо», — подумал я. Мужчина приветливо улыбнулся мне и приблизился.

— Прошу Вас меня извинить, — произнёс он как-то по-особенному деликатно, — но меня потянуло к Вам, и я не сдержался. Очень уж разительно Вы отличаетесь от... — он повёл рукой вокруг. — И поскольку я не разделяю это всеобщее мягко говоря, настроение, — продолжал он и вдруг усмехнулся. — Ну-ну-ну, я же знаю, что Вы не донесёте на меня, — голос его прозвучал укоризненно, — Вы не такой, чтобы доносить. У доносчиков другие лица.

Так вот, мне показалось, что Вы тоже не во всём согласны с ними. И потом, это одиночество. Вы же видите, мы с Вами в пустыне и совсем одни. Молодые люди, которые только что и очень, очень вовремя убежали, не в счет, они совсем иные. У них любовь.

Итак, мы одни в пустыне. Давайте немножечко отойдём, а то нам ноги оттопчут.

А так хочется общения; человеку общение так же необходимо, как пища, — строго произнёс он, как рецепт выписал. Он оглядел толпу.

— Вы полагаете, они в самом деле, натурально скорбят? — неожиданно спросил он и с очевидным любопытством стал ждать ответа.

— Видно, что скорбят, — ответил я, — плачут и всякие слова произносят... скорбные.

— Ну, если подойти с этой стороны, — он покрутил пальцем в неопределённости, — вроде, в самом деле скорбят. Но, как бы это подходчивее выразить, скорбь-то их идёт из верхнего слоя.

— Как это? — я посмотрел на него с интересом.

— Необходимо пояснение, — согласился тот. — Кстати, извините, Андрей Дмитриевич, — представился он.

— Алексей.

«Поразительно, — подумал я, — как же подходит к нему имя. Если бы он не назвал себя, а меня спросили, как зовут этого человека, я бы ответил: Андрей Дмитриевич. Поразительно».

— Да, — угадал мои мысли Андрей Дмитриевич, — это непросто. Подумать пришлось, но зато сами видите. Так вот, я не оговорился, — возобновил он разговор, прерванный процедурой взаимного представления, — скорбят они верхним слоем. Судите здраво, кто он им, этот Кормчий, сват, брат? Если разобраться, причин для скорби у них нет. И всё же, как Вы, Алексей, выразились, они, вроде, скорбят.

— Но я тоже скорблю, — сказал я.

— Нет, Алёша, нет, Ваша скорбь совсем иного свойства. Вы скорбите не верхним слоем, а истинно, самим собой, то есть натурально, Алексеем. И, что самое главное, скорбите Вы не по утрате этого, — он пренебрежительно пощелкал пальцами, — а по ним, вот по этим хитрецам, — он показал на толпу.

Я промолчал, не находя слов для возражения.

— Смотрите, Алёша, какая у нас с Вами получается раскладка. Согласитесь, что вера в одного человека в наше время есть анахронизм, а тут не только вера. Помилуйте, да ведь они отдали ему себя с потрохами. Простите за грубое сравнение, но оно очень хорошо выражает суть, прямо-таки бьёт в цель.

Вы только вдумайтесь, они отдали ему то, что им не принадлежит, но лишь Богу. Это их первый великий грех. Но Бог истинно мудр, добр, справедлив и всемогущ, ибо он истинно Творец всего сущего и человека тоже. Богу не нужно ничего от человека, кроме веры и жизни по Заповедям.

А тот, кого они называют Кормчим, человек далеко не самый достойный. Напротив, он обременён множеством пороков, из которых не самые страшные такие, как алчность, злоба, жажда власти, мстительность, эгоизм, бесконечная жестокость. Отдав ему свою судьбу, люди сотворили дьявола, и это их второй великий грех, но... и великое испытание.

Почему так случилось? Это особый разговор, а теперь относительно слоёв.

Люди созданы очень стойкими для нравственной жизни. Если жизнь благоприятна, а люди свободны, то и нравственная их основа открыта: она в верхнем слое. Если же власть деспотична и людей подвергают террору, когда им угрожает гибель, эта основа уходит во внутренние слои, прячется, затаивается и сохраняется до лучших времён как самое ценное, что есть у человека. А снаружи, в верхнем слое, — любовь к деспоту, восхваление его достоинств, преданность ему и, наконец, великая скорбь, вот эта самая, которую мы с Вами, уважаемый Алёша, наблюдаем сегодня.

То есть, та отвратительная ложь, но она же и великая хитрость, которая позволяет людям выжить, а если удастся, то и сохранить в себе человека. Спасение во лжи.

— По-моему, есть скорбящие по-настоящему, а не только верхним слоем, — задумчиво сказал я и одновременно понял, что передо мной вовсе не Андрей Дмитриевич, а Странник из Сиреневого Мира.

— Вы правы, — согласился Странник, — и таких немало. Они в такую глубину упрятали свою благодать, что и сами её не отыщут. Возможно, они вообще потеряли её навсегда, — он печально покачал головой.

К этому моменту в поведении людей произошли изменения.

— Идите прощаться с Кормчим, идите прощаться! — слышались крики; они повторялись по многим местам и звучали, как приказ.

— Прощаться, прощаться... идти прощаться! — закричали люди.

— Прощаться, прощаться! — подхватила толпа. И это вскоре переросло в рёв.

— Прощаться!.. — редела толпа.

Хаотичное движение людей по улице прекратилось; толпа обрела форму. Люди привычно строились в колонны, как по команде возникали самостоятельные распорядители. Отработанные и отшлифованные до автоматизма приёмы управления толпой, закрепившиеся за десятилетия намертво, сработали безотказно.

— Раз, два, — колонна построена.

— Три, четыре, — колонна подравнялась, привела себя в порядок.

— Пять, шесть — начать движение.

— Семь, восемь — запомните идущих рядом с вами.

— Девять, десять — с тротуаров в свои ряды не пускать. Держать интервал, не отставать.

— Марш, марш, марш.

— Тум, грум, тум!

Команда «не отставать» была излишней. Люди старались идти как можно быстрее без понуканий. Они бесконечным непрерывным потоком стекались со всех сторон, со всяких мест и городов; они формировали всё новые и новые колонны. Колонны двигались по улицам, как по радиусам гигантского круга, к центру города, где в роскошном Колонном зале стоял гроб с телом Кормчего. После каждого перекрёстка колонны уплотнялись: несколько колонн сливались в одну. Они перемешивались, утрачивали маршевый порядок и постепенно,

задолго до приближения к центру, превращались в бесформенное движение толпы.

После Садового Кольца люди сошлись в таком множестве, что заполнили всё пространство улиц между домами. Движение продолжалось, но уже не в виде шествия, а как продавливание вдоль улиц спрессованной людской массы подобно фаршу из мясорубки. На улицах не осталось мест, чтобы отойти, отдышаться или просто уйти из этой свалки.

Но люди упорно шли к Кормчему.

Началась давка. Оказавшиеся внутри толпы, сдавленные до предела люди с трудом дышали. Их охватывало обессиляющее чувство неотвратимой гибели, страха и паники. Сознание мешалось. Упавшие не могли встать и по ним ступали, их топтали. Ступали не от жестокости или бесчувствия, а от невозможности обойти или переступить, и тем паче нагнуться и помочь.

Люди впадали в смертельное томление; слабые сердца не выдерживали и останавливались. Умершие или потерявшие сознание люди, сдавленные со всех сторон, не падали на землю, но двигались вместе с толпой. В ужасном положении находились и те, кто шёл с краёв, вплотную к домам. В своём движении толпа перетирали их и рвала в клочья о железные ограждения, двери с выступающими ручками, подъезды и иные предметы, составляющие уличную сторону домов.

Но люди шли к Кормчему.

А люди всё прибывали в город поездами, автобусами, пешком и тут же фатально устремлялись к гробу; и они шли до тех пор, пока не попадали в «чёрную дыру» смертельной давки.

И над всем этим ужасом звучала мелодия без слов, от которой хотелось плакать. Хор пел волшебную, дивной красоты мелодию «Грёзы», гениальное творение Шумана, выражающее глубокую печаль, безысходную тоску, безнадежность и скорбь.

Я увидел карлика с необычайно выразительным лицом. Он стоял, обхватив голову руками, и плакал. Поднимет глаза, взглянет на толпу и зайдётся в горьком плаче. Не переставая рыдать, он подбежал ко мне и простонал, будто пожаловался:

— Смотри, Лёша, что с ними творится.

Он тут же смешался с толпой и скрылся за углом.

Я сразу-то не сообразил, как это он меня знает, если мы с ним не встречались. Только потом понял — не простой человек этот карлик.

— Что же это с ними происходит? — спросил я Странника. — С нами, — поправился я.

— Вы же сами видите, Алёша, они больны.

— Существует ли лекарство от этой их болезни?

— Время и правда о себе. Их оболгали, и они изолгались. Они вращаются в гигантской воронке лжи, их кружит и засасывает всё глубже, и они не находят в себе разума, чтобы вырваться из этого губельного вращения. Им необходима правда о себе. Вот это и есть лекарство. Они рассмотрят своё истинное лицо и ужаснутся! После этого начнётся выздоровление.

Странник глубоко задумался, затем в сомнении покачал головой.

— Кто даст им так нужную им правду? Вот вопрос.

— Я, — и после паузы, — я попробую.

Странник задержал на мне взгляд.

— Вы даже не представляете, Алёша, за какое невероятно нечеловечески трудное дело хотите взяться.

— Я попробую.

— Но хватит ли у Вас сил и терпения, чтобы нести этот тяжёлый крест?

— Я попробую.

— Каким образом?

— Необходимую им правду я изложу в летописи.

— Я помогу Вам, Алёша, не сомневайтесь. Если Вы твёрдо решили взяться за летопись, наши встречи неизбежны. Куда Вы теперь?

— В село. Оклемаюсь и начну, — я сделал прощальный жест и пошёл прочь, ноги с трудом меня держали.

Я двигался по Трубной улице, когда услышал странные слова:

— Славные поминки устроил себе Кормчий. Совсем в его вкусе. Да, второго специалиста по этой части не сыскать во всём свете. Молодец, истинно молодец.

Я оглянулся и увидел человека невеликого роста неопределённого возраста, жилистого, с длинными, как у гориллы, руками. Рядом с ним бежал небольшой длиннорылый дикий кабан. Человек с любопытством оглядывал улицу и ухмылялся. Пара переходила от одного тела к другому, человек подолгу рассматривал останки, показывал на них пальцем и обращался к вепрю со словами; тот крутил башкой и хрюкал.

Что-то в человеке показалось мне знакомое. Очевидно, и тому я кого-то напомнил; он остановился, взглянул на меня, вроде как встревоженно, но махнул рукой и пошёл своим путём. Вепрь потрусил рядом. Однако, я узнал их, не вдруг, но узнал. Это был Гришка и преданный ему вепрь Ефросий.

Я давно потерял Странника. Некоторое время толпа крутила меня, затем выбросила в узенький переулок-тупичок, где я смог наконец отдышаться. Я сидел, скорчившись, у пожарной лестницы, и когда обрёл силы, отправился восвояси. После того, как доступ ко гробу прекратили, толпы растаяли, и улицы обнажились. Страшное зрелище открылось людям. Как убедительное доказательство любви и преданности народа к своему Кормчему, своему кумиру, всюду на улицах внутри Садового Кольца и, в особенности, на Трубной улице лежали раздавленные, искалеченные или просто не выдержавшие давки люди.

Демонстрация финала величайшей трагедии обращения удивительного, талантливого, красивого народа в скот.

Я бродил по городу и находился на грани помешательства. Трагедию я досмотрел до конца, но зрелище оказалось для меня слишком сильным. Я двигался, как сомнамбула, желая уйти из города вон, когда меня тронули за руку.

Передо мной стоял Странник. Бледный, без тени улыбки; вместо неё скорбные складки у губ и огромные бездонные глаза, в которые заглянуть без страха не представляло возможности, такая режущая поражающая боль исходила из них.

— Я ничего не мог сделать, — тихо, почти шепотом произнёс он.

Легенда

Один человек из толпы стоял, кричал, морда в слезах, и всё себя скипидарил. «Скорблю, — вопит, — как и весь народ в совокупности. Лягу рядом с Кормчим и помру!»

Путь этого особо скорбящего человека, то бишь поведение россиянина, настолько своеобразен и интересен, что я счёл уместным и даже необходимым поместить выдержку из научно-исследовательской работы, хранившейся до последнего времени в архиве Академии наук под грифом «совершенно секретно».

Учёный, выполнивший данную научную работу, несомненно, принадлежал к диссидентским кругам интеллигенции, так как критическая и, пожалуй, даже обличительная направленность по отношению к власти в ней очевидна. Он обладал также определёнными литературными способностями и способностями к логическому анализу, что помогло ему не только глубоко проникнуть в суть феномена, но и довольно красочно изобразить ситуацию.

Выдержку привожу ниже без каких-либо изменений, буква в букву.

«... в облике яростная ненависть к врагам вообще. Он грозен и в то же время безутешен. Морда в слезах. Он плачет и ругается одновременно. Причем, что интересно, эти его телодвижения и лицедейство шли не изнутри, не как самовыражение глубинных чувств и горя, как такового, а вроде из расчета для окружающих. Хотя явной фальши не ощущалось и выглядело натурально.

Выкрикивая различные слова скорби и стеная, он накалял себя до невозможности, а когда достиг, пошёл на подвиг.

Общеизвестно, что российский человек очень способен к подвигу, и эту черту его характера власти всегда любили и поощряли. А то, что на подвиг он шёл больше от безысходности, ибо терять ему было нечего, так об этом старались не говорить.

И ещё хвалили российского человека за терпение. Эта его черта нравилась властям ещё больше, хотя появилась она у него, как говорится, не от сырости, а от бесправия и привычки жить в неустроенном мире. И то, что привычку жить в дерьме выдают ему в заслугу, назвав её благочестивым словом «терпение», так это просто подло.

Итак, вобрав в себя народную скорбь в совокупности, он не пожелал ничего другого кроме как лечь рядом с обожаемым Кормчим и помереть. А уж если российский человек что вобьёт себе в голову, то расшибётся, но сделает.

Тёмной ночью, надев чистое исподнее и приняв пол-литра, он пробрался к месту захоронения. Изобретательно и удачливо обошёл многочисленных сторожей, а именно: парадных часовых, охрану с заряженными на полную обойму револьверами и шашками наголо, тайных часовых, надёжно упрятанных в кустарнике, добровольных осветомителей, проще сказать, стукачей, постоянно шастающих поблизости в различных направлениях.

Поразительно, почти невероятно, но никто его не заметил, иначе арест стал бы неминуем, а может, что и похуже. Бесшумно, словно тень, приполз он к могиле, извлёк хитроумно спрятанную на спине малую сапёрную лопату и принялся сноровисто копать ход сбоку, чтобы не повредить верх.

«Люди ведь станут приходить», — подумал он озабоченно.

Сил своих он не берёт, ибо, исходя из задуманного дела, они ему больше не понадобятся; быстро прокопал боковой лаз и затем стал руками мощно, как кабан, разрывать землю вокруг гроба. Нашупал крышку, поднатужился и оторвал её.

Вырвавшаяся из-за туч яркая луна заглянула в проделанный лаз и осветила место.

Гроб был пуст.

К этому времени Кормчего увезли на паровозе в село Скуратово, и вот как это происходило.

«Воля Кормчего, воля Кормчего, — заревели в рупоры люди, которые над толпой кричали и вроде как распоряжались, — слушайте все!»

«Я, ваш любимый Кормчий, находясь в ясном уме и твёрдой памяти, завещаю открыть моё тело в селе Скуратово Средне-Русских земель, чтобы любящий меня народ простился со мной, а везти меня туда на паровозе».

Поставили гроб на паровоз. Рядом с машинистом встали двое с револьверами и всю дорогу глаз с него не спускали. Сказали: «Трогай, но не спеша».

И вот паровоз-катафалк торжественно, с самой малой скоростью отправился, а толпа повернула за ним и шла бесконечно. Кто падал, кто отставал, но люди устремлялись со всех сторон, и толпа не редела, а напротив, увеличивалась, и так все десять дней до самого села.

Прибыли в село; никогда за века не было здесь столько народа.

«Воля Кормчего, воля Кормчего!» — ревела толпа. Гроб с величайшей бережливостью и почтительностью сняли с паровоза; люди было бросились, чтобы подставить свои плечи, но ребята из охраны быстро придавили особо ретивых и скорбящих из толпы.

Под гроб встали назначенные наиболее достойные люди от власти, и под нескончаемые крики «Воля Кормчего!» понесли.

Мужчина в кожаной куртке и фуражке со значком неустанно кричал в рупор:

«Мы свято выполнили волю Кормчего. Он завещал установить своё тело для прощания в селе Скуратово, в главном доме предков нашего народа, доме благородного Григория Скуратова».

«Воля Кормчего, воля Кормчего!» — ревела вокруг необозримая толпа, беснующаяся в скорби.

Мужчина в кожаной куртке читал завещание по бумажке, показывал её толпе и снова читал. Голос его звучал сипло и надрывно, как и подобает произносить слова скорби. Это видели и слышали все.

В паузах он плакал, извлекал из кармана галифе громадный платок и громко сморкался. И вот тут-то, когда его физиономии за платком не было видно, он совершенно неожиданно ухмылялся, как плут, которому удалось одурачить простофилю, а глаз его принимал кровавый отсвет.

Затем он выпрямлялся, прятал платок в карман, и толпа снова видела убитого горем близкого к Кормчему государственного человека.

Конец легенды

В действительности Кормчего в землю не похоронили и в село Скурагово не возили, тем более, на паровозе. Легенда, она и есть легенда. Нравится людям придумывать своё, непохожее на правду. Умельцы-медики, чтобы не смердило, выскребли из него внутренности, а его мумию поместили в Мавзолей, рядышком с Лениным на обозрение.

«И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные.

И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.

И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?

И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе.

И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя».

Иоанн

Да каким же это образом инородец, садист, человек невиданной жестокости, зверь стал неограниченным властелином, тираном и мучителем громадной России, русской в своей основе, оседлал и стал её идолом, Кормчим?!

За полвека после его смерти напечатано-перепечатано столько, что осмыслить или хотя бы прочитать всё это не представляется возможным. Хотя, несомненно, интересно для понимания, но увы... не отвечает на прямо поставленный вопрос, как второй план. Больше того, если зацепиться и на этом заикнуться, то истина останется в стороне. Недальновидный и неглубоко смотрящий исследователь подпадёт под влияние или, если хотите, обаяние средств маскировки истинных помыслов и дел Кормчего, пойдёт по ложному пути и представит эту

личность в таком ракурсе, в каком тот сам желал выглядеть в глазах покорённого народа.

Здесь я представляю сугубо свою личную версию ответа на прямо вышесформулированный вопрос. Кормчий злодеем родился. Каиново семя вместе с проклятием через множество поколений и смешений возросло в нём в полную силу.

В двадцатые годы, точной даты я назвать не могу, но факт этот установленный, он случился на приёме у знаменитого врача-психиатра профессора Бехтерева. Заключение авторитетнейшего специалиста ясное и недвусмысленное: паранойя. Вскоре профессор Бехтерев скончался при обстоятельствах, тщательно запрятаных властями.

Час от часа не легче. Если Кормчий параноик, то есть, душевно больной человек, тем более странно, и наш главный вопрос лишь усиливается? Напротив, это объясняет всё.

Кормчим владела стратегическая параноидная цель: власть над людьми. Паранойя, наложенная на Каинову натуру, освободила его от общечеловеческих нравственных установок и безусловных чувств жалости, совести, стыда, и он изнутри стал идеальным злом, прикрытым сверху человеческим обличем. Лишённый внутреннего благотворного воздействия нравственных мук, естественного для нормального человека, он творил любое зло. И не существовало для него такого, которого он не смог бы совершить ради своей параноидной цели.

Ситуация, сложившаяся в России того времени, стала плодородным полем, на котором он умело растил свои ядовитые плоды, и благодаря своему неординарному уму и врождённой хитрости делал это изощрённо.

Паранойя, как субстанция его поведения, оборвала связь нравственности с помыслами и поступками. В нём образовалась противостественная для человека причинно-следственная цепочка: цель — поступки, минуя нравственный фильтр, через который проходят и очищаются помыслы человека, прежде чем стать поступками.

В результате указанного сочетания свойств природы в нём образовалась своеобразная логика, чуждая нормальному человеку. Он искусно прикрывал свои злодеяния красивыми добропорядочными одеждами и всегда выглядел хорошим человеком, очень хорошим, добрым, радетеlem людей.

Он приспособил под себя и усилил до общественного охвата абсолютно послушный его воле карающий орган, надёжный, как секущий головы топор в умелых руках палача. И он поднял его над страной. Уничтожил всех, кто хотя бы в малейшей степени являлся угрозой для

его власти. Вогнал страну в леденящий душу страх. Лишил людей воли. Организовал систему всеобщего послушания. Использовал в своей риторике положения теории построения справедливого социалистического общества и обрушил на головы людей пропагандистский анизотропный поток этих положений.

Одарённый милостью дьявола, несравненной хитростью, он довёл вероломство, лицемерие и ложь в жизни общества до апогея. Создал идеальную модель — организацию абсолютного подчинения страны одному человеку, естественно, под прикрытием идеологических обёрток, прекрасных обещаний и слияния себя с чаяниями народа.

Он безошибочно разгадывал в людях их низменные свойства, трогал и заставлял звучать самые гнусные струны души, и струны отзывались и звучали в полный губительный голос согласно нравственному настрою человека. А нравственный разброс среди людей широк: от Господа нашего Иисуса Христа до Кормчего. Остальные между ними.

Доносительство всегда считалось в России постыдным, отвратительным. Он тронул в людях эту струну... и хлынул поток доносов. Появился сонм стукачей. Сказано сверху: доносительство патриотично и необходимо новому социалистическому обществу для обнаружения врагов народа, и способные к этому люди кинулись стучать. Занять место начальника и захватить квартиру арестованного, его мебель, ковры, картины, драгоценности, дорогую посуду, дачу и прочее теперь стало очень даже просто и дозволительно. Достаточно настроичить донос. Доносили люди, по возможности, скрытно, опасаясь общественного осуждения, ибо никакими призывами или разрешениями властей не искоренить внутреннее отношение человека к указанному постыдному занятию.

Писателей, артистов, военных, рабочих, художников, политиков, крестьян, интеллигенцию и прочих и прочих, всех поставил в стойку смирно, всех вогнал в страх, в полную беззащитность и покорное животное состояние. Он обрушил на людей тотальный террор и подавил их волю. В первую очередь, он использовал веру людей в социализм, извечную и неистребимую их тоску по справедливости, жертвенную веру в честность большевистской партии.

Вера и энтузиазм захватывали людей, в особенности, молодёжь, которая рвалась к социализму, желала строить это своё светлое будущее, не жалея себя. Она верила, что Кормчий ведёт их к справедливости, равенству, социализму.

Он говорил: «Мы строим будущее, всё для человека». И организовывал аресты, расстрелы, Гулаг.

Ввёл понятие «великодержавный шовинизм» и людей, обвинённых в этом грехе, карал беспощадно. Тем самым он лишил русских людей моральных средств самозащиты. Он творил ужасы, а дети радостно смеялись, взрослые ходили с флагами и славили власть и самого кормчего. Устраивали бесконечное количество весёлой суетни, демонстраций, собраний, шествий, призывов к героическому труду. Люди пели песни, прославляющие кормчего. Трудились на великих стройках коммунизма. Народ как бы рвался вперёд, к социализму. Покоряли природу.

Словом, он делал всё, чтобы люди не понимали и не видели, как их заталкивают в жертвенную печь, а напротив, чтобы они, люди, заходили в печь с воплями о преданности кормчему и благодарили его за счастливую жизнь. Вплоть до того момента, когда у них в пламени перехватывало дыхание и они обращались в пепел.

Веру людей в идеалы социализма он сумел заменить на веру в единственного носителя идеи, Кормчего-параноика. Он использовал стадный инстинкт народа — следовать за вожаком, самым мощным и мудрым в стаде, повиноваться ему.

Как ни крути, но в человеке крепко сидит инстинкт стадности, сплочения в толпу, подчинения вожаку. Устоявшаяся в тысячелетиях структура власти, само существование власти как таковой основательно подкрепляет вышеуказанное утверждение. Когда человек попадает в огромную толпу, собравшуюся, чтобы выслушать ораторов, заводил-вожаков, его охватывают всё подавляющие чувства, напрочь иные, чем вне толпы.

Скажи парень с трибуны: «Ступайте и сокрушите!», толпа, как единое существо, с рёвом «Круши, круши!» пойдёт и сокрушит.

Человеку в толпе неуютно и даже страшно; он ощущает свою беспомощность и полную потерю самостоятельности, он стиснут со всех сторон, и в случае угрозы ему не уйти и не избежать её. Нутро его ноет и стонет от неизбежности быть раздавленным. Облегчение, однако, приходит, если он покоряется настроению толпы, внушённому вожаком; страх проходит, чувство беспомощности отпускает. Ему легче: он уже не сам по себе, а часть могучей толпы, и в этом его сила и надёжность. Если он не согласен с вожаком, ему лучше смолчать, иначе он уже не часть толпы и будет решительно раздавлен, и никуда ему от этого не уйти.

Но человек на то и человек, Божье создание, что способен отойти от стадного состояния. Надёжный выход — в творчестве и обращении к Богу. В обоях случаях он становится индивидуальностью; и то, и

другое требует его личностной сути, но не толпы. Он выходит из стада, из требований природной жизни, но остаётся при этом природным человеком. Но совершается это через подвиг, ибо слишком большую тягу развивает его природная составляющая. Зато, познав через подвиг суть духовной жизни, он уже не захочет вернуться в стадо. В нём возникнет величайшее удовлетворение духа своего от присутствия в себе Бога и желания творить.

По мнению юристов, гуманистов месть — дело незаконное и не правильное. Мечь, однако, такое же наказание, но только без юристов. Зачастую она более справедлива, чем суд, ибо исходит из нравственных установок народа. Преступника наказывают или через юридический суд, или мечью. В обоих случаях это, несомненно, наказание.

Инстинкт жизни, страх за себя и своих близких, вера в благие намерения кормчего, в силу и справедливость партии, врождённая жертвенность, стадный инстинкт... всё перемешалось в людях, но доминантой присутствовал страх и беззащитность с одной стороны, и жестокость устремлённого к абсолютной власти параноика Кормчего с другой.

И в огромной стране не нашлось достойного, умного, мужественного человека, который бы глянул сквозь своё замутнённое сознание правде в глаза, разглядел истинное положение дел и пустил пулю в лоб Кормчему, прекратив тем самым всеобщее безумие.

Кормчий — чудовище, порождение кошмара, параноик, антихрист — организовал убиение и мучение миллионов людей, видел в них червей, недостойных сожаления. А вот поди ты, немало людей до сих пор хвалят его, как носителя порядка и справедливости. Что за память у людей?! Как странно уродливо толкуют они о прошлом своём.

Историки и писатели выкапывают из архивов и сами домысливают жизнь революционеров, в том числе Кормчего, отыскивают в них гуманные положительные стороны, оправдывают их жестокость, как вынужденную... Будто эти микроскопические по значимости факты хоть в малейшей степени в состоянии компенсировать страшные злодеяния против человека.

Люди не склонны помнить с болью в душе трагичные судьбы своих предков. Напротив, своё прошлое они предпочитают видеть, пусть придуманное, но непременно героическое, как миф, фантазию, сказку. Человеческая натура отторгает беду, плохие воспоминания разрушают крепость человека к жизни, пропитывают ядом горечи и незна-

дѣжности. Люди склонны обходить неприятности, ибо им сопутствует дискомфорт духа; люди бегут неприятностей и плохих воспоминаний. Горькой правде о реальных людях они предпочитают выдуманные, насквозь лживые сериалы с фальшивыми сюжетами, чувствами и поступками.

Удивительное существо человек. В нём может сочетаться трогательная любовь к своим ближним и хладнокровное убийство иных людей. Геббельс обожал свою семью, сажал цветы и... организовывал уничтожение миллионов людей. Будѣнный, хороший семьянин, любил жену, детей и подписывал расстрел тысяч людей.

Так может быть, грандиозность и благородство цели построения справедливого социалистического общества настолько овладели Кормчим, что оказались ценнее принесѣнных жертв? Если это и возможно, то это тоже паранойя.

Паранойя — болезнь неизлечимая и чрезвычайно опасная для общества. Параноик в политике должен быть по обнаружении немедленно забит. Запрет на смертную казнь, за который искренне ратуют свобододлюбивые гуманисты-правозащитники, не должен распространяться на эту категорию больных. Слишком дорого они обошлись обществу и миллионам ранее живых людей.

Что касается перспективы их пожизненного заключения, то в принципе это возможно, но ненадёжность государства, смена режимов, революции, иные непредсказуемые события дают шанс параноику выйти на свободу, к людям, а это недопустимо.

«Мы вставали из окопов, шли на врага и умирали с именем Сталина», — говорят ветераны, оскорблѣнные и униженные раскрывшейся правдой.

После мерзкой противоестественной подмены духовных ценностей, этакой духовной кастрации, оболваненный человек доводится до уровня нравственного маразма. Покорно умирать за политического подонка, залившего кровью города и сѣла России, и при этом произносить такие высокие слова, разве это не маразм? Что может быть трагичнее и унижительнее для человека?

С уходом Кормчего положение в России изменилось. Корабль тотальной авторитарной государственности, плывущий по воле одного человека, дал трещину; не нашлось после Кормчего-параноика достойного его. Истинная жизнь общества, загнанная страшным террором вглубь человека, в его подкорку, заглушѣнная, но затаившаяся и сохранившаяся, стала решительно проявляться через таких людей, как Солженицын, Шаламов, Сахаров, Высоцкий... всех не перечесть.

Шаламов открыл людям такую правду, что нормальному человеку стало стыдно принадлежать к человеческому роду. Как затягивается рана здоровой тканью, как загубленная человеком пустошь зарастает зеленью, так и в сильно подпорченном Российском обществе жизнь и связанное с нею добро берут верх. Старые грешники вымрут, а новых, возможно, станет меньше. Возможно.

Эпилог

Давно упокоились Василий и Евдокия Травины, дети бежали от безысходной сельской жизни под Ванькиной властью в город. Дом с одной, южной стороны постепенно пришёл в негодность, стал разваливаться и грозил нанести вред всему строению.

Евдокию похоронили на сельском кладбище, рядом с её матушкой, тоже Евдокией; за могилой присматривают, содержат в уважительном порядке. Чего не скажешь о захоронении Василия. Сразу-то крест на могиле не поставили, и осталась она непримеченной. «Как же, — рассудили люди, — Василий на виду, а власть не одобряет кресты». О том, чтобы хотя бы табличку установить, и понятия не имели. В том же году вплотную, с двух сторон зарыли других людей. Со временем место заросло кустарником, и захоронение Василия затерялось совершенно.

Приезжая в село, я делал попытки отыскать его, но из-за отсутствия внешних признаков или хотя бы намёка на них, мои усилия оказались безуспешными, и это несмотря на моё врождённое любопытство и упорство. Нечто горькое ощущалось в утере и забвении могилы Василия; мне очень хотелось исправить положение, но увы. Зато память о Василии, самая тёплая, постоянно присутствовала в семье.

Род Василия Травина и Евдокии не пресёкся. Сыновья женились, дочери вышли замуж и продолжили род хороших людей, в коих только и видится сквозь дымку неизвестности будущее России, прочное и счастливое. Дочь Василия и Евдокии Антонина вышла за хорошего человека, и от них пошла жить новая ветвь людей, уже не крестьянского сословия, а городских интеллектуалов, потомственных во многих поколениях.

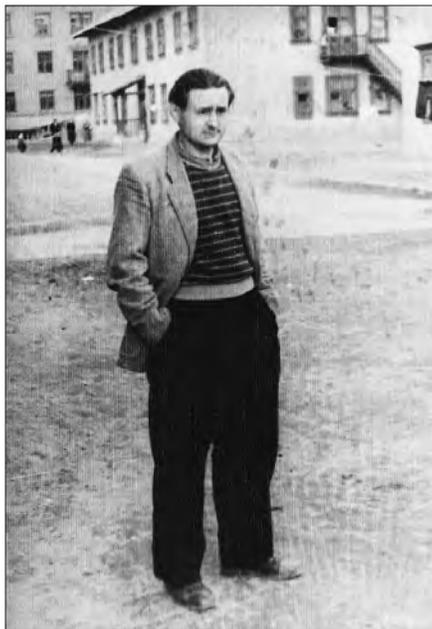
До слёз жаль Ивана Травина. Главная правда и суть войны не в том, что одна армия победила другую, а в том, что на этой войне убит солдат, танкист, человек Ваня Травин.



Автор и дочь Ольга



Внук Александр



Брат Тони Алексей



Брат Тони Николай, младший брат Василий и моя дочь Олечка



Антонина и дочь Ольга



Внук Александр с правнучкой Викторией и женой Наташей



Дочь Оля и сын Дима



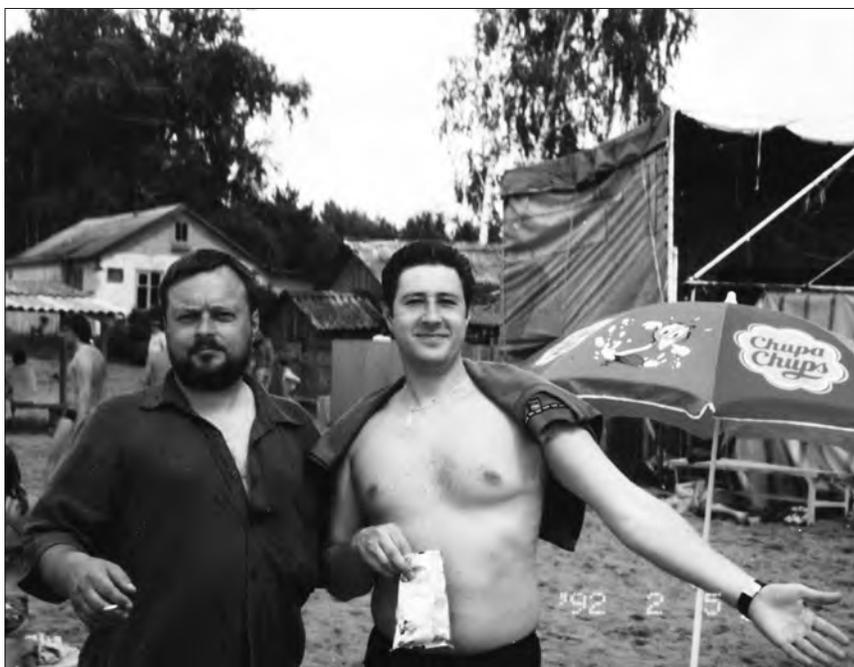
Внук Андрей и его верная собака Крым



Виктория-внучка (внизу) и Ольга-бабушка (вверху)



Мой брат Алексей, его жена Дина и сыновья Сергей и Юрий



Сын Дима и племянник Олег



Сын Дмитрий



Сын Дмитрий и сестра Антонины Лидия



Оживлённый храм

Я вышел на Странное шоссе подышать. В месте, свободном от облаков, шапкой закрывающих небо, ясно виднелся красавец-храм, тонко очерченный своим абрисом в синем окне небесном; прекрасный даже после надругательства, разрушения, многолетнего запустения и разграбления. Лишённый луковичных куполов и креста, он тем не менее благородным обликом своим решительно неудержимо устремлялся ввысь, в небо, к Господу.

Храм постепенно оживляют. Обустроили молитвенный зал; засветлили свежей краской и большими стёклами новые окна, хотя верх с куполами ещё пребывают в осквернённом виде и запустении. Главное, души людей очищаются от скверны, и вместе с храмом они постепенно закрывают злой разлом.

Гришка Скуратов, с тех пор, как убедился в бесполезности Ваньки Корытова и плюнул в его сторону, ушёл, да так больше в селе и не появлялся.

Рассказывают, видели в разных скорбных местах России, в сталинских лагерях и иных расстрельных местах человека, похожего на Гришку, но полной уверенности у людей-очевидцев не было, и передавали они о таких встречах весьма сбивчиво, сильно путаясь в описании его внешнего вида. Все, однако, упирали на его диковинный взгляд, что, вроде, один глаз его огненно пламенел, если он обращал взор свой на хорошего человека, да ещё сбоку у него на



Святой Александр Невский

ремне висел длинный предмет в брезентовом чехле, напоминающий по форме топор.

Но все эти приметы, хотя и сходились на Гришке, но никак твёрдо не доказывали его подлинность. И то сказать, да мало ли людей бродят по России с топором за поясом, у которых один, а то и оба глаза огненно пламенеют при взгляде на хороших людей. И ещё вот что любопытно, очевидцы обычно быстро забывали про эти встречи, будто исходило от этого человека некое воздействие, приглушающее их память об увиденном. Вроде человек что-то помнит, пытается вспомнить остальное в деталях, но не получается.

Единственно, достоверно доказывало, что встречали люди именно Гришку, так это одно характерное обстоятельство: человек этот никогда не был один, а всё в сопровождении пятнистого, длиннощетиного вепря средних размеров, дикого кабанчика. Вот уж, такой пары точно во всей России решительно не существовало, и это убеждало.

Можно предположить, что бродят они по России в надежде отыскать себе работу по способностям, то есть, встретить людей, расположенных ко злу, и оказать им посылно всяческое содействие и поддержку в их неправедных делах, а себе найти полезное применение.

Проклятие довлеет над Ванькой Корытовым и его несправедливо захваченным домом, над каждым человеком, прикоснувшимся к нему. Проклятие пошло на весь Ванькин род.

Дочь Валентина с мужем Николаем постепенно спивались. Стали пить по-черному, уродовали свой рассудок, сужая его до крайности. Спали на постоянно мокрым истлевшем рубище, когда-то служившем им постелью. Перестали выходить из дома даже по нужде, испражнялись в ведро, а потом приспособили угол в комнате. Николай ещё выходил, но лишь по необходимости — ходил за самогоном. Выпивал сам, подносил стакан Валентине; та посылно приподнималась, жадно заглатывала алкоголь и, умиротворённая, уходила в своё, теперь уже обычное, сумеречное состояние. Никто не знает, питались ли чем.

Однажды их нашли соседи, вошедшие в дом из-за скверного тлетворного запаха. Супруги лежали бездыханные в грязи, дерьме, на мерзком тряпье. Загубленные души их покинули. В доме смердило невыносимо.

Сын Геннадий, ещё задолго до их смерти, начал спиваться в Туле, а когда его выгнали с работы ввиду полной непригодности к труду и пьянства, и он осознал, что в городе существовать невозможно, то поехал в село к родителям. И стал Геннадий жить на иждивении отца-пенсионера, в полном согласии со своим сознанием. Пили втроём.

Зимой Геннадий свалился пьяный у крыльца, уснул и отморозил руки. Пальцы ему отрезали, однако, как человек от природы способный, он выучился брать стакан с самогоном оставшимися культями. На следующую зиму он при тех же обстоятельствах снова замёрз, на этот раз окончательно и безвозвратно.

Средний сын Юрий приехал из Тулы отдохнуть, влез на столб, чтобы починить провод, упал и вскоре скончался. Старший сын Виктор, трудовой нормальный человек, несогласный с образом жизни родни, порвал с ней и в селе не появлялся вовсе.

Дом опустел. Жена Юрия Галина уехала, надумав дом продать.

Покупателей, однако, не нашлось. Люди обходили дом стороной, несмотря на его добротность. «Дом проклят!» — было общеизвестно.

Красная площадь

Прогуливаясь по городу, я произвольно, без всякого определённого намерения, двигался от Замоскворечья в сторону Кремля.

Прошёл по Климентовскому переулку и Пятницкой улице, мимо «Балчуга», перешёл Москва-реку по Большому Москворецкому мосту, с него поднялся Васильевским спуском и, оставив справа от себя Покровский храм, ступил на брусчатку Красной площади.

Вот она открылась перед мной во всём своём историческом величии, обширная и нарядная: Лобное место, Мавзолей, Кремлёвская стена со Спасскими воротами, башней и часами.

Я шёл и припоминал, как выглядела она ранее; вспомнил своё умиленное почтение перед вождём мирового пролетариата, лежащим в Мавзолее, впечатляющие военные парады с показом грозного оружия, демонстрации ликующего народа, славящего родную партию и правительство, гром духовых оркестров и очень приподнятое праздничное настроение людей.

Внезапно заслонка в моей памяти сдвинулась, открылась пошире, и теперь облик Красной площади разительно поменялся.

Я ужаснулся.

Подобно тому, как традиционный телескоп заглядывает во Вселенную через световые лучи, и учёные люди при этом видят одно небо, а радиотелескоп, направленный в ту же Вселенную, показывает его уже в ином виде. Взгляд на людей, их поступки не через фальшивые оценки заслуг человека перед государственным режимом или исходя из его места в иерархии, насквозь пропитанной чинопочтанием и угодничеством, а через безусловные нравственные понятия покажет совершенно иную картину происходящего в человеческом обществе и расставит людей на их истинные места, исходя из субстанции человека.

Итак, я забрёл на Красную площадь, прошёл известными историческими местами и ужаснулся. Лобное место предстало передо мной как ужасный эшафот, обильно пропитанный кровью казнённых людей; множество теней с отрубленными руками, ногами и головами густо заполняли пространство над ним. Тени толпились и растерянно метались в отчаянных, но безуспешных попытках покинуть роковое место.

Не в силах смотреть на этот ужас, я постарался уйти.

Я вошёл в Мавзолей и обнаружил призрак вождя, который в муках и с великой досадой на своих однопартийцев ожидал, когда его тело захоронят в земле. Прошёл за Мавзолей, к Кремлёвской стене, и увидел здесь людей из верховной власти, то есть, наиболее выдающихся.

Впереди всех, упорно глядя перед собой, стоял кормчий.

За ним жиденькой толпой высшие партийные функционеры, удостоенные чести быть погребёнными в земле. Менее значительные государственные мужи пребывали своим пеплом, вмазанные в кремлёвскую стену. Все они лезли к власти, переступая через соратников;

все они преуспели в этом своём устремлении и посылно тем или иным образом участвовали в гонении и убиении нормальных людей.

И вот их противоестественно собрали здесь вместе, хотя общего у них были лишь жажда власти, взаимная ненависть, грязные безнравственные дела, трусость и лесть перед кормчим, и полное забвение своего народа, которым они руководили.

Вот Будённый на высоких посиделках к удовольствию кормчего пляшет вприсядку под гармонь и испытывает безмерную к нему благодарность за то, что тот держит его возле себя в почёте.

Вот Калинин, чью жену кормчий усадил в тюрьму, лижет ему зад за позволение жить почётным всесоюзным старостой и довольствоваться хозяйскими хлебами.

Вот Жуков с грудью, покрытой бронёй из орденов. Если поделить количество забитых и искалеченных под его командованием российских солдат на количество орденов на его груди, то получится число, которое способно свести с ума самого стойкого человека. Но Жуков не грязный политик, он воин и он создан для битвы, а битв без жертв не бывает. Жуков своим талантом полководца, по сути, спас Россию от поражения в войне, которое было весьма реальным из-за пагубных безумных действий кормчего.

Самая кровавая наградная золотая звезда Героя Советского Союза, несомненно, у самого кормчего, «ковавшего» военные и государственные победы беспощадным истреблением российских людей, бросая их миллионами в прожорливую топку войны, расстреливая просто так, доводя до смерти в лагерях Гулага, не признавая естественное право человека на жизнь. Даже в ситуациях, когда это было вовсе не в интересах России.

Я проходил, и они поворачивались передо мной телом, но отворачивали лица, страшась взглянуть на проходящих людей. Они стояли отчуждённо и не глядели друг на друга, но лишь в спину своего кормчего, которого не любили, а только смертельно боялись. Они грызлись между собой при своей земной жизни, а теперь в своём ином состоянии они единодушно набросились на кормчего и с великим наслаждением грызли его, ссорясь и вступая в драки за самые лакомые его мослы.

Взаимной ненавистью пропитано это жуткое место.

Молотова среди них нет. И хорошо: ему лучше вдали от этой своры вурдалаков, пожиравших людей при земной жизни и теперь.

Берии здесь тоже нет, а то общество оказалось бы вовсе непереносимо ужасным.

Люди

Ганглион

Ничто не предвещало беды. Сколько историй начато этими словами, историй трагичных, порою роковых для человека.

Я двинулся в поликлинику. Это, однако, вовсе не означало, что я заболел и мне необходим врач. Нет, но в нашей поликлинике буфет, и там подавали превосходные пирожки с капустой, мясом, картошкой и даже грибами. Превосходные пирожки. Нигде я не ел более вкусных пирожков, чем в нашей поликлинике.

Чтобы было понятно, скажу, я очень люблю пирожки. Короче говоря, я шел в поликлинику, чтобы поесть вкусных пирожков.

Взял два стакана чая с лимоном, два пирожка с мясом, два с картошкой и два с капустой, уселся за столик и хорошо, я бы сказал душевно, покушал. Пирожки и на этот раз оказались превосходными.

Ощущая приятную сытость и очаровательный вкус съеденных пирожков, я обратился к буфетчице и попросил еще десяток в пакет, чтобы унести с собой и обеспечить себе продолжение чревоугодия в комфортных домашних условиях, да и своих побаловать. После чего направился к выходу. Однако притормозил.

Что же это я, был в поликлинике, так сказать лечебном учреждении и не показался докторам. Уж заодно бы, почему нет. Однако, к какому врачу зайти?

Поскольку очевидной хвори я в себе не ощущал, стал соображать. К терапевту?

Ни в коем случае! Этот самостоятельно не соображает; непременно пошлёт на анализы, ЭКГ и прочие, словом, замучает.

К урологу?

Сохрани Господь. У него такое обследование, что после дня два заглядываешь в определенное место. Помню, простыл я, давно это было, пришёл к такому виртуозу, так он своим сверкающим хромированным приспособлением так прочистил мой мочеиспускательный предмет... Клянусь, он его вытащил из меня густо в крови.

Теперь, честно, как на духу признаюсь и одновременно каюсь. Тогда я был близок к преступлению. То есть, мне явственно захотелось убить этого уролога виртуоза.

А это такой грех. Ведь мысли также могут быть греховны, что и поступки.

К кожному?

Опасно, ещё схватишь заразу.

К глазнику?

Так у меня со зрением пока всё в порядке. Глазника не проведёшь, враз усечёт. Скажет, чего пришел-то. Стыдно. В самом деле.

К ухо-горло-нос?

Можно. Если что, соврать, не слышу, мол.

Нет, врать нехорошо.

Идея! Пойду к хирургу.

Пусть глянет, мало ли. Потом я заметил, хирургам нравится осматривать пациента, они по этой части испытывают постоянное любопытство. Был у нас такой один. Придёшь к нему, он схватит руку, поглядит и занает: «Слушай, давай вскрыем тут, посмотрим, а?» Я от него еле вырывался. Отказать вроде неудобно, врач всё же. «Давай вскрыем», — нашел дурака. Ему, видите ли, любопытно. Пирогов хренов.

Словом, потащился к хирургу.

Это на четвёртом этаже. Дополз. На трёх дверях таблички — хирург. К какому зайти-то? Идёт сестра.

— Вы к хирургу?

— Да.

— Так заходите.

— Я зайду, — говорю, — только мне нужен хороший хирург.

Она смеётся:

— Хороший, хороший. Заходите.

Симпатичная женщина, и ещё молодая.

Вхожу. Я немного физиономист. Поэтому, как нового человека вижу, так пытаюсь по его виду определить, ху из хи.

Теперь вижу, сидит в своём врачебном кресле немолодой уже доктор, очень серьёзный, в очках и лысый. Меня, как физиономиста, вот эти лысины чаще всего сбивают с толка.

Запутывают, так сказать. И ещё очки.

Я и так, и этак, но ясности в себе не ощущаю. Пока соображал, он спрашивает:

— Ну что у вас?

Я этак машинально левую руку к нему обратил, вроде как показал. Он ухватил её и взгляделся, ну прямо уставился в район запястья.

Что это он узрел? Там у меня вроде все в порядке. Как и вообще со скелетом. Руки ломал, но это в прошлом. Всё давно срослось. А он рассматривает. Как он это её ухватил и почему именно левую, вроде следуя указаниям своего хирургического нюха, который сразу направляет куда надо, где у человека непорядок. Это как пиявки. Они кидаются точно в место, где дурная кровь, и отсасывают её к пользе для больного. Удалит она эту дурную кровь, и все дела, тем и лечит, в этом её, пиявки, лечение.

Я вовсе не хочу сравнить доктора с пиявкой и тем обидеть, но свойство, нюх, так сказать, у них схожий.

Доктор тем временем отрывает свой взор от моей руки и спрашивает тихо (до этого момента голос его звучал значительно громче):

— Давно у Вас это?

— Что это, доктор? Где?

Он молча указал пальцем.

Я всмотрелся в место, на которое обратил внимание доктор, и увидел на внешней стороне запястья по воображаемой линии от указательного пальца пирамидальный нарост.

— Не помню, возможно, недели три, но это приблизительно.

— Он Вас не беспокоит, не болит?

— Нет, такого ощущения нет, но больше мешает психологически, в смысле — не было его, и вдруг есть. Вот такая мысль иногда возникает, вроде лишний он.

Он снова взял руку и стал ощупывать нарост, нажимая вокруг и как бы сдвигая его с места. Надолго задумался.

Затем, как бы про себя, но явственно вслух произнёс:

— Да, пожалуй, сомнений нет. Так оно и есть.

Странное и явно неожиданное поведение доктора меня насторожило, хотя до этого тревоги не ощущал. Теперь же полезли нехорошие мысли. Что он темнит, сказал бы. Я ведь не девочка, а воин. Однако, доктор молчал, а я не решался спросить напрямик. Словом, молчали мы оба. Но тревога моя нарастала.

И не только это, в дальнейшем заметил, доктор стал избегать смотреть мне в глаза.

Или это мне показалось, от мыслей?

Доктор повёл головой, блеснул очками и произнёс, не глядя на меня:

— Ганглион у Вас.

Сказать, что меня ударили по голове кирпичом, ничего не сказать. Меня ошеломило и на некоторое время лишило соображения. Я молчал. Слова доктора опрокинули мой мир. Я потерял ориентиры, так необходимые в жизни. Я растерялся. Так бывает. К счастью, проходит.

Таков человек.

Я ожидал многое, но только не это.

Однажды я упал с крыши амбара и сломал при этом позвоночник, пятый снизу позвонок. Полгода я жил закованный от горла до копчика в толстый и очень тяжёлый гипсовый панцирь.

Страдал ужасно. Однако, знал, что это на полгода — и всё, я свободен. Было немало иных случаев хвори, все они заканчивались, и я забывал о них навсегда. Будто их и не было.

А тут ганглион.

Оставь надежду, всяк входящий.

Мне привиделась незнакомая комната, окно, огромная луна, светящая, как прожектор, и странное лицо за окном со взглядом, обращённым в вечность.

Так мне показалось.

Я вздрогнул и пришёл в себя.

Видимо, моё состояние отпечаталось на лице.

— Да не берите Вы в голову, — произнёс доктор, вроде участливо, но не очень уверенно.

«Хорошо ему говорить, он доктор и должен успокаивать. У него такая работа», — подумал я.

Видно, справедлива пословица: «Самая лёгкая болезнь — это брюшной тиф у соседа». Лучше бы дал хороший совет. Мне-то что делать? Впрочем, я сам понимал, что никакой совет мне не поможет.

Ганглион.

Этим всё сказано исчерпывающе и беспощадно.

А возможно, обойдётся? До сих пор обходило. До поры.

Зачем я пошёл в поликлинику? Не следовало мне приходиться сюда. Тем более, вообще не следует ходить к докторам, особенно к хорошим.

Зачем пошёл?

За вкусными пирожками с картошкой, мясом, капустой.

Ганглион.

Домой вернулся в самом поганом настроении. Достал медицинскую энциклопедию, нашёл «ганглион» и прочитал: «нервный узел».

Ну и что? Господи, да это же пустяк, а не болезнь! Доктор мог бы ясно и просто сказать мне это, словом, успокоить, но не сказал. Я же пациент, со мной надо деликатно, щадяще.

Да, впрочем, и я хорош, запаниковал, можно сказать, на ровном месте.

Я бережно поставил полезную книгу на полку, выпил стопку водки, достал из сумки пирожки и хорошо покушал. Начал с любимого — с капустой.

Всё же не зря я съездил в поликлинику.

Княгиня

Тамара Ивановна Ахметели, урождённая Трифонова, а в окружении своих друзей просто Княгиня, отмечала своё сорокалетие. Нам быть непременно, ибо она ближайшая подруга моей жены.

Дети, как обычно, нас не отпускали. Так что пришлось пойти на хитрость, то есть, как бы, идти на родительское собрание, но здесь получился явный перебор. Они не только смирились, но даже стали подгонять нас. Оля с беспокойством сказала, что если мы опоздаем на собрание, то ей достанется от учительницы, а Диме — то же от воспитательницы.

Маршрут наш состоял из автобуса до Сокола, затем трамвая до Беговой. Зашли в магазин купить водки. Встали в очередь, стоим. Как обычно, если я в военной форме, ко мне подходят люди: тянет их потолковать о жизни с воином и тем самым как бы приобщиться к воинской доблести.

На моих глазах крепко выпивший парень, прежде чем подойти ко мне, долбанулся навзничь на тротуар затылком; странно, что упомянутый орган, а именно затылок, не треснул.

Подошёл, глаза полузакрыты, таинственно усмехается и толкует о месте прохождения службы, своей и моей, в настоящее время и ранее.

— Я ничего не говорю, понимаешь? Я просто скажу, Макдебург, Лейпциг. Это вам ничего не говорит? — он жаждал найти знакомые нам обоим места прохождения службы и одновременно помнил о необходимости сохранения военной тайны. Служивые люди любят всякие тайны, и в этом в значительной мере состоит значимость и смысл их воинской службы.

Затем, решив, что хватит темнить, парень размяк и принялся жарить свою воинскую биографию. Докладывал главные её, так сказать, значимые вехи и не разменивался на мелочи.

— Вначале служил там, — он, очевидно, имел в виду Германию, но кивнул при этом в сторону винного отдела, — потом поступил в академию. Потом... — глаза его выразили грусть, — потом стал пить.

Он помолчал.

— Потом... бросил пить. И до сих пор не пью! — убеждённо заключил он.

По его физиономии трудно было определить, радовало его это или огорчало.

— Что ж, — дипломатично и неопределённо заметил я, — всё в жизни имеет конец, даже это.

Он понимающе улыбнулся кривой гримасой пьяного паралитика.

Подошла продавщица и налила ему водку в четвертинку. Парень жадно следил за её манипуляцией, затем потянулся к посудине и в экстазе накрыл её, желанную, ладонью. Смотреть на бутылку, касаться её и тем более держать в руках доставляло ему искреннюю радость, как шаг к желанной выпивке.

Меня он уже не видел, он попросту забыл о моём существовании; у него сейчас дело поважнее. С величайшей осторожностью засунул четвертинку в правый карман пальто, прикрыл клапаном, ладонью через материю обнял её, предохраняя от опасностей, и одновременно испытывая радость прикосновения. Быстро отошёл. Но снова упал!

— Я видел, как он ахнул, — сказал пожилой, низкого роста мужчина в коротком спортивном пальто с меховым воротником. — Я шёл позади, совсем близко, мог его удержать, только руку протянуть, да рука-то в кармане, пока вытащил — тот уже на спине.

Нам с Тоней поручено встретить Инну, ближайшую душевную подругу Тамары, весьма аппетитную дамочку. Они трогательно дружили. Близость их отношений зашла так далеко, что однажды Тамара отдалась любовнику Инны. Разрыв между подругами длился целый год.

Сегодняшнее randevу должно сломать и растопить лёд испорченных отношений. С тем вероломным и неблагодарным мужчиной Инна порвала решительно и бесповоротно и теперь бежала с какой-то новой встречи.

Тоня с Инной идут впереди, а я, пронзаемый радикулитом, держа в руке букет красных бархатных гвоздик, ползу позади.

Взошли на третий этаж, позвонили. «Один звонок Ахметели», — ишь, Тамара, власть в квартире захватила; она открыла дверь и с сердечной улыбкой пустила.

Тамара высокая и великолепная, однако, сорок лет не отбросишь. Фигура отчётливо ассиметрично полнела: чрезмерная грудь и несколько поплневшая талия, зад и ноги прежние, если не сказать, что похудели. Очевидное лёгкое нарушение гармонии.

Тоня с Тамарой не виделись полгода. Тамара за это время наделала немало грехов и им было о чём поговорить. Тамару распирало исповедаться, а Тоня жаждала рассказа. Хотя они не считали меня лишним свидетелем, однако некоторые, особо пикантные подробности, всё же не решались осветить при мне, переходили на шёпот.

— Пойду, посмотрю вашу кухню, — дипломатично сказал я, вставая.

— Только не забудь потом спустить воду, — напутствовала Тамара, одобряя мой уход.

Коридор в виде буквы П велик и основательно заставлен мебелью. Я всё осмотрел, затем, чтобы убить время, погасил свет и стал прохаживаться в коридоре во тьме. То и дело я наткался на предметы, раздавался грохот, иногда ушибался. Однако, меня позвали.

Видно, разговор у них в моё отсутствие состоялся чрезвычайно интересный, ибо Тамара сидела одухотворённая, а у Тони всё ещё были широко открыты глаза, ибо её изумление от услышанного ещё не улеглось. Не присутствуя при разговоре, я и так знал его суть.

В доме отдыха в неё влюбляются женатые мужчины, мучаются, страдают, добиваются её любви, она над ними издевается, и заканчивается всё одинаково: они не собираются бросать ради неё свои семьи. Жёны их эгоистичны и некрасивы, и всему виной дети. Для женщины эта тема сладостна.

Тамара жаловалась на одиночество, и я ей в этом сочувствовал, но только в этом. Всё остальное меня не трогало: она переоценивала свои чары. Таковы, однако, все женщины. Я-то прекрасно понимал, что её ухажеры просто на досуге желали бросить палку, а ей мерещились любовь и страдания. Она выращивала их в своём воображении и хранила внутри этот сладостный мир любви и страданий. Это придавало смысла жизни.

Клянусь, я не хотел разбивать её иллюзии, лишь высказал несколько лёгких, возможно, несколько неосторожных суждений, но их оказалось достаточно, чтобы она обиделась на меня за чёрствость и нечувствие. Не мог же я одобрять её во всём; в своих поступках она нередко переходила рамки дозволенного, бесцеремонно вторгалась в судьбы людей, даже ей близких, и увлекала их в свой выдуманный мир. Флиртвала с полковником, мужем своей хорошей знакомой, переспала с любовником лучшей подруги. Как можно! Это же непорядочно. То, что я привёл здесь — кроха от ею содеянного.

Сегодня слева от Инны сидел Аркадий, новый знакомый Тамары. Он поразительно похож на Бориса Ахметели, ныне покойного мужа

Тамары: такой же очень высокий, стройный, с такими же манерами, самолюбованием и притом примесью сюсюканья.

«Что она их, по шаблону выбирает?» — подумалось мне.

Муж Инны Алексей — блестящий лектор-международник ЦК КПСС, короткий с искривлённой шеей, почти урод, но в высшей степени интеллеktуал и эрудит — сегодня отсутствовал к всеобщему сожалению и едва ли не скорби.

Его антипод Константин, тощий с лошадиным лицом, ушами, торчащими в стороны подобно деревянным ложкам, вытаращенными глазами, правдиво отражающими уровень его скудного интеллекта, скорбел по поводу отсутствия Алексея сильнее всех. В паре они представляли собой редкий, причудливый дуэт, разительный контраст двух противоположных, напрочь не совпадающих натур. Вместе с тем, совместное их действие выглядело истинным шедевром.

Соседи злятся. Наши гульба и шум их беспокоит. С одной стороны, люди имеют право на праздничную вечеринку, с другой, можно понять и соседей. Однако, этого взаимного понимания не было и в помине. В итоге получается — чьи нервы крепче, то есть налицо бытовое противостояние.

Константин, как наиболее радикальный выразитель нашей стороны, не просто пляшет, он сильно прыгает вверх и с грохотом обрушивается на паркет; паркет под ним дыбится, а напряжение в электрической цепи на мгновение падает. Я не солидарен с соседями, но полагаю возмездие несоразмерно суровым.

Вечер в разгаре. Выпиваем. Все вспоминают Алексея.

— Один такой на десять тысяч, нет, на двадцать пять тысяч, — орёт Константин.

Немного подумав, он усиливает свой довод и решительно заявляет:

— Таких людей, как Лёша, вообще нет на свете!

Он с сожалением, почти со скорбью предлагает тост за здоровье отсутствующего Алексея.

Тамара в бешенстве, но тост принят и выпит.

В кухне делят индейку. Я подсматриваю и хотя ничего не вижу, но намеренно сознаюсь.

Людам нравится уличить меня в недостойном поведении, все смеются, даже хохочут. В целях развития успеха я сказал, что ненаходчив в транспорте и обычно опаздываю достойно ответить на грубость.

Смеются.

Вообще у меня в жизни не было ни одного случая быстро найти достойный ответ.

Хохот!

Ещё я рассказал, как один красивый мужчина на пари выпил четвертинку водки и заел лягушкой, тремя кусками торта и шартрезом. Тут общественность проявила неожиданный интерес. Посыпались вопросы, пицала ли лягушка, очутившись в желудке, жевал он её или заглывал гуманно, не повреждая, и прочее.

Я продолжил, поведав, как мой малыш Дима набирал полные кармашки лягушат, а когда их у него отбирали, прятал во рту.

После закрытия темы нам, мужикам, досталась добрая половина торта и ещё большие куски, которые жёны не успели съесть.

Потом пошли танцы. Вначале парами, вполне пристойно, затем паровозиком. Мы слегка подпрыгивали на одной ноге, быстро вращали носком другой, поднятой как можно выше, и при этом раскованно кривлялись.

Получается, что даже интеллектуалы разминаются древним способом; глубинная натура берёт своё.

Мы совершали различные телодвижения, в том числе и не вполне приличные: вздымали руки по очереди вверх и там их вращали. Лично я предпочитал дыхательные движения; они обладают новизной и благотворно влияют на самочувствие.

При дележе индейки я выкликнул себя, это был сильный и, главное, неожиданный ход. В результате мне достался первый кусок, а именно, сочная и вкусная гузка. Я съел её с аппетитом, тогда как другие потешались надо мной, упирая в основном на единственность органа и проводили в связи с этим всяческие непристойные параллели. Словом, мой выбор доставил гостям массу веселья.

Тамара зачитала нашу поздравительную открытку, и все сочли поздравление весьма оригинальным. Моё авторство не вызвало ни у кого ни малейшего сомнения, хотя, сказать по правде, сам я придумал только первую фразу. Текст заимствован мною из работ Фейербаха, жизни Марка Твена и сдобрен библейской манерой изложения.

Меня, как единственного военного человека, да ещё в чине подполковника, офицера Генерального штаба, попросили сделать прикидку плана нашего дальнейшего развлечения, и я тут же принялся. Прежде всего, я предложил выпить несколько рюмок, а затем станцевать греческий танец сиртаки.

Никто не знал, как держать руки по-гречески; я показал это, и все поверили, хотя лично я не был убеждён в греческом происхождении положения моих рук.

Константин, не обладая хотя бы удовлетворительным интеллектом, в отдельные минуты просветления выдавал своеобразные и довольно интересные предложения. Он, к примеру, подал мысль плясать голыми, и обосновал это наличием давних дружественных связей и традиций всех присутствующих.

Меня, признаться, это немного покорило, как слишком уж откровенное бесстыдство, с другой стороны, я всегда уважал иное мнение, поэтому со своей стороны предложил компромисс, а именно — мазать голые тела фосфорной краской. Эффектно, и, в то же время, образуется некоторое прикрытие чрезмерной обнажённости.

Наши предложения, однако, были восприняты как шутка и большинством криков с негодованием отвергнуто.

Подошла моя очередь произнести тост. Обладая некоторым опытом в подобного рода делах, я решил прежде всего избавиться от ошибок, присущих всем слышанным мною ранее тостам, придав своему тосту редкую в наше время искренность, которую почитал главным достоинством человека. Я твёрдо заявил, что скажу одну только правду, а услышав иронические реплики, поклялся, что так и сделаю.

После этого субстанционального вступления я принялся восхвалять виновницу торжества, то есть княгиню, но умеренно, чтобы не подмочить собственный авторитет. Я знал, как невыносимо выслушивать пространные речи, и планировал сильно сократить свою.

Добродетели Тамары я лишь кратко перечислил; тут нечего было и сокращать. После чего я резко оборвал тост, прокричал здравицу и призвал выпить! Настроенные вздремнуть вздрогнули и поспешно наполнили свои рюмки. Люди согласились с моим тостом и с чувством выпили. Один лишь Константин упрямо стоял на своём; он заявил, что выпьет за свой тост, которым он хочет выразить скорбь по поводу отсутствия... тут он надолго задумался, вспоминая... Лёшки. Скорбь для Константина стала потребностью, так сказать, самоцелью, предмет скорби ушёл у него на второй план, хотя без него сама по себе скорбь выглядела бы совсем уж абстрактной. Он это ещё понимал, и скорбный образ пьяницы и дебошира Алексея периодически вставал перед его мысленным взором во всём своём шельмовстве, интеллекте и обаянии.

Холодная война с соседями между тем не утихала. Они периодически звонили и вешали трубку: шла холодная война, война нервов.

Я предложил снять на время трубку и не поднимать; нас не беспокоит, а им каково, без конца набирать номер и получать от нас по морде, в смысле, короткие гудки.

НЕМНОГО ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСЕЯ

От сумы да от тюрьмы не отказывайся.

Старинная пословица.

В жизни женатого мужчины рано или поздно могут наступить сложные минуты, так сказать, тяжёлая, если не сказать безысходная, ситуация. Началом, то есть сигналом к беде, обычно служит вопрос жены, произносимый с очевидным или плохо скрываемым внутренним напряжением.

— Где ты был?

Было бы несправедливым по отношению к прекрасной половине человечества грубо заявить, что этот вопрос может возникнуть в любой момент и без веской причины. Увы, нет. Самый банальный повод — это более поздний, чем обычно, приход домой. Дело может усугубиться некоторыми незначительными на наш взгляд, но исключительно важными для женщины деталями, такими, как, скажем, запах незнакомых духов или алкоголя, косноязычие, неустойчивая походка, грязь на одежде в сухую погоду и ряд иных. Сильно раздражает дамский платок, найденный в кармане пиджака, а обыск, как правило, имеет место.

У одного хорошего человека жена нашла бюстгальтер; сколько же усилий, ухищрений и искусства пришлось применить тому, доказывая, что это подарок ей, жене. Спасло мужика то, что предмет оказался почти новый и схожего размера; жена почти поверила. Но это вообще, а вот конкретный случай с нашим героем.

Соседки доложили Инне, что её муж, Алексей, приводил в её отсутствие женщину, да не простую, а негритянской расы. Этим доносом они мечтали вконец загубить Лёшку, а заодно и Инну, которая на порядок красивее их всех вместе взятых и к тому же не болтала с ними попусту. Но они недооценили Алексея. Тот хитёр и находчив, как сатана!

Так или иначе, но только Инна его прижала. Глаза злющие, красивые до невозможности, как воспаряют поэты, бездонные синие овальные озёра, но в данный момент круглые.

Фигуренция у Инки, выражаясь сапожным языком, товар люкс, стройная, среднего роста, главные дамские места сексуально выделены. Аж в озноб бросает! Одно слово, сахарная.

А Лёшка! Образина, можете себе представить, истинно макак, без шеи, морда шельмоватая и пройдошливая, на монгола смахивает. Я это говорю не для того, чтобы монголов обидеть и вообще скуластых людей, а для наглядности. Да, именно без шеи. Всё равно, будто голову приставили к плечам, да ещё косо, небрежно. И вид такой, как, вроде, он насмеяется над людьми. Вид гнусный! Однако к действию.

Алексей ухнул на колени, аж паркет брякнул, и возопил, закартавил своим бесстыжим голосом:

— Инна, опомнись, Это недоразумение!

Никогда, мерзавец, не терялся, ни в каких ситуациях, одно слово — жулик.

— Это был мулат, мой знакомый мулат! Абдурахман. Я ещё тебе о нём рассказывал. Отличный мужик, хотя и мулат.

— И вот до сих пор не знаю, как и что на самом деле, — рассказывала Инна, лёжа с Виктором на просторной кровати. Указанного Виктора рассказ Инны интересовал мало; он прижал её к себе и постепенно добивался своего. Инна лежала, задумавшись, однако вскоре она зарядилась желанием и уже ожидала решительных действий. Он не заставил себя ждать, и они забыли про Лёшку с его проделками и шельмовством.

Кстати, теперь Алексей не пьёт; он долго лечился от запоев. Всё же лектор-международник Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и вообще.



*Валентина, самая душевная
Тонина подруга с юных лет,
чистый и порядочный человек*



*Саша, близкая Тонина подруга, жена
экс-посла в Австрии Белякова*



Владимир, Оля и её душевная подруга Лариса



Юрий Дидык



Лена



Тамара и Тоня



*Дима, Тоня, Нэлли — дочь генерал-полковника Сусайкова заместника
России в Румынии в 1945 году, Леночка и Костя*



*Слева Алексей — умнейший и остроумнейший человек из всех, которых
знал автор по жизни, Дима, автор, Нина, Тамара, Тоня*



Тоня, тёща и тесть актёра Пороховщикова Зоя и Валерий, полковник

Миноги

Он стоял и осуждающе смотрел на груды разномастной обуви, некрасиво захламинвшей часть и без того крошечного коридора. Срамота, ступить некуда. Кто придёт, стыда не оберёшься, наружную дверь не откроешь.

Как бы в доказательство обратного щёлкнул замок и вышеуказанная дверь стала медленно, но решительно открываться, сгребая при этом обувь: тапочки, кроссовки, ботинки, калоши под её нажимом поехали в угол. Ещё нажим — проход открыт, и в него протиснулась Тоня с двумя объёмистыми хозяйственными сумками.

Видно, что она устала тащить поклажу, но поскольку приобрела всё необходимое, то была довольна. Лицо, розовое от мороза, и большие голубые глаза обращены на него с редким оптимизмом.

— Держи! — она смеясь качнула пудовые сумки на него; он подхватил их и крикнул.

— Как ты тащила такую тяжесть?

— Смотри, что я купила, — она нырнула в одну из сумок, извлекла из груды свёртков промасленный пакет и торжественно развернула.

— Миноги!? — ахнул он в восторге от одного вида жареного деликатеса. — Отчего так мало? — тут же заныл он.

— Денег не хватило, — ответила она, жуя кусок сыра. — В магазине самообслуживания.

Он огорчился.

— Маловато, с сожалением будем есть.

— Сходи, купи ещё! — решительно поддержала его жена. — Заодно четвертинку возьмёшь и... сливочного масла, — добавила она в раздумье, — ... и всё.

«Хорошо быть семейным человеком и иметь такую славную жену, — растроганно подумал он, целуя Тоника, — тебя понимают, и это огромная поддержка в жизни». Набросил пальто, нахлобучил шапку, схватил сумку и отправился. В пути волновался, хватит ли в продаже миноги.

В магазине ещё издали пытался разглядеть прилавок. Вот она, куча змеек, хаотично переплетённых в клубок.

Иные люди не едят миног из-за их змееподобия, а зря, такие люди много теряют. Вкус миноги уникален. «Не смотри на форму, смотри на содержание».

— Один килограмм миноги, пожалуйста.

Полная, приятного облика продавщица недоверчиво улыбнулась.

— Вы не шутите?

— Нет, а что?

— Некоторые не берут, содрогаются.

— Я обожаю этот продукт.

Уложив рыбу в сумку, он успокоился, но вспомнил про масло; направился в нужную секцию, соображая по пути, не купить ли пива. Подошёл к лотку и, продолжая думать о пиве, взял брикет масла, уложил в сумку и уже шагнул было прочь, как обнаружил по броской надписи, что оно солёное. Он не припомнил, чтобы Тоня когда-либо покупала солёное масло, зато хорошо знал, чем заканчивались его попытки проявить в домашних делах самостоятельность и тем более инициативу, пусть самую малую и на его взгляд полезную.

Сам-то он почитал себя не намного глупее жены, но та имела по этому вопросу резко отличающееся мнение и частенько воспитывала, обличала его, как она говаривала, «для твоей же пользы». Они с Тоником женаты уже одиннадцать лет; между прочим, эту радостную для них обоих дату они недавно отметили бутылочкой рецовки.

Однажды он часа два выслушивал укоризну «и воспринял её с искренней благодарностью» в связи с тем, что, как она сказала, если уж покупать водку, то настоящую белую, а не всякую дрянь.

— Когда только ты научишься думать?! За тобой нужен глаз да глаз! — добавила она сокрушённо.

Из всего сказанного, надеюсь, стало ясно, что у него неизбежно образовалось устойчивое и чрезвычайно полезное свойство-рефлекс — строго, детально и безропотно выполнять указания жены. По жизни, однако, и это не всегда спасало, ему приходилось иногда слышать:

— Неужели сам не мог догадаться?! Всё тебе говори. Говори!

Всё же такие крайние ситуации создавались значительно реже и протекали в умягчённом виде. Люди снисходительно смотрят на промахи ближних, если полагают их следствием недостатка ума и опыта, сравнительно с их умом и опытом.

Итак, строго следуя вышеуказанному правилу, он возвратил брикет с солёным маслом в лоток и взамен взял несолёное, опять же ориентируясь по надписи на обёртке, однако тут же остановился. В лотке красивой пирамидкой смотрелись брикеты по пятьсот граммов и брикеты по двести граммов. Тоня обычно приносила сливочное масло в двухсотграммовой упаковке; чуть поколебавшись, он кинул в сумку брикет и, не теряя больше времени, перешел в пивной отдел. Взял пару бутылок, уплатил и вышел.

Стоял ранний мартовский светлый вечер, хороший морозец без ветра освежал и радовал.

Люди сновали.

Теперь за водкой, и он повернул «он ве райт ту» к винному магазину.

«А хорошее ли масло я купил?» — внезапно подумал он; мысль эта слегка его сотрясла.

«Возможно, рассеянный покупатель, вроде меня, кинул солёное масло в пирамидку несолёного, а я его ухватил, как в лотерее. Могло такое произойти? Могло.» Больше того, он допускал, что это очень даже вероятно; в его рассуждении не было изъяна. Он расстроился, а плохое настроение не приводит к добру; человек должен постоянно находиться в подтянутом, бодром виде, дабы быть готовым к любым ситуациям.

Уступая дорогу женщине с коляской, он шагнул назад и в сторону, споткнулся о палисадник и зашумел спиной в сугроб. Собачка в поясице у него щёлкнула, радикулит сработал, и он остался лежать на снегу, подтаявшем и грязном, обильно покрытом окурками, накопившимися в течение зимы.

«Какое же я в натуре взял масло, солёное или несолёное? — подумал он, решив отлежаться. — Солёное стоит 62 копейки, а несолёное — 72, и я отчётливо вспомнил, что на моей пачке виднелись 72. Значит, несолёное».

Он осторожно повернулся на живот и встал на четвереньки. С этим радикулитом следует обращаться почтительно.

— Нализался, подонок. Небось, семья имеется, кормилец хренов, — прошипела проходящая пожилая женщина.

Он не собирался указывать этой доброй женщине на её ошибку. Он поднялся, постоял, пробуя на боль, шагнул на тротуар, отряхнул прах и двинулся дальше.

«Скорее всего, моё масло солёное. Несолёное масло имеет отличающуюся упаковку, а цену могли прилепить по ошибке».

Он вошёл в винную секцию, самое оживлённое место в магазине, и хотя основную массу покупателей здесь нельзя отнести к сливкам общества, но было интересно, и цивилизованная жизнь кипела вовсю.

Он влился в толпу жаждущих выпить; глаза у многих мутные, заплывшие и выкаченные. У других, напротив, закрыты до щёлочек, в нос сильно било перегаром.

К нему подступили:

— Давай на троих.

— Нет, мне одному, — встал в очередь.

«Если масло мне попало солёное, Тоня, скорее всего, будет недовольна. Можно, как выход, предложить жарить на нём картошку, нет, не пойдёт. Картошку жарят на растительном масле, лишь потом добавляют сливочное, и то немного.

Придётся есть самому, весь кусок! Дня за четыре съем. Если утром с хлебом и чаем, и вечером.

Можно прихватить бутерброд на службу, тогда справлюсь за три дня, а если ещё угостить коллег — и дело с концом».

Приняв эти размышления за план действий, он принял из рук продавца бутылку «Российской пшеничной», нежно взял её за стройную шейку и бережно опустил в сумку.

«Белая, тут без ошибки», — светло, с чувством человека, исполнившего правильное дело, подумал он, но иная мысль залила его жаром. «Тоня просила четвертинку, а я несу пол-литра! Опять двадцать пять! Конечно, это не масло, мог бы и за вечер уговорить, но кто мне позволит-то?»

Он машинально втянул голову в плечи; плечи пригнул в покорности и послушании, да и пошагал к дому.

Вечер прошёл в приятной, хотя и несколько шумной беседе. Он хорошо кушал, немного выпил и ласково смотрел на жену. Говорила Тоня, а он внимательно слушал. Наслаждались миногой, масло ещё не опробовали, а горячая речь шла пока о второй его ошибке.

Поруки

Он был омерзителен. Ну и рожа! Наглая: чувство превосходства над людьми так и выпирало из него. На вопросы отвечал, если хотел, или не отвечал вовсе. С огромным трудом можно было разглядеть в нём что-нибудь положительное: это когда он не кривлялся, не изгалялся над людьми, что, по правде говоря, случалось с ним редко.

В такие промежутки времени он выглядел даже красивым, среднего роста и стройным.

Видимо, когда-то он смотрелся даже прилично. Но, повторяю, это приличие можно разглядеть с огромным усилием и лишь временно.

Мне стало жаль, что такой, в общем, нормальный, скроенный по Божественному Начертанию человеческий материал так безжалостно испорчен. Кто виноват? Как это случилось?

Дело, по которому он попал под суд, такое же вздорное, как и вся его жизнь. Напился, сквернословил, подрался, и хотя бандитом он ещё не был, но всё шло к этому.

От нашего коллектива подано ходатайство в суд о передаче его на поруки; существовало такое в своё время. Но я-то прекрасно понимал, что «поруки» — это чистая формальность, которая позволит парню уйти от ответственности и не более того; фактически никаких «порок» не будет, ибо никто не знает, как это «взять» и, тем более, «держат» на «поруках». В лучшем случае, какой-нибудь профсоюзный босс поинтересуется: «Ну как он у вас?»

Со мной в суде наши ребята и девочки из конструкторского бюро; в перерыве мы курили в коридоре, и тут я предложил:

— Ребята, давайте выведем этого парня в люди, жалко ведь, пропадёт.

Моё предложение коллектив встретил без энтузиазма, больше того, с прохладцей.

— Этого подонка-то? — со злостью бросил Костя. — Благодарю покорно, ты посмотри на его рыло, это же питекантроп.

— Костик, ты чересчур, не такой уж он противный. У него волевой подбородок, и не будь у него фингала под глазом, выглядел бы вовсе неплохо.

— Да, фигура, — задумчиво протянул Виктор. Он слыл среди нас социологом, и я рассчитывал на его поддержку.

— Коллеги, — сказал я как можно проникновеннее, — я ведь не просто так, у меня план.

Исправлять станем не формально. Во-первых, объявим парню, что по первому нашему требованию он будет передан в суд. Во-вторых, сразу его давить, а о дальнейшем сообразим позже. Не давать ему дышать. Нас много, двое постоянно с ним.

Как я уговаривал ребят — не перескажешь, но только уговорил и они согласились.

Составили список; получилось двадцать восемь человек, то есть, четырнадцать пар.

Не подозревая о серьёзности наших намерений, парень поставил закорючку под вышесказанными условиями, насмешливо гыгыкнул и даже нагло подмигнул смазливой Тamarке.

Мы вышли на улицу; он с нами.

— Ну что, папы-мамы, это дело надо обмыть! — радовался парень.

— Нет, сынок, нет, милый, — ответил Костя, обняв его за талию, — пойдём к тебе домой, поговорим, как станем жить-тужить дальше.

Костик — юноша здоровый, можно сказать, амбал, и от его дружеских объятий парень прогнулся.

Мы познакомились с его мамой и сестрой Катей, которые были обрадованы нашим решением опекать Виктора. Родные, как иначе.

— Товарищи у него плохие, скверно влияют, — посетовала мама.

Понимая трудность предстоящего, мы тщательно готовились: уселись в столовой у большого круглого стола и обсудили распорядок его дальнейшей жизни, день за днём.

Виктор, всё еще в радужном настроении по случаю столь удачного и лёгкого избавления от суда, напрочь не воспринимал наши мероприятия всерьёз. Он улёгся и спал до шести утра.

Проснулся, увидел ребят и помрачнел.

— Вы, ребята, ещё здесь? Пойду, подышу! — бодро сказал он и, не глядя на них, стал надевать пальто.

— Ну что ж, сынок, пойдём, подышим, — согласился Костя. Они с Надей, чтобы не терять времени, читали английский текст.

Гуляли, время шло, выпивка у Виктора срывалась. На работе день прошёл нормально, хотя хотелось выпить. Улучив момент, он вытащил заранее приготовленную банку с клеем, открыл её, вставил сверло и включил. Клей мгновенно оказался навёрнутым на сверло. Виктор выключил агрегат, вынул сверло и посмотрел в банку: чистейший спирт! Он поставил банку в угол и отошёл пошарить закуски.

По возвращении он увидел у станка Дмитрия, который держал его драгоценную банку в своих мерзких руках.

— Что же это ты, Витя, а? Банку изымаю.

Виктора охватили злоба и отчаяние; ну что они привязались! Как быть?

Мы надёжно изолировали его от дружков.

— Я тебя, слон, поймаю, попадётся мне! — угрожал один из них, Федька Тупорылый.

— Топай, топай, супермен, — подтолкнул его Костя солдатским манером.

Ежедневно происходили культурные мероприятия: мы водили его в кино, театр, в Третьяковку, по местам боевой славы. Виктор похудел и потерял аппетит. Из Третьяковки он вернулся на трясущихся ногах.

— Братцы, он не выдержит.

— Да, нагрузка огромная для его крайне низкого интеллекта.

— Это тяжело, как для нетренированного человека пробежать десять километров, — прокомментировал Димка, спортсмен.

— Имейте в виду, его раздрают внутренние противоречия, — задумчиво произнесла Надя, наш душевный врачеватель.

— Да уж, — ухмыльнулся Костя, — «внутренние противоречия» у этого неандертальца.

— Зато он на правильном пути, — заключил диспут Дима.

Выставка графики художников-передвижников девятнадцатого столетия Виктора доконала. Домой он возвратился в крайне тяжёлом состоянии, а после обстоятельного разбора впечатлений от картин впал в протрацию. Мы отвели его к врачу; медицина его откачала.

Придя в себя, ещё находясь под капельницей, он слабым голосом попросил перо и бумагу и трясущимися руками написал заявление: «Прошу судить меня по всей строгости закона, а от поруки освободить».

— Не выдержал старик, — с сожалением сказал Дима.

С тех пор Виктор без особых видимых причин стал то и дело вздрагивать всем телом.

Этакая длинная судорога. Врачи говорят, что это явление есть следствие некоего тяжелейшего потрясения. По неустановленной причине у человека произошла мозговая катастрофа. Со временем, возможно, пройдёт. Но случай чрезвычайно редкий, уникальный.

Вот такая история.

Собаки

О том, как длительная обстановка, иными словами, обстоятельства воздействуют на животных, может показать разительный жизненный пример с двумя собаками, свидетелем которого был я лично.

Я двигался на службу пешком: люблю ходить, и при первой же возможности хожу.

Перешёл пустырь между Большим Девятинским переулком и Конюшковскими улицами; последних уж нет вовсе, дома снесли, а улиц без домов, их составляющих, как известно, не бывает. Улицы эти, однако, существовали, это факт, они прочно осели в человеческой памяти, и забыть их просто так невозможно, ибо они наша история.

Выше, у Садового кольца, пустырь ограничен посольством Соединённых Штатов Америки, это с правой стороны, новым домом-книгой Совета Экономической Взаимопомощи, а слева двумя школами в пять этажей каждая, сложенными из красного кирпича.

Иду. Снег рыхлый, но на тропинке утопан. Навстречу белый пудель с хозяйкой. Пёс бежит прямо на меня, но в рассеянности и несобранности этого не замечает. В таком состоянии он ткнулся мордой в моё колено и не для того, чтобы понюхать или, скажем, в желании познакомиться, а ненароком.

— Куда смотришь? — спросил я его. — Ошалел?

«В этой собаке, очевидно, потеряно чувство осторожности, ввиду полного отсутствия внешней опасности из-за чрезмерной опеки со стороны хозяйки», — подумалось мне.

В другой раз я, напротив, возвращался с работы и около метро «Фрунзенская» среди снующих в разных направлениях людей обнаружил собаку, мимо которой не смог пройти равнодушно.

Чёрный, средней величины молодой поджарый пёс с аккуратной мордой и прекрасным экстерьером; шерсть короткая плотная. Он не

грязен и тем более не шелудив, но сильно запылён; хвост плотно прижат к попе и исчезает под брюхом.

Интуитивно, но и по многим признакам я догадался, что пёс не прочь обрести хозяина; наверняка был голоден. Я невольно остановился около него. Он тут же робко подвинулся ко мне и заглянул в глаза.

С ума сойти!

Найдётся ли человек, душа которого не дрогнет от такого взгляда!

Пёс тихонько, еле слышно, тонко проскулил, как пожаловался. Скажи я ему «Пойдём?», он наверняка утвердительно кивнёт мордой и отправится со мной куда угодно. Вместе с тем, он не выглядел жалким или совсем уж одиноким.

Пёс мне очень понравился. Я стоял и не мог отойти, а он, в свою очередь, поглядывал на меня, как бы поощряя к решительному действию. При этом он находился в непрерывном движении, замечал всё вокруг, успевал чуть подвинуться, чтобы уступить прохожему, переступал лапами, быстро поворачивался, будучи постоянно начеку и готовый среагировать на любую опасность, да ещё при этом он не терял из вида меня.

Чудесный пёс! Настоящая собака, та самая, которая без человека никуда и вся для человека.

Самый верный союзник, который и жив-то этим союзом.

Возможно, тот белый пудель, попади он в нужду, тоже вспомнит, что он собака, а может быть, и не вспомнит, кто знает?

Но только чёрный пёс мне несравненно больше по душе.

Телевизор и Боря

Наш телевизор «Рекорд» служил честно и добросовестно более девяти лет. Купил я его в ГУМе в 1958 году; за это время ему понадобился всего один ремонт, замена кинескопа. До сих пор не сомневаюсь в его полезной способности функционировать и дальше, если бы не одно обстоятельство.

Дело в том, что однажды нас навестил брат моей жены Борис по профессии радиоинженер.

Он очень любил своё дело и не мог физически пройти мимо телевизора, не поковырявшись в нём. Особой его любовью пользовался наш «Рекорд».

Едва переступив порог нашей флэт, Борис, крупный полный мужчина с большими выпуклыми голубыми глазами кидался к «Рекорду» и щёлкал выключателем.

— Он у тебя слишком медленно нагревается, — изрекал он, глядя на часы.

— Кадр бежит; это или ловушка барахлит, или резкости нет, — развивал Борис свои наблюдения. — Экран темноват.

Вначале я соглашался с ним, как с авторитетом в области телевидения, и говорил:

— Да, Боря, что-то тут не то, может, глянешь?

Он молча снимал пиджак, закатывал рукава рубашки, требовал инструкцию, отвёртку, пассатижи и паяльник. Так же молча очищал стол, то есть, попросту сгребал в сторону всё, что находилось на столе. Затем, мягко крикнув, поднимал телевизор и сваливал его боком на середину стола. Я пристраивался сзади и любопытствовал, дышал ему в ухо.

— Ты пиво любишь? — между делом осведомился Борис, снимая корпус телевизора.

— Люблю, — честно признался я, пытаюсь разглядеть затейливый орнамент радиомонтажа, едва различимый в толстом слое пыли. — Особенно с таранкой.

Борис вставил вилку в сеть и принялся тыкать острыми стержнями тестера в различные точки схемы.

— Да, пиво это хорошо. Пошли кого-нибудь, купить закуски, — пробормотал он, как бы в связи с треском разрядов в аппарате. Он нагрел паяльник и принялся отпаивать, откусывать, отвинчивать; радиолампы, конденсаторы, резисторы так и отлетали в сторону. Он бесцеремонно, не заботясь о порядке, сгребал их в кучу. Из нутра вился белый дымок, в комнате запахло горелым и канифолью.

Вот стрелка тестера дёрнулась, свидетельствуя о кончине очередного радиоэлемента.

Борис вытер лоб и посмотрел на меня.

— У нас, Боря, рыбка есть, правда, не таранка, а бычки.

— Годится, — одобрил он. — Ну, пусть это полежит, пойдём, попьём пивка.

Я всецело доверял специалисту.

Мы прикончили несколько бутылок пива, нагрызли кучу рыбьих костей и вернулись к делу.

«Интересно, как он выйдет из положения», — думал я, глядя на забракованные Борисом элементы. Оказалось, просто и легко: он запускал руку в карман пиджака, наугад извлекал нужную деталь и впаивал её на место. Его карманы оказались набитыми разнообразными деталями.

— Боря, — робко встрял я, — может, здесь нужна иная деталь?

— Эта, эта, — успокоил он и вскоре закончил. Уставил аппарат на тумбочку и включил. Шел фильм «Три толстяка».

— Там у тебя ещё пара бутылок осталось, — напомнил Борис.

Я пошёл за бычками.

Сильно выпивши, мы с Борисом переходим улицу.

— Здесь переходить нельзя, — удерживаю я его.

— Нет, можно, никого нет, значит можно!

— Я часто прихожу домой выпивши, — рассказывает Борис, — Таня не ругает, а только молчит. Трезвым прихожу, когда у нас собрание. В таких случаях она видит меня трезвым и спрашивает: что, собрание было?

Однажды с Борей произошло следующее. После трудового дня решили выпить. То ли мужики оказались крепче на выпивку, то ли ловчили и пили меньше, но только Боря осел, а они ещё сохранили достаточно сил и солидарности, чтобы доставить его домой по месту жительства.

Дело, однако, оказалось непростым; понадобилась определённая производственная смекалка и даже знание элементарных основ физики.

Поначалу-то они весьма решительно уцепились за Борю с двух сторон под руки и потянулись, подобно бурлакам, в этот скорбный путь, но тут же убедились, что Борю сильно качает из стороны в сторону, в смысле, справа налево и обратно.

К тому же, самих бурлаков тоже кидало в указанные выше стороны, правда, с меньшей амплитудой. Словом, продвижения вперёд не происходило вовсе.

Мужики присели на детскую скамеечку и глубоко задумались, как бы вошли в созерцательное состояние; Борю временно заботливо усадили на травку. Выход снизошел на них интуитивно, через озарение.

Они взяли лежащие во дворе, приготовленные для дела кирпичи и вложили по одному в боковые карманы Бориного пальто. Для равновесия.

Укрепив таким образом его походку, они снова крепко ухватились за Бориса и начали движение.

Нельзя с уверенностью утверждать, что Татьяна выказала восторг от появления супруга, но это уж дело их, семейное. Здесь речь не об этом.

Прятели же, сдав Бориса жене, несмотря на определённую приглушённость соображения, приняли единственно верное в создавшейся ситуации решение. Они поспешили исчезнуть.

Наутро проспавшийся Борис решительно не мог взять в толк, зачем в его карманах кирпичи.

— Пригодятся, — наконец успокоился он. — Возьму на дачу.

Футбол

Парни готовы к поединку и буквально рвались в сражение.

Справа от ворот «Космоса», загораживая выход с поля, стоял жестяной переносный шлагбаум в виде прямоугольного металлического щита с красиво изображённым кирпичом.

Время от времени форварды нашего «Вакуума», будучи не в состоянии прорваться к самим воротам, били мячом что было силы по указанному шлагбауму. Звуки получались оглушительные, подобные боевому набату, и следует признать, они вселяли некоторую растерянность в защитников «Космоса», глушили, так сказать, их волю, и напротив, бодрили наших спортсменов.

Раз за разом наши бравые ребята посылали пушечные удары в ворота, однако чаще всего попадали именно в металлический щит с кирпичом. Это странно, ибо размеры ворот значительно превышали, в общем-то, небольшой, можно сказать, плёвый по размерам шлагбаум.

Таким своеобразным, пусть косвенным способом, наши форварды расшатывали оборону «Космоса», и нам, болельщикам, оставалось лишь ждать естественных плодов правильно и своевременно выбранной тактики.

Постепенно сдвоенный центр защиты «Космоса» вместе с чистильщиком Лысенко, чтобы избавиться от изнуряющего грома, стали смещаться от ворот к шлагбауму, как бы защищая его и тем самым уделяя большее внимание этому участку поля.

В какой-то момент защита «Космоса» в полном составе сместилась в указанную сторону, и гол, казалось, был неминуем. Неминуем, если бы наши славные форварды в некоем гипнозе поведения, войдя в логику и ритм ситуации, не забыли про ворота «Космоса» и продолжали бомбардировать шлагбаум.

Следует признать, что на ход поединка и на всех футболистов, несомненно, наложили свой отпечаток погода и состояние поля. Ночью прошёл сильный дождь, практически ливень. Поле залило обширными лужами, а грунт представлял собой болото. Футболисты

быстро покрылись грязью и напоминали больше диких кабанов не только неукротимостью, но и внешним видом.

Следует признать, что тренер «Вакуума» Автондилов толково построил стратегию игры, с учетом реальной обстановки.

Гавкина он, как всегда, сунул в защиту и поручил ему десятины три заболоченного поля возле ворот. Уныло пробродив свой участок, Гавкин, однако, пришёл к выводу, что положение его тяжёлое, но отнюдь не безнадежное. Дело в том, что, проходя даже без мяча, он не менее четырёх раз плюхнулся в грязь. Он убедился, что управлять мячом в условиях этой местности трудно и порою невозможно.

Гавкин, как человек, не полностью лишён соображения, поэтому он, по размышлении, решил охранять лишь относительно менее грязные промежутки между крупными лужами и отдать в распоряжение «Космоса» остальную, труднопроходимую территорию. Как показал дальнейший ход игры, решение Гавкина оказалось правильным; дело пошло даже успешнее, чем ожидал сам Гавкин.

Он стоял, как траппер на охотничьей тропе, как горный утёс, который нельзя сдвинуть, и попросту физически никого не пропускал. Если его пытались обойти, Гавкин оставался на своём месте и снисходительно, где-то даже весело наблюдал, как форварды «Космоса» молотят ногами, вроде пароходного колеса, в безнадежной попытке выбраться на сухое место, хотя бы без мяча.

Гавкину оставалось лишь не торопясь влезть в лужу и забрать мяч.

Несколько усложняло дело наличие нескольких подходов к воротам, из-за чего Гавкину приходилось своевременно перебираться с дорожки на дорожку, так сказать, менять позицию.

Форварды «Космоса» поменяли тактику; они стали швырять мяч вперёд, а затем, хорошенько разогнавшись, скользили на кедах, как на лыжах, поднимая гейзеры жидкой грязи. Но если даже им, смекалистым, удавалось таким образом форсировать лужу, не потеряв мяча, что случалось крайне редко, к их кедам прилипало столько грязи, что ни о каком продолжении атаки не могло быть и речи. Прежде чем бежать к воротам, они вынуждены были отбивать тяжёлую грязь, а в этот критический момент бдительный защитник Гавкин, не теряя самообладания, опять-таки забирал мяч.

Как после игры скажет в интервью сам Гавкин, «мне было жалко этих парней». В мирской жизни они друзья.

К сожалению, наша защита с правой стороны действовала слишком прямолинейно, без Гавкинской смекалки, и опасные моменты возникали здесь то и дело.

Наш голкипер — длинный и жилистый Володя Сидоров, симпатичнейший и добродушный малый. В момент, когда в красивейшем затяжном прыжке он забирал сильно пробитый справа мяч, в него въехали два форварда «Космоса», подплывших на добивание. Форварды были похожи между собой, как близнецы из-за облепившей их грязи.

Изнурённые утомительным проходом к воротам, они в процессе борьбы накрепко схватились, можно сказать, спрессовались с голкипером Сидоровым подобно вагонной автосцепке и все вместе, одним фрагментом повалились в ближайшую трясику.

Вставали и разъединялись не торопясь, одновременно выясняя, кто виноват. Необходимо отметить, что вне футбольного поля все трое, то есть Сидоров и форварды Камлаев и Барков — закадычные друзья. Опершись локтем о зыбкий грунт, Сидоров излагал свои соображения, так сказать, своё видение сложившейся ситуации.

— Сашка, ты что, ослеп? Надо же соображать, в следующий раз я тоже тебя. В принципе, я мог тебя утопить.

Форварды лишь тяжело вздыхали и не спешили подниматься. Наконец, все встали и потащились к своим местам; грязь шлёпалась с них при каждом шаге.

И вот снова справа пробит штрафной стандарт, метров с пятнадцати под углом в сорок пять градусов, очень сильный. К голкиперу претензий нет: Сидоров, оттолкнувшись для повторения красивого прыжка, поскользнулся и звучно плюхнулся в лужу. Падал он брюхом вниз, предельно поднимая подбородок, чтобы не хлебнуть воды, но ответственно перебирая вытянутыми пальцами в безумной попытке ухватить мяч, тяжёлый, как ядро и огромный от облепившей его грязи.

Превосходные чёрные очки Сидорова отлетели, и защитник Гавкин, тяжело дыша, дважды на них наступил.

Этот и другие эпизоды немало нас, болельщиков, позабавили. Мы смеялись от души, наблюдая, как вратарь «Космоса» Затыкаев отбил мяч вместе с кедом; он имел привычку носить кеды на два номера больше, чтобы не потели ноги. Через полчаса, обнаружив это, Затыкаев, прежде чем послать мяч в поле, стал снимать левый кед; левая — это его игровая нога.

Финты наших форвардов отличались эффективностью, разнообразием и новизной, скажем, при сближении с защитником наш форвард искусно имитировал корпусом уход в лужу, что в совокупности с мощным уханьем сбивало того с толка.

Зрелищности удачно способствовал разбойный вид спортсменов. Ничья, 1:1.

Благодарности

Бесконечно благодарен Александру Острецову. Невозможно переоценить его участие в создании моих книг. Не щадя своего драгоценного времени, которое смог бы уделить с большей пользой для Отечества, он охотно взялся за рукописи книг цикла «Странное шоссе», читал, оценивал, давал замечания, словом, улучшал. Обладая природным ощущением фальши, он находил авторские огрехи, указывал мне на них, но очень тактично, с врождённым тактом, чтобы не задеть моё самолюбие. Заставил меня несколько раз покраснеть от стыда за некоторые слова и деликатно посоветовал заменить их на более пристойные. Как искусный врачеватель-знахарь отворяет пациенту кровь или ставит пиявки, дабы очистить её, так и Саша поступал с моими литературными огрехами. В этом старании он был беспощаден.



Когда для издания своих книг я пришёл в «Персей», то и предположить не мог, что кроме высокопрофессионального отношения к моему делу здесь я обрету общение с такими интересными, очень светлыми интеллектуалами, просто хорошими людьми, как Lidia Feliksovna Davydova и Алексей Горшков, и посещение «Персея» станет для меня истинным удовольствием. Приятно приходиться в офис и спокойно, без напряжения, ощущая их доброжелательность, обсуждать свои соображения по издаваемым книгам. Ощущение глотка свежего воздуха во время прогулки в добром сосновом лесу. Не каждый день встречаешь таких людей, только если повезёт.



Содержание

Предисловие	5
-------------------	---

СКУРАТОВСКАЯ БЫЛЬ (повесть)

Сны	7
Григорий Скуратов	10
Ефросий-иконописец	12
Попытка освящения иконы	16
Легенда	20
Травины	21
Евдокия	24
Постройка дома	27
Волк	31
Ограбитель могилы	34
Ванька входит во власть	37
Таинственная комната	42
Яков	46
За предел	50
Угроза	52
Секущий топор	54
Скорбь	58
Собаки	60
Приятная встреча	61
Ванька правит селом	65
Второй приход Гришки	67
Муська	72
О плевелах	74
Смотр революционных сил	74
Жажда	76
Собутыльники	79
Похождения Леонида	81
Политическая работа	83
Лошади	85
Ультиматум	86
Бегство	88
Похороны Леночки	89
Невыносимое	91
Смертельное слово	93

Облава	94
Изгнанник	97
Волк ставит диагноз	98
Спасение	99
Промахнулись	101
Страх за дом	102
Поиски Алексея	107
Последняя попытка освятить икону	110
Великий грешник	111
Посещение села	112
Машинист Кувшин	122
На развалинах	128
Сиреневый мир	133
Григорий	136
Мираж	140
Откровение	142
Новая беда	143
Одиссея молодых Травиных	144
Бойня	144
Иван	144
Борис	145
Николай	155
Фронтальная хроника солдата	
Константина Травина	168
Ташкентское училище	171
Перед боями	177
Первый бой	182
Плен	191
СМЕРШ. Особый отдел	206
Штрафной батальон	210
Днепр	218
Битва за Павлыш	222
Восточная Пруссия	230
Донос	232
Василий	234
Послесловие	248
От автора	261
Легенда	269
Эпилог	278
Красная площадь	288

ЛЮДИ (рассказы)

Ганглион	291
Княгиня	296
Миноги	308
Поруки	312
Собаки	316
Телевизор и Боря	318
Футбол	321
Благодарности	324

Литературно-художественное издание

Подольский Лев Васильевич

СКУРАТОВСКАЯ БЫЛЬ

Повесть и рассказы

Из цикла «Странное шоссе»

Редактор

Ли́дия Давы́дова

Дизайн и верстка

Алексе́й Горшко́в

Фото

Ю́рий Ди́дык,

а также фото из архива автора

Издатель: ООО «Персей-Сервис»

117525 Москва, ул. Чертановская, 16, корп.2,

тел. (495) 314-57-61

Подписано в печать 24.03.2016 г.

Объем 20,5 усл.п.л. Формат 60×90/16

Бумага офсетная. Печать цифровая.

Отпечатано в типографии

ООО «ИПЦ „Маска“» (www.maska.su)

Тираж 50 экз. Заказ №

ISBN 978-5-905302-35-0



9 785905 302350



Лев Подольский

Герой повести «Скуратовская быль» — воин с донельзя израненным на войне телом. Душа его измордована и измучена, ибо он пропустил через сердце такие немислимые, почти непосильные для человека страдания, что надорвался. Держать такое в себе ему становилось всё тяжелее, и он решил рассказать миру о судьбе семьи Травиных, любезных ему исконно русских людей крестьянского сословия. Он глубоко проникся историей села, жизнью

людей этого места и с глубочайшим почтением и сочувствием вобрал в себя их судьбы. Абстрактная, как понятие, проблема отношения добра и зла нашла в селе свою конкретную жизненную, обычно трагическую реальность, которая и составила суть книги.

**В пространстве мёртвых нет, там все живут.
Одни вчера, в прозрачном будущем иные,
Живущие сегодня чуда ждут,
И правду о себе ждут вечно остальные.**

ISBN 978-5-905302-35-0



9 785905 302350